АНДЖЕЙ БРАУН

СЕРДЦЕ КОЛОКОЛА





ANDRZEJ BRAUN

PRÓŻNIA

WARSZAWA 1969





АНДЖЕЙ БРАУН

СЕРДЦЕ КОЛОКОЛА

РОМАН

Перевод с польского

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» • МОСКВА 1976

Перевод П. КОСТИКОВА и В. СВЕТЛОВА

Предисловие Т. МОТЫЛЕВОЙ

Редактор Ю. АБЫЗОВ

Б $\frac{70304-100}{006(01)-76}$ 90—76

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литература Народной Польши много раз обращалась к событиям второй мировой войны и первого послевоенного года. О трагических и героических днях борьбы с немецко-фашистскими оккупантами, о трудном становлении нового, социалистического государства на польской земле говорится во многих книгах, известных советскому читателю. В их числе — последние тома большого эпического повествования Я. Ивашкевича «Хвала и слава», «Медальоны» З. Налковской, роман Е. Анджеевского «Пепел и алмаз». Недавно наши читатели познакомились с оригинальным, поэтическим по манере романом Т. Новака «Черти», где рассказ о судьбах польской деревни преломлен через народные легенды и поверья.

Роман Анджея Брауна, вышедший на языке оригинала в 1969 г. и предлагаемый ныне читателю, тоже обращен к событиям тридцатилетней давности, но он ни в коей мере не повторение уже известного. Он будет прочитан с живым интересом — не только благодаря динамичному, захватывающему сюжету, а главным образом потому, что в нем с большой прямотой и смелостью ставятся коренные нравственные вопросы.

Но прежде всего скажем об авторе. Анджей Браун, родившийся в 1923 году в Лодзи, принадлежит к тому поколению польских писателей, которые вступили в литературную жизнь сразу же после освобождения страны. А. Браун дебютировал в 1946 г. как поэт — ему принадлежат сборники стихов «Шрамы», «Репортаж сердца», «Молодость». Затем он перешел к прозе, обратился к

теме рабочего класса. В 1952 г. появился его роман «Леванты», где речь идет о жизни и труде кораблестроителей. Роман вызвал много откликов в печати и был отмечен Государственной премией; в ряду книг рабочей тематики, вышедших в первые послевоенные годы, роман «Леванты» выделялся остротой конфликтов, живостью психологических характеристик. Событиям военного времени посвящены рассказы А. Брауна, составившие сборник «Ночь длинных ножей» (1961), в них автор заставляет читателей размышлять над проблемами воинского и человеческого долга. (Один из рассказов этого цикла, «Был час выбора...», опубликован в русском переводе в «Иностранной литературе» № 7 за 1974 г.)

Анджей Браун много путешествует. Несколько книг написано по впечатлениям от поездок в ГДР, Корею, Китай. В 1972 г. вышла объемистая книга «По следам Конрада», путевой дневник и одновременно научно-исследовательский труд: автор совершил поездку в Индонезию, изучил места, где некогда бывал знаменитый английский писатель-мореплаватель, поляк по происхождению, Джозеф Конрад. А. Брауну самому, как писателю, близки черты Конрада-художника: романтика мужества, особое внимание к сложным, напряженным психологическим ситуациям.

Именно с такой ситуацией сталкиваемся мы в романе, который лежит теперь перед нами. По своим художественным качествам, самобытности образов, силе конфликтов он занимает заметное место в польской социалистической литературе. Острые классовые схватки в Польше первого послевоенного года представлены здесь с большой силой драматической концентрации. Действие развертывается на небольшом пространстве, в предельно сжатых временны́х рамках: всего одна деревня, всего несколько суток. События и люди увидены на близком расстоянии, показаны крупным планом.

Германский фашизм уже разгромлен, солдаты Войска Польского вместе с советскими солдатами дошли до Берлина, в Польше установилось новое, рабоче-крестьянское правительство, принят закон о земельной реформе, наделившей крестьянскую бедноту помещичьей землей. Но в деревне Липины, где происходит действие романа, как и во многих деревнях Польши в те дни, мир еще не наступил. «Сразу же после капитуляции Гитлера в Поль-

ше заполыхала гражданская война со всей ее жестокостью и одержимостью...» Банда Гетмана, засевшая в лесах неподалеку от Липин, терроризирует крестьян, зверски истребляет местных активистов, сеет слухи о непрочности новой власти. В этих условиях сержант Костек Курыло, добровольно взявший на себя должность коменданта Липин, оказывается в одиночестве. Ему не на кого — или почти не на кого — опереться.

Роман о драматических событиях в деревне Липины был хорошо встречен в Польше читателями и критикой: в 1971 г. он был отмечен премией министерства культуры и искусства ПНР, по нему поставлен фильм. Но скажем сразу: эта книга способна вызвать споры — и вызвала споры. Возможно ли, чтобы представитель победившего общественного строя остался, пусть на короткое время, как бы в вакууме отчужденности, не нашел своевременной поддержки у друзей, единомышленников? Да, в самой структуре сюжета есть некоторый элемент притчи — автор ставит своего героя в предельно трудное положение, заставляя его делать нравственный выбор. Но так или иначе положение, в котором оказывается Курыло, основательно мотивировано ходом действия. Районные власти не могут ему помочь в те самые дни и часы, когда помощь до крайности необходима: новая жизнь и в других деревнях еле-еле налаживается и люди нарасхват. Военная часть, в которой служит сержант Курыло, ушла в леса преследовать Гетмана. Двое солдат, оставшихся с комендантом Липин, и притом тоже добровольно, не смогли помочь ему — один ранен бандитами, другой смалодушничал в минуту опасности.

А население самой деревни? Мы видим, насколько неоднородна эта масса и в классовом, и в моральном смысле. Внимание повествователя вовсе не сосредоточено на одном Костеке, и слово дается не одному ему. В чередующихся коротких сценах-эпизодах перед нами появляется то один, то другой из разнообразных персонажей; их думы и чувства раскрываются не только в диалогах, порой в резких словесных перепалках, но и в многочисленных внутренних монологах. Мы узнаем, что это за люди, чем они дышат. «Изнутри» показаны сын зажиточного крестьянина Зенон Пайда, который сражался с немецкими оккупантами под командой офицеров-националистов, но которого звериная ненависть к «красным»

привела в банду Гетмана; украинец Прокопюк, сбитый с толку бандеровцами и одержимый лютой враждой и к полякам и к русским; ксендз Снитко, трясущийся от страха после того, как отказал бандитам в отпущении грехов; бедняки — Шимуля, Рахонь, Бендик,— для которых в тяжкую годину войны стало уже привычкой чувствовать себя как бы между молотом и наковальней. Население деревни, в которой Костек Курыло принял на себя всю полноту военной и гражданской власти, запугано бандитами, деморализовано в итоге всех перенесенных за годы войны передряг. И в этой сложной обстановке молодой коммунист Курыло должен самостоятельно принимать ответственные решения.

Одна из важнейших в идейном отношении страниц романа — речь майора Гжибовского, обращенная к солдатам и офицерам отряда войск госбезопасности, вошедшего — с этого и начинается действие — в деревню Липины, где незадолго до того побывала банда Гетмана. Семеро местных активистов зверски убиты — всю деревню заставили присутствовать при казни, и никто не осмеливается помочь отряду найти соучастников злодеяния. Солдаты горят гневом, они хотели бы сурово покарать все население Липин. Но майор останавливает их: «...Вы уже сотню раз видели, к чему это может привести. А ведь каждая жизнь для нас бесценна в нашей разрушенной, опустошенной стране. Это же наши собственные деревни, наш народ...» Бандитов, говорит Гжибовский, надо выжигать огнем и железом. Крестьяне — иное дело. «Мы здесь не завоеватели, у нас обязанность перед будущим, нам здесь хозяйничать и жить с этими людьми все будущие годы... Да, товарищи, и вот в этом вся загвоздка... Так что о мести и разговора быть не должно, все самосуды выбейте из головы. Не для того мы здесь...»

Сержант Курыло хорошо понимает это, и не только под влиянием слов майора. Партийное сознание, нравственное чутье приводят его к выводу, что, оставшись в качестве коменданта в деревне, где он родился и вырос, он должен бороться за своих односельчан, а не против них.

Вводя в действие как бы наплывами воспоминания и Костека, и других персонажей о недавнем военном прошлом, романист раздвигает рамки сюжета, напоминает о том, каким неслыханно сложным было переплетение

классовых, национальных, военных сил в Польше периода оккупации. На борьбу против гитлеровцев вставали люди разных общественных слоев, боевые группы действовали разобщенно, а подчас и с противоположных политических позиций: одни — под руководством Польской рабочей партии (ППР), другие — по указке эмигрантского правительства в Лондоне. И именно тогда, когда окончилась война, соседи, знакомые, родственники в иных случаях оказывались политическими противниками. В этом свете не столь уж удивителен тот запутанный узел отношений, который связывает Костека Курылу с семьей зажиточного хозяина Пайды: давняя вражда с Зеноном, былым товарищем детских игр, которому он некогда спас жизнь, давняя любовь к его сестре Регине, которая теперь готова ради возлюбленного пойти против отца и брата. Костек знает, что не один Зенон Пайда, но и некоторые другие его приятели, соратники по партизанской войне, теперь в банде Гетмана или среди тех, кто втайне ее поддерживает. А старший друг и учитель коммунист Ренкас убит бандитами, как и отец Костека.

Тут есть от чего потерять голову! И романист не рисует своего героя ни в доспехах рыцаря без страха и упрека, ни в ореоле христианской святости. Костек вовсе не застрахован ни от приступов уныния, ни от промахов и просчетов. Но на посту коменданта Липин действует здраво — ему помогают в этом и политические уроки, усвоенные в армии, и фронтовой опыт, да и крестьянский практический ум. Он знает: через некоторое время придет помощь из района, а может быть, вернется отряд Гжибовского. Значит, надо продержаться сколько возможно до прихода подкрепления. И Костек достает оружие, спрятанное когда-то в лесном тайнике его отцом, пытается создать в деревне милицейский пост, продумывает расстановку сил на случай нового бандитского налета. Он обходит дома односельчан, стараясь взять каждый раз нужный тон: он их и уговаривает, а когда нужно, и требует, чтобы крестьяне выходили на полевые работы — пусть начнется наконец же нормальная, мирная трудовая жизнь!

Костек убеждает одного из былых своих товарищей, поддавшегося колебаниям: «Мы выиграли, понял? Что они могут еще показать? Несколько покойников и

убийств из-за угла? Что могут еще предложить? Отобрать землю, которую мы дали? Вернуть помещикам?» И он размышляет вслух о положении в деревне: «Ты же сам сказал, что большинство тут невинные люди. А те из леса хотят из них виноватых сделать. Хотят привязать их к себе страхом. Они же ничего людям не дадут. Ничего, кроме петли и топора... И как только деревня перестанет их бояться, так и будет им конец. Вот для этого я здесь и остался».

Но наступает момент, когда Костеку становится ясно, что ему придется в одиночку противостоять бандитам — они снова пришли в Липины, а ждать помощи в данный момент неоткуда. Он обдумывает свое положение, и автор думает вместе с ним, обогащая речь и мысль своего героя собственной речью, собственной мыслью. Костеку вспоминаются и саперы-добровольцы, которые обезвреживают мины на глазах застывших от ужаса обывателей, и виденный когда-то в цирке укротитель, усмиряющий разъяренных львов... Но нет, ему ясно, как малоуместны подобные сравнения. «Он остался здесь, чтобы решить, как говорится, исход дела: взять бразды правления в свои руки... А если это не удалось, то что еще остается, кроме собственного примера? Доказать это он бы не сумел, но чувствовал, что бегство в такую минуту будет поражением гораздо большим, чем все, что могло с ним случиться».

И еще гораздо раньше Костек думает о тех врагах нового строя, которых немало вокруг него в деревне и которых надо либо побороть, либо переубедить. «А им надо знать... то, что́ они пытались задержать, будет идти как задумано; нет старого Курылы, есть молодой Курыло не будет его — будут тысячи других, и врагам надо знать: их старания ничего не дадут, а того, что пришло, отменить уже нельзя». Костек, залегший за пулеметом, чтобы отдать свою жизнь как можно дороже, до последнего дыхания убежден, что дело Народной Польши победило, что эта победа необратима и что он жил, боролся и гибнет не напрасно.

Финал романа мужественно суров, и мы понимаем художественную необходимость именно такого финала. Становление социалистического строя в Польше, как и в соседних с нею странах, не обошлось без жертв и тяжелых потерь. Писатель хочет правдиво представить ис-

торическую реальность, ничего не приукрашивая и не смягчая.

Роман А. Брауна может — и по сходству, и прежде всего по контрасту — напомнить советскому читателю роман Е. Анджеевского «Пепел и алмаз» и широко известный у нас одноименный фильм. Там тоже идет речь о борьбе только что возникшей народной власти в Польше с националистическим подпольем. У Анджеевского, как мы помним, образы коммунистов обрисованы схематично; Мацек Хелмицкий, связанный с реакционными террористами, трагически запутавшийся, сосредоточивает на себе все напряжение действия, ему отданы лучшие краски, любовь девушки, максимум авторского внимания. Именно таким путем хотел писатель показать всю нелепость, бессмысленность смерти Мацека, обреченность того дела, ради которого он пожертвовал собой. Анджей Браун поставил перед собой иные задачи. У него на первом плане не обреченность старого, а трудная, мучительная, но в конечном счете победоносная борьба за новое. Именно молодой коммунист Курыло, труженик и воин, носитель исторически правого дела, поставлен в центр повествования. Он наделен большим человеческим обаянием, он вырастает при трагическом повороте событий в подлинно возвышенный образ.

Образ Костека Курылы может напомнить нашему читателю некоторых лучших молодых героев советской литературы последнего десятилетия. Чем-то он похож на Михаила Пряслина из цикла романов Федора Абрамова: ведь и он — крестьянский сын, воспринявший с детства народную трудовую мораль, закаленный в тяжелые годы войны. А чем-то Костек сродни героям военных повестей Василя Быкова, например Сотникову. Способность к подвигу проявляется в нем естественно, как потребность души, как вывод из всего предшествующего жизненного опыта. Герой А. Брауна, как и названные герои советской литературы, способен самостоятельно ориентироваться в сложной обстановке, принимать серьезные нравственные решения.

В романе Анджея Брауна перед нами не аскет и не мученик, а человек полнокровный и земной, вроде бы даже и ничем не выдающийся, но проявляющий высокую силу духа, когда приходит ответственная минута. Это лич-

ность живая, обрисованная достоверно, способная завоевать симпатии читателя.

Анджей Браун создал роман остросюжетный, дышащий энергией борьбы, и вместе с тем роман философский. Не зря в нем столько внутренних монологов, размышлений, воспоминаний, споров — в том числе и споров героя с самим собой. Слово «пустота», которое не раз повторяется в книге, имеет здесь многозначный смысл. По сути дела, роман направлен против тех философских учений, которые возводят «пустоту», разобщенность, заброшенность личности в некий закон человеческого существования. В произведениях зарубежных писателей, находящихся под влиянием экзистенциализма, мы иногда встречаем героев, неизбывно одиноких, всем и всему чужих; читателю подсказывается мысль, что судьба человека неизбежно такова — и не может быть иной. Анджей Браун, поставив своего героя в ситуацию вынужденного одиночества, ясно дает понять, насколько противоестественна такая ситуация. Костек Курыло тянется к людям, всеми силами души хочет преодолеть «пустоту», любит людей — и гибнет за людей. Роман А. Брауна направлен против тех реакционных сил, идеологических и политических, которые несут с собой жестокость, волчьи нравы взаимной ненависти. И он утверждает силу социализма, открывающего народам пути к осмысленному труду, солидарности, дружбе, радости бытия.

Т. Мотылева



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сейчас он раздвинет ветви, вот эти с ярким отблеском солнца, словно намасленные листья граба, отодвинет футляр бинокля, который давит на грудь и не дает дышать, когда, упираясь локтями в упругую хвою, пытаешься навести бинокль на резкость,— размытая картина ясно прочертится, сразу же из черного серпа леса выползут седые кровли дворов, а потом знакомые, чудом уцелевшие за все эти годы сараи и дровяные навесы: ближе всех, на самой околице,— усадьба братьев Стецов, в глубине, к речке, с ее павлиньими переливами среди островков ольшаника,— усадьба Гущи с побеленными рамами, рядом на украинский лад выведенные коньки Прокопюковых строений, дальше, вдоль песчаных проплешин, плотно выстроились остальные хаты — до самой школы и до его, Курылы, родного порога; все здесь ему знакомо до последней черточки, и все равно надо хорошенько присмотреться, все ли так, как по полученным сведениям недельной давности, прежде чем можно будет разместиться на ночлег и дать отдых солдатам, которые валятся с ног. Вот он раздвигает ветки ежевики, схваченные паутиной — ее тонкая росистая розетка удивительно напоминает пулеметный прицел, в который вместились очертания деревни. Бинокль приближает крыши в зеленом мареве летнего дня, вокруг, над лугами, тишина и только за спиной из лесной просеки доносится басовитое урчание грузовиков, натужный вой моторов, надрывающихся на первой скорости. Песчаная дорога всегда была паршивая, это и спасало Липины всю оккупацию от визитов немцев. Сейчас он отползет назад и

даст знак рукой, что все в порядке, что можно наконец въезжать в деревню.

Рота вымоталась до предела от многодневных бросков, солдаты спали по-волчьи, вполглаза, разведка доставляла о следах банды Гетмана все новые и новые сведения, которые кидали в кузова «зисов» и на подводы солдат, опьяневших от минутной дремы, ослепших от пыли, с припухшими глазами, и опять мчались они сломя голову, крались на рассвете, рассыпавшись цепью, только бы перехватить тех, пока не оттиснулись они кровавой печатью в сознании беззащитных людей, возможно еще и враждебных и недоверчивых, потому что пока еще не удалось убедить их, кто здесь утвердился навсегда, а кто лишь временный гость, кому следует подчиняться, а кого водить за нос,— чтобы не дать тем покоя, не дать возможности закрепиться здесь, а в своих людей, пока еще немногочисленных, как сухие камешки в горной речке, вселить надежду, что есть у них защита. Гетман петлял по-над Саном, по лесам и по разбросанным деревушкам; то действовал совместно с головорезами Войтюка [1], то появлялся средь бела дня с бело-красными нашивками и орлом с короной, напоказ, мороча людей истинно польским духом своего войска и дерзостностью независимой власти. А они постоянно опаздывали: здесь Гетман ночевал, здесь был вот только что, даже пыль матовым стеклом еще висит на солнце. Остервенелая погоня затягивалась без результата — стало быть, есть у него опора в здешних деревнях, где партизанить было обычным делом, чуть ли не традиционным занятием и где в его банду влились многие из «погоревших». Казалось бы, с самого начала облавы Гетман должен был понять, что теперь уже не шуточки шутят, что уже не отступятся, пока не затравят, но он, видно, закусил удила, ничем не гнушается и вытворяет такое, что уму непостижимо, а сердце каменеет от ужаса. Ну что ж, ладно: значит, еще немного, и все будет в порядке — одно это говорит о его близком конце, однако он все еще водил их за нос и все еще они возвращались ни с чем. Ежедневно натыкаясь на деревни без мужчин, с наглухо за-

---

[1] Один из командиров отряда УПА (Украинской повстанческой армии) — фашистской националистической военной организации, разгромленной в 1947 году.— **Здесь и далее примечания переводчиков.**

колоченными хатами, чаще всего сожженными дотла, натыкаясь на трупы немногочисленных активистов — представителей новой власти, называемой все еще «люблинской»[1] — а ведь после ее провозглашения прошло уже два года,— пересекая невидимые границы между «своими» и «теми», они понимали, даже самые безучастные люди из роты майора Гжибовского, понимал и он, Курыло, единственный местный житель, что то, чего не удалось добиться в годы оккупации десяткам коршунов, богунов и щербцов[2], хотя те, как известно, в средствах не стеснялись,— все это удалось теперь. Сразу же после капитуляции Гитлера в Польше заполыхала гражданская война со всей ее жестокостью и одержимостью.

Деревня Липины казалась надежной. В маршруте, который они наметили, она значилась как относительно спокойный населенный пункт на отшибе, как раз на границе районов, очищенных от банд. Только подле Сана, вблизи Сандомирской пущи, вошли они в самую эту прорву, в бандитское логово, в засасывающий замкнутый мир. Отряд Пашина несколько дней зализывал там раны. «Ну, смотри-ка ты, Костек, если б я знал, что ты оттуда, передал бы вашим привет,— кряхтел капитан Пашин, вытирая потный испод конфедератки.— А уж тишь-то там какая! Земляки твои, похоже, ни во что не мешаются. А может, только притаились. Недавно из Жолыни прислали туда людей в правление гмины, группу ОРМО[3] создали. Да что тебе говорить,— продолжал он, почесывая затылок и глядя своими голубыми, как незабудки, глазами из-под оттиснувшегося на лбу рубца.— Сливы там, ренклод, золотистые такие... язык проглотишь».— «Я не был в деревне с тех пор, как через нее фронт прокатился,— вздыхал Курыло,— там еще всякие куражились: и люди Коршуна, и те, кого еще не вымело». Да, ренклод... Но главное — умыться, выспаться, добыть «языка». Гетману снова удалось от них оторваться.

---

[1] 22 июля 1944 г. в Люблине общепольский народный совет — Крайова Рада Народова — сформировал первое правительство Народной Польши.

[2] Клички командиров НСЗ-овских отрядов — отрядов польских националистов, боровшихся против коммунистов, левых сил польского Сопротивления и сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами.

[3] ОРМО — бригады содействия милиции.

В линзах выросли многоярусные кроны деревьев и массивные глыбы строений. Курыло медленно скользил по ним взглядом, от крыши к крыше. И вдруг замер, облизнув пересохшие губы. А что горечь во рту, так это табачная. В первую минуту он не мог понять, в чем дело, какое-то дурацкое чувство, будто это не его деревня. Удивление сменилось тревожным беспокойством. Позже он понял: ага, это раскаленная, окружающая их тишина. Где-то, примерно с середины дороги, виднелись черные обугленные остовы, словно погнутые проволочные клетки. Дым уже почти синий, истончившийся, будто последнее дыхание золы, воздух еще размытый от горячего трепетания. А так все привычно размещено, в том же самом пейзаже, из которого украдкой вылущили плоть, оставив просвечивающий скелет, заполняющий то самое место между полосой песка и верхушками верб.

— Ну как там, товарищ сержант, все в порядке?

— Тсс! — Курыло прижимает палец к губам, выпущенный бинокль болтается на груди, а он все смотрит в ту сторону.

Ежевика с хрустом рвет штаны. Перламутровая паутина мигает, будто разбитое зеркало. Он быстро отползает назад, нащупывая сапогом корни. Между соснами просвечивает дорога, вся в жилах колей, высохшее песчаное русло. Машины кидает из стороны в сторону, майор сидит в вездеходе, выставив на крыло ножищу в заляпанном маслом брезентовом сапоге. Под капотом «газика» что-то булькает; мелкая пыль на утреннем солнце, поднимающемся чуть ли не из-под самых сосен, радужно отливает столбами теней и слепящего света. Надрывно ревущие «зисы» прорываются все ближе.

— Ну что? — говорит майор, не вынимая изо рта вишневого мундштука.

— Товарищ майор, Гетман был здесь.

— Ах, подлюга... А ты, Костек, часом не ошибся?

— Это же моя деревня, товарищ майор.

Командир жует мундштук, покручивая его кончиком языка. Внезапно глаза его суживаются.

— Окружай! Двинулись, только тихо.

Капитан Вицек, нащупав ногой колесо, спрыгивает на землю. Из головы колонны сигналят флажками. Курыло описывает руками круги. На песок вываливаются мешком спрыгивающие из кузовов солдаты. Образуют цепи и бе-

гут настороженные, готовые к любой неожиданности. Пригнувшись, выходят из леса и, щелкая затворами, перебегают от куста к кусту. Со стороны даже кажется, что, прежде чем их нащупают пули, они хотят определить их первое чмоканье и монотонный высокий напев. Солнце облизывает матово выпуклые каски. Отсюда, с дороги, эти первые, нетронутые строения заслоняют пепелище. Тихо — ни собаки, ни петуха, зной только сейчас поднимается над зеленью, над этим идиллическим покоем, залившим луга, песчаную гряду и сосновый бор. И только внизу, где течет Ленг, мячиком перекатывается трель жаворонка и стрекочут кузнечики. Пахнет нагретой травой и болотной прелью. В излучине, у входа в деревню, миновали часовенку — кривую коробочку в выдолбленной колоде с пучками увядших трав, что украшают фигурку скорбящего Иисуса, вырезанную из ясеня, с маленькой головкой и ручками, как спички. Костек с детства помнил те прохладные июньские вечера, когда бабы собирались петь: «Ты внемли, Иисусе, люду, сотвори, Иисусе, чудо...» Прибегала туда и Регина Пайда, с косичками, как прядки у жеребенка. От хлевов тянуло молоком, а песнопениям вторил лягушачий хорал. Напевшись вдоволь, говаривал отец, бабы на полчаса становились добрее.

И вот Курыло во главе своего взвода подобрался к усадьбе младшего из Стецов — Исидора. Поглядел влево — по лугу, от реки скатывался узкий ручеек зеленых мундиров: прочесывают луговину. Тишина полная. Он выждал еще секунду, пока выше, справа, не промелькнули сгорбленные фигуры солдат. Они появлялись по одному на стыке неба и можжевельника и после минутной заминки катились вниз, будто в пропасть. Порядок, обходят деревню с флангов, как и положено. В глухой тишине Курыло юркнул вдоль самой стены Стецовой хаты, сторонясь окон, обведенных подсиненной известкой. Внезапное, как выстрел, трепыханье курицы и ее обезумевшее кудахтанье заставило его влипнуть в землю. Вот они уже обходят хату второго, старшего Стеца — Иеронима. Ободренные тишиной, уже не прячутся, идут по обочинам, вдоль стен, величественно выставив автоматы, будто саперы ищут мины. Уже не идут, а шагают шеренгой. Эта часть деревни совсем пустая. Хотя...

Дорога здесь резко сворачивает, купы ясеней и вя-

зов забегают вперед, сходясь своими жилистыми кронами. Крапчатые пятна теней и глянцевитого света бьют в глаза, прыгают по каскам и сжатым рукам, песчаный проселок покрыт слоем серой, как мышиная шерсть, пыли и растоптанного навоза; посредине — разъезженная лужа, испещренная по краям прутиками птичьих следов, гусиными бобами и перьями, огибая ее, приходится поглядывать, как бы не наступить на засохший коровий блин. Курыло оборачивается, солдаты шагают за ним, напряженно выставив стволы автоматов, будто гонят перед собой сопротивляющихся пленных. Он пропускает их вперед. Через равные расстояния проходят две шеренги; напряженные, решительные лица под ободком железных шапок, только глаза внимательно прощупывают каждый метр застроенной дороги, холодные, настороженные, ко всему готовые. Подходят к окнам Гущи, навстречу тянет легким чадом копченой грудинки, и, хотя не чувствуется ни малейшего ветерка, все здесь, видимо, за многие часы пропиталось дымом, который стлался по земле, пока ветер не изменил направление и не утих на рассвете.

Первый след — лежащий поперек колеи собачий труп, втоптанный в пыль, словно мешок линялой шерсти, без внутренностей, плоский. Возле оскаленной морды и остекленевших глаз — ржавый зигзаг. Чуть дальше сквозь обуглившиеся стропила просвечивает небо. Поджигали небрежно, сгорело не больше половины. Кто же здесь, черт возьми, жил? Память, никак, подводит? На скрежет сапог и мерный солдатский топот что-то шелохнулось среди посеребренных бревен в усадьбе старого Гущи, от общего фона отрываются серые пятна и двигаются вперед, словно ходячие деревья без листьев. Из глубины двора к развороченной калитке бесшумно идут, тем же размеренным шагом, что и солдаты, два человека, небритые, расхристанные, подняв руки. Они идут навстречу друг другу, молча, как будто бы играют заранее выученные роли, точно совершают определенный церемониал; трое из патруля свернули к ним, не меняя позы и не ускоряя шага. Один остановился, широко расставив ноги, направив на них дырявый ствол автомата, над ним тотчас вырастают две взлохмаченные головы и слегка подрагивающие поднятые руки, согнутые в локтях,— солдаты ощупывают их, от колен до груди. Курыло узнает

старого Юзефа, второго не может вспомнить. Медленно подходит к ним.

— Вы кто такие?

— Местные.

— Банда была?

— Вчера.

— Гетман?

— Гетман.

— Ну и как?

— Не приведи бог,— бормочет старик. Оба по-прежнему держат руки над головой.

— Есть кто из милиции?

— Сами увидите.

Сзади доносится вой грузовиков. Нарастающий гул плотно заполняет тишину. Костек подходит ближе.

— Узнаете меня, дед Юзеф?

Старик с увядшим, колючим, как ржаная стерня, лицом облизнул губы.

— Курыло,— беззвучно произнес он. Что-то промелькнуло в его глазах.— Господи, помилуй,— перекрестился он и опустил руки.

Второй оборванец, помоложе, лет сорока, стоял попрежнему с поднятыми руками. Густая щетина окаймляла складки у рта. В мертвом каменном взгляде этих двоих таилось что-то страшное. Курылу охватило беспокойство.

Он оставил их и побежал вперед.

Сквозь тела повешенных, длинные и заостренные, словно фигуры с готического алтаря, виден самый центр деревни: небольшая площадь перед костелом, в колокольне которого, плотно окруженной деревьями, зияет отверстие от танкового снаряда, напоминая игольное ушко на светлой синеве неба, площадь, полого уходящая к каменной кладбищенской ограде с множеством выщербин, откуда стекает кирпичная пыль, площадь, с другой стороны замкнутая каменным домом, где находилось правление гмины, который так и не смогли спалить — вон языки черной копоти, обрамляющие каждое окно, и вся изрешеченная пулями штукатурка,— дальше обугленный остов школы, где во время оккупации помещалась квартира учителя (уже второй год пустовавшая — неоткуда было смельчака взять, чтобы сам полез этим

лесным бандитам в пасть), а сзади и прямо впереди — ряды обгоревших печных труб, выбрасывающих клочья сажи чуть ли не на дорогу, которая в этом кошмарном туннеле, окаймленная скрутившимися от огня деревьями, разверзлась в небо и была в эту минуту вся в полосах пыли, отливающей на солнце. А сейчас ее раздирали железные морды грузовиков.

Первым на площадь въезжает командирский «газик», шофер с визгом тормозит, все резко дергаются и выскакивают, будто из катапульты, до того как мотор перестает ныть. Майор спрыгивает на землю, за ним капитан Вицек и Пашковский. Солдаты остаются сзади. Станковый пулемет на кабине «зиса» замахивается стволом на всю площадь. Расчеты остальных пулеметов устанавливают их на развилках, припав к земле по обе стороны сцены. В фигурах повешенных есть что-то рекламное, но скорее они напоминают кукол, болтающихся на ниточках под обгоревшим суком. Командир, широко ступая, подходит ближе, останавливается в нескольких метрах и смотрит в землю. Потом переводит взгляд вверх. На площади ни единой души. Майор Гжибовский смотрит сквозь прищуренные веки, в уголках глаз сбегаются лучистые морщинки, время от времени одна бровь слегка поднимается и подергивается — это тик.

— Что там намазано? — спрашивает он как-то врастяжку капитана Пашковского.

Капитан облизывает губы, показывает рукой, но тут же нерешительно опускает ее.

— «Пепеэровцы [1] — предатели, холуи Москвы...» — произносит он по слогам.

Капитан Вицек стягивает фуражку со своей лысой, блестящей головы.

— Скотина... Садист.

На груди повешенных нарисованы кровью, тогда еще красной, а теперь почерневшей, крупные изображения серпа и молота. Майор смотрит еще некоторое время, кривя лицо и подергивая бровью.

— Снять! — говорит он.— Принести палатку.

Солдаты двигаются словно в угаре. Майор Гжибовский снова смотрит в землю. За спиной у майора кто-то поясняет сбивчивым шепотом:

---

[1] Члены ППР — польской рабочей партии.

— Правые руки отрубали по локоть... и, смотри, каждому рот на висячий замок, прямо в живое мясо загоняли...

Командир оборачивается.

— Прекратить разговоры!

Проходят еще метров пятьдесят к выжженному четырехугольнику усадьбы, где вторая виселица. Здесь тела лежат уже на земле. Возле босых костлявых ног майор видит спину в зеленом мундире и голову, конвульсивно бьющуюся о землю.

Проходит час. Деревня все так же пуста, точно обезлюдела. Солдаты так и стоят, как пришли: суровые, неподвижные фигуры вдоль дороги. Въезжают последние подводы, с них сгружают ящики с пулеметными лентами, распрягают лошадей, бросают им под ноги растрепанные охапки сена. Приказа размещаться не было, вдруг да и дальше двигаться, солдаты потягивают сигареты, держа их в горсти, оттопырив большой палец, вполголоса изредка перекидываясь словами. Никто ни о чем не спрашивает, кто посмелее, делает несколько шагов туда, где часовые охраняют брезент, на котором лежат трупы повешенных с накрытыми лицами.

— Были? — спрашивают опоздавшие, еще разгоряченные и возбужденные маршем.

Им хочется выговориться, отвести душу, они еще не набухли зловещим молчанием этого кладбища.

— Угу...— кивают касками стоящие вдоль дороги и площади.

— Ну и что? — спрашивают только что прибывшие.

Те показывают головами на плащ-палатки, разложенные чуть выше, на откосе, у кладбищенской ограды. Солдаты, которые еще не видели, смотрят в ту сторону, делают несколько шагов, как бы стыдясь своего дурацкого любопытства. Тишина и гнетущая сосредоточенность вместе с едва уловимой вонью горелой грудинки над этой выпотрошенной деревней медленно вбирают их в себя и пронизывают какой-то стынью.

Часовые, замершие возле останков повешенных, время от времени украдкой переглядываются. Капрал Лапот хотел было закурить, но спохватился и растер в пальцах черную табачную золу из смятого окурка. Пехачек, молоденький новобранец с персиковым загаром на лице, не смог сдержать вздоха, вырвавшегося откуда-то из нут-

ра. Сделал вид, что икнул. Всех томила потребность выговориться. Осы, привлеченные запахом, неподвижностью и молчанием людей, слетелись с кладбища, назойливо кружась над трупами. Их высокое надоедливое жужжание действовало на нервы. Капрал следил за ними глазами, раз даже замахнулся прикладом. Рой мух, докучливых оводов и слепней всколыхнулся. И тут он увидел черные ручейки муравьев. Снова, как будто насторожась, взглянули все в другую сторону, где на расстоянии броска камнем лежали еще три трупа.

— А там кто? — не выдержал тощий Гралевский.

Капрал сморщил лоб и сожмурил с рыжими гребешками ресниц веки. Будто бы давил на него горшок каски.

— Там отец Курылы лежит,— выдавил он наконец.

— Отец Курылы? Ну да? — Пехачек открыл рот, кто бы мог подумать, что ему стало худо. Снова тонко заныли осы.

— Ну да,— охнул он, отвечая сам себе.— Ведь говорили же, что он из этой деревни.

Майор Гжибовский возвращался в закопченное помещение гмины, где решил разместить командный пункт. «Врасплох их взяли»,— думал он, выхватывая прищуренными глазками часть стены, массивный врезной замок, выломанный вместе со створкой окованной двери, следы топора на железе, высаженные куски стен с разлохмаченным камышом, обугленный пол, косяки и облизанные огнем остатки мебели. Осколки керосиновых ламп валялись в центре очагов пожара — это значит, их бросали в окна, так и поджигали. Свет уже установившегося дня проникал сквозь выжженные проемы, в смраде зловонной гари трепыхались вороха недотлевшей бумаги, под ногами хрустели стекло и штукатурка, шуршали растоптанные книги и клочья разорванных плакатов. Весь внутренний вид правления наглядно обнажал ожесточенность схватки и тщетность оказываемого сопротивления.

Майор стоял, широко расставив ноги, угрюмо смотрел на все это и время от времени нервно скреб в затылке. Несколько человек выметали мусор, присыпая песком схватившиеся корками пятна крови. Майор с капитаном Пашковским, приданным ему из Люблина, только что закончили опознание убитых. Деревня по-прежнему была

безлюдной, жители попрятались по уцелевшим домам, даже ни одна баба не мелькнула на дороге. В опознании убитых помогали Юзва Гуща и тот второй, неразговорчивый мужчина, которых первыми задержали с поднятыми руками, войдя в Липины. Второй оказался шурином Гущи, он только что приехал в деревню из Сталёвой Воли. Так и переходили они от тела к телу, боязливо приподнимая брезент.

— Это Пачесняк Стах,— показывал Юзва, поворачивая голову к записывающему за ним капитану.

— Пепеэровец?

— Э-э-э... где там. В милиции был. Всего неделю и проходил с винтовкой.

Вся нижняя часть лица Стаха была сплошным сгустком крови. Снятый замок лежал рядом, на палатке, тут же разорванная нарукавная повязка и всякая мелочь из кармана: обойма патронов, часы, зажигалка из гильзы. Жестяной образок с изображением святого, перекрученный на ободранной шее, блестел запутавшись в густых, янтарного цвета волосах на груди, видневшихся в проеме разорванной рубахи среди черных кровоподтеков.

— Давно служил?

— Ну, с неделю как вступил. Как приехали из Жолыни и назначили коменданта. Тогда и милицейский пост организовали. Ну... он и вызвался.

Капитан из органов госбезопасности покусывает карандаш. Хочет еще что-то спросить, но передумывает.

— Здешний?

— А как же.

— А этот? — делает шаг вперед капитан.

Солдаты открывают останки. Граница тени, отбрасываемой наклонившимися фигурами, отодвигается, как гробовая плита: на солнце восковое лицо, под носом, теперь задранным и опухшим,— черный сгусток ржавчины. В морщинах кремовой кожи — следы сажи и пыли. Темная поросль вокруг губ, а между ними поблескивают зубы с ниточками крови на деснах. Приоткрытые веки темной пленкой окружают глаза, выкатившиеся, остекленевшие, отчужденные, уставившиеся в ничтожность ужаса. Что-то кошмарное в этих блестящих глазах, заполненных солнцем, точно плотная оболочка каких-то жуков. Такие они прозрачные, пронизанные кровеносны-

ми сосудами до самой глубины, до тыльной стороны черепа.

— А это будет Кайтох Щепан.

«Будет»,— подумал капитан и скривился. Его раздражало оханье старика. И он вновь задавал вопросы с нарастающей яростью.

— Пепеэровец?

Молчание.

— Так ведь из этих только один был... который коммунист.

— А этот?..

— Милиционер.

Майор переступает с ноги на ногу.

— Что вы спрашиваете, капитан? Разве образок на шее не видели?

Капитан Пашковский отворачивается. Нет, надо сдержать это раздражение, оно может оглушить всех, как крик пьяного. А майор словно ищет, на ком бы еще сорвать свою злость.

— Я должен описать все подробно, товарищ майор,— цедит сквозь зубы офицер госбезопасности.

— И так вы все обо всех знаете? — наступает майор на старика.— Кто коммунист, а кто нет? Заметочки для себя делали. И... когда надо — рассказываете. И тем тоже?

Крестьянин только метнул на него выцветшие зрачки и ничего не сказал. Он легонько покачивал своей седой кудлатой головой, словно от чрезмерного усилия мысли.

— А семья у него здесь была? Он ведь местный? — наседал капитан.

Гуща все тряс головой, и трудно было понять, то ли он отвечает, то ли помешался.

— Все тут местные,— отозвался его заросший шурин.

— Лапот, откройте следующего...

Этому отрубили топором правую руку; капитан велел охранять чурбан, место экзекуции. Лицо с черными ссадинами не имело уже ничего человеческого.

— Лосюк Бернард,— докладывал старик.— Был уполномоченным по земельному наделу. Сам горе мыкал — людовец [1].

— А когда его назначили?

---

[1] Член крестьянской партии Стронництво людове в буржуазной Польше.

— Раз — в сорок пятом. Потом он бежал от лесных. Теперь вернулся во второй раз, как только в гмине совет учредили.

Следующего звали Бобжицким. Несколько месяцев тому назад вернулся из армии, и, по словам Юзвы, здесь его немного побаивались. Бандеровцы и Гетман не раз допытывались о нем. До сих пор везло, все не заставали...

Дальше лежал Моленда, работавший на вырубке у лесника Маштеляжа, продырявленный пулями, как решето. А больше всего изуродовали старого Ренкаса. Он был тут единственным партийным. Еще до войны все знали его как большевика и радикала. Сидел при санации [1], при немцах скрывался в лесу, а теперь вот с тем же Лосюком стоял во главе совета. Это значит, в третий раз возглавлял, потому что два раза бежал от Гетмана и Войтюка с его живодерами. И уж на этот раз прикончили его.

— Предостерегали его люди,— бубнил старик, начиная что-то соображать,— потому как, ничего не скажешь, даже уважали его, ничуть за все эти годы не изменился. Как был красный, так и остался. Ну, люди ему и говорили, чтоб остерегался. Власть-то в Люблине — далеко, а Гетман — рядом, в Сандомирской пуще. Доиграешься. Знали, что говорили. Известно же, что Ренкас с Лосюком — они и есть власть. Понятно было, что уж его-то не обойдут. Кто из лесу ни заявится, всякий про Ренкаса допытывался...

Майор слушал все это, морщась и посапывая, но уже не перебивая ни единым словом. Последнего повешенного еще раньше перенесли в помещение гмины. Это был отец Курылы. Его истыкали штыками и повесили рядом с Ренкасом.

Теперь майор ступал по свежей крови, присыпанной песком.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Скоро уже одиннадцать. Во дворе, за закопченным зданием гмины, стояла стеклянистая, раскаленная тишина, как будто бы ничего и не произошло, и лишь тени

[1] Буржуазный режим в довоенной Польше.

вязов, засохших с одной стороны от пожара, затаились возле шершавых стволов, оставив светлое пространство, вдвойне пустынное, залитое глазурью солнечного света. С лугов тянуло запахом нагретой травы, базилики и ромашки, трепетно наплывал горький смрад с пепелищ, а временами, когда неподвижный воздух оседал, словно пыль, в самую гущу жары просачивался новый, сладковато-приторный дух, и человек, невольно принюхиваясь к нему, без труда узнавал трупное зловоние. Время делало свое, вспучивая лежащие под брезентом тела.

Во двор гмины, распинывая сапогами груды мусора, тяжелым, усталым шагом вышел капитан Вицек; на ярком фоне пустого пространства он казался совершенно черным. Вот он нашел в углу двора четырехугольник колодца, наклонился, высвободил ведро из цепи, после чего, громыхая рукояткой, опустил его в неглубокий проем. Отполированный колодезный вал заскрипел, словно заскулила собака. Пополоскал ведро в мутной, еще не отстоявшейся после тушения пожара воде, затем вытащил его и склонился над ним, обнажив вспотевшую лысину. Медленно, жадно уткнулся лицом в ладони, с которых стекали струйки воды, сполоснул шею, промыл глаза и уши, громко сморкаясь и фыркая, похоже было, что он хочет исторгнуть из себя, выблевать все, чем забита голова, от чего перехватывает дыхание, что залепляет рот. Вот он отряхнулся, все еще багровея лысиной, сдвинул раскоряченные ноги, выпрямился и, выбивая пыль из фуражки, услышал стук топора. Этот будничный стук плотницкого инструмента несколько удивил его. Первый нормальный звук, который он услышал в этой деревне с самого утра. Он направился в ту сторону, откуда доносился стук, сделал два шага и снова та же тяжесть выдавила из него вздох.

Стоя в дверях, он заслонил собой искристый поток солнца — внутри клетушки, накрытый его тенью, рядовой Каня из первого взвода, насупив брови, обтесывал вытащенные откуда-то доски. Несколько досок, обрезанных в одну длину, он гибкими и легкими движениями подгонял друг к другу. Сосредоточенно склонясь, он не обращал никакого внимания на стоявшего в дверях офицера; сквозь щели в гонтовой крыше струились светлые пятна, танцуя в волглой щепе и хрустящей под ногами стружке.

— Что это? — спросил бездумно капитан.

Солдат замер, выпрямился, пытаясь принять стойку «смирно», но руки с топором висели у него отнюдь не по-военному. На его рыбьем лице отразилось смущение. Был он без фуражки, карандаш по-плотницки торчал за ухом. Он озабоченно пожал плечами и неохотно ответил:

— Домовина, товарищ капитан.

Именно «домовина», а не «гроб».

— Ну да, конечно,— буркнул капитан Вицек и отошел.

А пока пересекал двор, его все время преследовал сухой стук плотницкого инструмента. Точно такой же звук доносился и из других усадеб: топоры и молотки так и перекликались, то частили, то заглушали друг друга, словно эхо, усиленное этим безлюдным пепелищем. Было что-то бодрое, что смиряло и успокаивало, в этом усердном перестуке, который возвращал деревне, жуткой и словно застывшей в миг светопреставления, ее привычный звуковой фон, недостающее ей измерение. Ведь это был единственный звук среди тишины и солнца, покрывших Липины, вытянувшиеся вдоль дороги, вдоль белого песчаного рубца, в подкове синего леса, параллельно речной спирали, тускло отражающей влажные тени деревьев и блики камышей. Никакой другой звук не подтверждал жизнь деревни: ни пение петуха, ни гоготание гусей на лугу, стайка которых напоминала сохнущее на солнце белье, ни мычание коровы, ни плач ребенка, молчала просвечивающая куском неба колоколенка с треснувшим колоколом, ничто не отсчитывало здесь времени, кроме еле уловимого — если пригнуться к земле — шуршания насекомых и жужжания пчел да журчания речки в тенистых излучинах,— но все это лишь усиливало тишину, без этих микрошорохов она была бы чем-то неизмеримым. Вот так и перекликались дворы этими звуками — стуком молотков и визгом пил, но только дворы в центре деревни, где стояли уцелевшие дома и где находились солдаты, готовые двинуться дальше или разместиться на постой, одним только этим делом и занятые, словно это была их повинность, огражденные от жителей стеной молчания и отчужденностью уклончивых взглядов, поспешно скрываемых под опущенными веками.

...Ну вот тебе, жалкий фанфарон, думал капитан Вицек словно лишь какой-то частью своего мозга, для того

ли ты вернулся сюда из-за колючей проволоки, с опостылевшими за шесть лет картофельной похлебкой и португальскими сардинами, чтобы попасть на этот сплошной перестук сколачиваемых гробов. «Смотри, сынок, там тебя ждет историческое по масштабам выколачивание духа...» — вспомнил он предостережения офицеров из Мурнау, когда расходились их дорожки перед Мюнхеном и Дрезденом. «Красный Вицек, вперед! Побелеешь еще, комиссар, Робеспьер недоделанный, с язвой двенадцатиперстной кишки!..» Помнишь первые плакаты о том, что «стране нужна рука и сердце гражданина», «мы возводим новый дом»,— на плакатах тоже были молотки, а как же! Ведь уже год, как ты тут, и весь этот год такой вот стук выстрелов и долбеж молотков: люди, приконченные ночью, и гробы, сколоченные днем, вся Польша укладывается в ящики и отправляется на тот свет, откуда ты сюда явился. За шесть лет войны ты не убил ни одного немца, а здесь, старик, на другую войну попал. Вот они, чаемые тобой польские липы и еловые леса... «пусть повсюду будут войны, лишь бы польские деревни жили тихо и спокойно» [1]... снова придется списать еще один кусок национальной легенды... расплодились волки...

Капрал Лапот, сменив караулы возле трупов, велел по приказу майора уложить их в тени на кладбище и разослал по ближайшим дворам добровольцев за досками для гробов. Из окна дома Пайды было видно, как к их запертым воротам подходят трое солдат во главе с Гралевским.

— О господи, идут!..— охнула жена Пайды.

— Тихо! — рявкнул на нее старик, вглядываясь сквозь ярко-красные, бросавшие румяный отсвет пеларгонии.— Из дома ни-ни!

Над калиткой выросли солдатские каски. Заперто. Постучали прикладом, еще раз. Потом навалились — и щеколда с треском подалась.

— Эй, есть кто там? Где хозяин?.. Выходите, гражданин!

Гралевский еще держался спокойно, но возле ноздрей уже выступили белые пятна.

---

[1] Строка из поэмы С. Выспянского «Свадьба».

— Спокойно, ребята! Глядеть в оба. Если что — я с этим бауэром потолкую.

...Уж я-то их, мать их мять, выкурю отсюда, как хоря вонючего из норы. Попрятались, морды живой не увидишь, на их совести это, а как расплачиваться, так каждый воды в рот набрал — ничего-то он не знает, ничего не видел. Дух-то у них тут какой, мать их мять, цветы хорошие, в лесу бы сейчас полежать в тенечке, погода какая, только бы искупаться да сапожищи эти стянуть... так людей покромсать, мать их, когда же они поймают этого бандюгу? И угораздило же Костека аккурат к этой живодерне подгадать! Идешь к себе домой, а тут, мать их, бойня, что теперь наш майор сделает? Как тут узнаешь, кто бандит или сообщник бандитский, а кто жертва? Землю им, мать их мять, дали, все для простых людей, сколько народ, мать их, натерпелся, и все еще брат на брата... что теперь с ними делать?.. Перестрелять всех до одного, перевешать?..

Хату Пайды они выбрали потому, что она выглядела побогаче и ничто не указывало на то, чтобы здесь пострадали прошлой ночью. Солидный дом, на кирпичном фундаменте, с просторным крыльцом, обшитым досками и проконопаченным, как на зиму: на крыше — легко загорающийся толь, большие службы в четырехугольнике двора, сарай, дровяник, колодец с резным навесом. На задворках, под стрехой сарая, Гралевский заметил штабель свежих досок, плотно уложенных у самой стены. Молча двинулись туда. Они уже вытаскивали их на середину двора, когда дорогу им заступил Пайда.

— Господа служивые...— процедил он сквозь зубы, не отрывая от солдат холодных совиных глаз.— Как же так? Выходит, и законное войско грабит?

Гралевский выпрямился, поправил каску и автомат.

— Сколько вас в дому? Ну, сколько у вас всего людей, спрашиваю?

Пайда поднял на него сузившиеся зрачки.

— Трое.

— Хватит для всех,— кивнул Гралевский на штабель,— на упаковку для вас. Дайте и другим...— После чего, теряя терпение, рявкнул: — На гробы пойдут, понятно?

Старик шагнул и положил руку на тес. У Гралевского белые пятна от ноздрей медленно поползли к щекам.

— Вас, значит, не касается,— продолжал он сдавленным голосом, то и дело облизывая пересохшие губы,— что людей казнили... что топорами руки... что замки вгоняли в живое мясо... Вы смотреть не ходили. Моя хата с краю. Даже к похоронам не хотите руки приложить... Мать вашу мять! Ваша хата цела, не тронута. Вы Гетману хлеб-соль... а этим, что за вас свою жизнь отдали, даже доски на гроб жалеете... А дерева здесь много,— окинул он взглядом двор,— и крыша толевая... Ух, как бы горело...

— От народной власти, а крестьян жгут,— бросил иронически старик, не отнимая руку от досок.

— А как же! Огонь за огонь. Заслужили этого, гады... Семя каиново!.. Сжечь бы вас всех да распахать...

Пайда опустил глаза и втянул голову в плечи.

— Я в эти дела не мешаюсь...— буркнул он.— Сами доигрались. Вечный им упокой. Хотите казенных досок для милиционеров, берите у лесника, у Машteляжа. Я неповинный, чтобы меня грабить.

Один из солдат не выдержал:

— На гроб жалеете!

— Владек!.. По-христиански...— послышался от дверей пискливый голос. Встревоженная жена Пайды стояла на пороге, молитвенно сложив руки. Старик даже не повернул головы.

— Сказано тебе — домой!

— Отец, грех это! — простонала из-за спины матери Регина.

— Если бы не седина твоя, ты бы у меня сам на карачках доски сбивал... Убери лапы! — И, чувствуя, как туман застилает глаза, Гралевский грохнул прикладом по вцепившимся в доску костлявым пальцам.

Пайда ощерился, плотно сжал челюсти и не охнул. Только присел, медленно стягивая растопыренную ладонь, оставлявшую кровавый след на шершавых досках.

Осматривались они долго, искоса прощупывая метр за метром службы и строения, как слепой обшаривает окружающие его плоскости, опасаясь угодить в тупик, бегали глазами по закоулкам и проемам, все еще угрюмо злясь на то, что всюду тихо, грязно и бедно, что все как-то невидимо проминается, уступает, не давая повода

разрядить скопившуюся ненависть, вызывая лишь сострадание. Но сейчас им было не до сантиментов. Лица и движения их казались какими-то неестественными, поскольку не предназначались ни для кого. Прач шипел сквозь зубы, бормотал что-то про себя и плевал походя на весь этот в дерьме тонущий мир.

...Ну и влип же ты, своей мамочки сынок, вот уж полгода одно и то же, хорони трупы на этом семейном кладбище да поглядывай, чтобы голову вовремя пригнуть или всадить в дорогого соотечественника, что там еще осталось в диске «дегтяря», тут уж только поспевай в этой польке-бабочке на открытом воздухе, резиновые сапоги и рукавицы должны бы выдать, раз уж в могильщики определили, а поди знай, может, и тебя, корешок, завтра вот так же повернут лицом к свету, заткнут нос, для того ли ты, мальчишечка, остался в части, чтобы девушки пели о тебе «Солдат полем проходил, свое сердце уронил...», «Мы борцы молодые, нам враги нипочем!..»

Двое следовавших за ним никак не могли понять, чего Прач ищет. Ему хотелось вопить, орать, гавкать, а встречал он лишь ненавистную тишину, которая могла казаться и грозной, не будь она такой заурядно жалкой. Простукивали стены, заглядывали в пустой телятник, в закрома, откуда зерно было выгребено. Выскочи вдруг собачонка, тут же пришибли бы ее, не сдержавшись.

— Сами видите, ничего здесь нет...

Он вырос перед ними из малинника, это огородное пугало, в заплатанных прогнивших лохмотьях. Между пальцами босых ног не высохла еще болотная грязь. От речки, должно быть, подошел, от Ленга. Глаза голубые, будто дым, затуманенные безумием и тоской.

— Ты откуда, папаша? — спросил Прач, понимая, что вопрос напрасный. Но ведь надо же что-то сказать, раз уж тебя так распирает.

...Эх ты, бедолага несчастный, всю жизнь в лаптях, свои не пахнут, еще страх в тебе не выветрился, все ясновельможного пана ищешь по привычке глазами, перед всеми бы шапку ломал и стоял у дороги, согнувшись в пояс, пусть от брички хоть вонью несет, будет что детям рассказать, похоже, не хочешь быть человеком, мужичок ты дремучий!..

Достаточно было взглянуть на его набухший рубец через лицо, чтобы все понять. Это был Дзида, жалкий

недоросток, весь трясущийся от страха. Он бормотал что-то о больном ребенке. Прач не понимал, да и не хотел понять. Оборванец шел за ними по пятам и не мог сообразить, о чем его спрашивают. «Куда ходил? С кем там шашни затевал?» В голове у него явно помутилось, потому что бормотал он о том, что зря перебегал дорогу, о каком-то ручье, о том, что прикладывал мокрые тряпки, а опухоль все не проходит. Когда они двинулись к дому, он заныл, как назойливый комар:

— Ребенок же, сжальтесь над ребенком...

Прач обернулся.

— Ты чего? Кому он, твой пискля, нужен? — И, сдвинув каску на затылок, рявкнул: — Доски есть? Давай!

— ...Весь красный, как ошпаренный... и кричит, всю ночь кричал... Мать как раз вчера оставила мне его, пригляди, говорит, за ним, Юзек... Я, может быть, останусь в Жечице, если не успею... Только не разрешай ему выходить на дорогу...

— Доски, понимаете? — рявкнул Прач в приступе ярости.

Дзида успокоился, видя, что они не идут к его хате. Скользнул по ним угасшим взглядом, что-то уже начал соображать, понял, что это другие.

— Досок? Не-е... нету.— Потом добавил: — Я в лес не хожу...

— На гробы, ясно? Людей хоронить...

— Не-е... досок у меня нет. Ничего нету.

Прач оттолкнул его и резко повернул со двора.

...Заберите меня отсюда, товарищи дорогие, я за себя не ручаюсь, мать моя, мамочка, держите меня, а то всажу в кого-нибудь от живота, панов ясновельможных вымели, а холуи остались, и как только этот Курыло здесь вырос? Один черт знает...

Солдаты последовали за ним, то и дело смущенно оглядываясь и поправляя на ходу винтовки. Дзида смотрел им вслед, судорога подергивала его щеку от уха до вспухшего рубца, будто ему сейчас вот врезали по морде. Тот был такой же, высокий, в каске и накидке. Только накидка у него была вся в пятнах — «пантерка», как ее называли (при немцах «цельта», а потом «плащ-палатка»; всякого наслушались за эти годы, чуть не каждый день незаметно языки сменялись). Да и каски были на них немецкие, глубоко на уши находящие, квадратные.

Когда он, ошалелый от своей смелости, бросился и выхватил малыша из-под копыт гарцующего коня и потом прикрыл его в проходе к усадьбе, зашедшегося от истерического плача, они вот так же подходили к нему молча, неторопливо, правда разве что с прискучившим раздражением. «В другой раз не кидайся на пана ротмистра, выкидыш вонючий, знай, с кем дело имеешь,— процедил сквозь зубы тот высокий, хлестнув его по лицу будто раскаленным железом.— Ничего с твоим ублюдком не сделалось, понимай шутки, хам, и знай свое место». «Приглядывай, чтобы только он не выходил на дорогу»,— предупреждала его невестка, повязывая платок, и ведь он же сам заклинал ее, чтобы она не брала с собой ребенка. «Неизвестно, спокойно ли в Жечице. Весь день от Хуциск стрельбу слышно. Не ходи, Катажина, с дитем — пуля, она не разбирает». Нет, уперлась, надо к крестным за семенами и дубителем. А до Жечицы Землянской идти порядком, да еще лесом. Едва уговорил ее, чтобы оставила парнишку, пока здесь спокойно. Жила она одна, брат у Дзиды погиб при немцах, а на него, младшего Дзиду, она никогда не обращала внимания... Все еще у него звенел в ушах крик ребенка, а в глазах стоял дикий танец лошади: и шпорами колют, и узду крепко держат — вот конь и взмывал на дыбы и неловко ставил копыта, стараясь не задеть ползущее тельце. До этого, еще шагов за пятьдесят, была погоня, а когда мальчик упал, то именно конь, испуганный, перебирал копытами, чтобы не наступить на него,— конь, который ничего не понимал и, бунтуя против воли всадника, фыркал, приученный уважать людей, приседал и отдергивал копыта, продлевая этим развлечение. У малыша не было ни единой царапины, и только смертельный испуг, видно, ударил ему в голову. Всю ночь он трясся в конвульсиях, горел, не приходя в себя, красный, как огонь. Дзида не знал, что делать с ребенком. Укрывал его, успокаивал, поил, впервые осознав свое одиночество — ведь у него не было никого, кроме этого малыша, сына его любимого брата, а брата давно уже нет в живых. Он испытывал страх при одной мысли о возвращении Катажины и о той минуте, когда он взглянет ей в глаза, хотя за ночь уже перестал верить, что и она вернется живой и невредимой. Он знал только одно: он не уберег малыша от этого ужаса, и теперь, когда ребенок метался в горячке,

с потным и посиневшим личиком, он чувствовал себя таким виноватым, что слезы текли по его усам, и он молил малыша, чтобы тот выздоровел, беспомощно ощущая его испуг всей силой воображения взрослого человека. Каждый приступ конвульсий и пронзительный крик мальчика вонзались в его тело, как зубья большой лесопильной пилы. Он молился, обращаясь к ребенку, умолял простить его, вытирая кулаком слезы, бегая по комнате, как напуганный пожаром зверь, падал возле кровати на колени и, спотыкаясь об утварь, громко бормотал какие-то клятвы, заклинания, оправдания. Киноварные блики бегали по стеклам, в ста шагах от хаты гудел пожар, подсвечивая заревом дикие корчи его лица, он даже понятия не имел, что происходит вокруг, а красные отблески, долетавшие то от дороги, то со двора, казались ему лишь дьявольской декорацией к его горю. Глухой ко всему, почти в помрачении, он не сопротивлялся, когда его вытащили из дома на дорогу и погнали к площади в толпе таких же, как и он. Сквозь шпалеры людей, сквозь застывшую толпу, где лишь вскрикивала то тут, то там какая-нибудь баба, шли к месту казни какие-то призраки в разорванном белье, запятнанном черными подтеками крови. Они принимали участие в этой предписанной демонстрации ненависти, все по приказу грозили, по приказу плевали, кидали проклятья, не зная кому, разве что своей собственной судьбе и своей бесчеловечности. Кроваво-бурые стены пожара ударяли в них с меняющимися порывами ветра, тогда они чувствовали уже только огонь, отступали, ослепленные, на несколько шагов, прикрывая лицо руками, чтобы избавиться от прикосновений огня, когда волосы и брови скручивались от дыхания пламени. Высоко в клубах дыма прятались звезды, завеса копоти, прошитая искрами, заволакивала темноту бездонного неба, а они стояли среди рева бушующего огня в нарастающем треске стропил, и тишина казалась предельной, прерываясь лишь стоном ужаса, который должен был являться выражением гнева, когда вслед за воем казнимого и грохотом выстрелов прокатывался по толпе сдавленный вздох. Потом на фоне меркнущего пожарища, когда холодная дрожь ночи вновь упала на застывшие в недвижимости тела, они горловым стоном встречали тени, вздернутые на веревках. И смотрели на их судороги уже лишь с ожесточенной

беспредметной ненавистью. Все это время Дзида думал о ребенке и о том, не перекинулось ли пламя на его хату.

А теперь Прокопюк ждал у окна, грузно усевшись на широкий табурет, вцепившись узловатыми пальцами в льняную, смятую и скособочившуюся скатерть. Сидел он набычившись, словно в любую минуту готов был вскочить и боднуть любого. Над сросшимися бровями сморщенный от лихорадочных размышлений лоб под шапкой волос, просвечивающих белизной на темени. Влажные, маслянистые глаза в тысячный раз проделывали один и тот же путь — от косяка к косяку. Весь он подался вперед, неподвижный, всклокоченный и черный, весь в напряжении с самого утра. Он сидел в тягостном ожидании: вот придут и поведут на суд, потому что все понимал, предполагал и был готов к сопротивлению, лишь бы только провести их и перехитрить, отвлечь от Грицька. Дунька с матерью притаились на кровати, выделяясь тусклыми пятнами на фоне вышитого покрывала и пирамиды подушек под иконами, по которым ползал желтой гусеницей отблеск лампадки, углубляя и оживляя их коричнево-золотистые тона. Обе так и застыли, завороженные страхом и напряженной готовностью отца, боясь только его одного и того, что он может сделать. И с ходом часов они все больше и больше съеживались, загипнотизированные его недвижной угрозой, потому что любой их вздох, любая попытка выйти из дома, не говоря уже о том, чтобы показаться во дворе, пробуждали в отцовских глазах проблески настоящего бешенства. Они все понимали и молились лишь о том, чтобы старик наконец успокоился, что-то сделал, нарушил это молчание. Но Прокопюк все ждал, сам не сознавая, что его руки, с пятнами смолы, судорожно впиваются в скатерть хищным жестом душителя,— а они видели это.

Его прижали и обложили, да еще как, лишили возможности сделать какой бы то ни было шаг, кроме последнего, самого страшного — самоубийственного. Там на чердаке, в гробу, пахнущем терпкой ольхой, откуда убрали зимний ранет, хрипел влажно-серый Грицько, а синие пятна гангрены поднимались все выше — смерть подбиралась уже к глазницам, к заострившимся ноздрям. Вынести его из-под косо нависшей соломенной крыши,

на которую всю ночь могла упасть крохотная искра, занесенная ветром даже сюда, на дальнюю окраину раскинувшейся деревни, с тучей огоньков, путающих рисунок звезд в эту душную зловещую ночь, высвободить его из-под этой крыши, поросшей зеленым мхом и поливаемой водой с короткой лестницы, вытащить его из этой ловушки можно было теперь только в гробу. А это будет кощунством. Привезли парня ночью, когда Мыкола стоял у калитки, прислушиваясь к теплому дыханию беспокойного сумрака, подняв глаза на оловянные слитки туч, наполовину закрывавшие купол неба, краешек которого над лесом, со стороны пущи, светился не от луны, а каким-то фосфорическим свечением, излучением бегающих огней, недобрым, но все еще молчащим и теплым заревом. Земля тогда издавала шепот, словно высыпавшая на улицу толпа, вслушиваясь в далекие голоса, всматриваясь в игру бликов за горизонтом. На этой проплешине, задернутой пологом лесов, единственными звуками были вздохи прислушивавшихся людей, кваканье лягушек и скрип сверчков, которые пилили тишину вместо ожидаемых сигналов, болезненно дергая этим обостренную струну воображения, вызывая беспокойные слуховые галлюцинации. Эта напряженная подсвеченная ночь перекликалась эхом собачьих подвываний, заявляла о себе всплесками Ленга и приглушенным уханьем совы. Он слышал шорох пересыпающегося в колесных спицах песка, скрип изношенного ригеля, лисью трусцу приблудной дворняжки на пыльной дороге, вроде бы шум дождя, что приходит в тиши, и чувствовал временами щекотание жуков, когда они падали на обнаженную шею откуда-то с целлулоидных, неподвижных листьев. Он стоял и поглощал эту потушенную тишину с белым перемигиванием глаз карбидных ламп, и вдруг зафыркала лошадь и выросла тень подводы, возникшей из ниоткуда, неожиданно, будто сбывалось дурное предчувствие, прямо за его спиной. Он наколдовал ее, вызвал своим беспокойным ожиданием. «Грицько»,— прохрипел он с пронзительной уверенностью, холодом спустившейся к самым коленям. Бесчувственные глаза сына горели в темноте, когда Мыкола склонился над его заросшим лицом, от которого шел кислый запах жара и гниения. Он был уверен, будто кто-то обещал ему, что будет вынужден смотреть на то, о чем они никогда не говорили, хотя это было

куда обыденнее, чем эхо тоскливой думки и вкус сигареты, чем полосы трассирующих пуль и грохот пальбы, но сам факт вызвал в нем безысходную горечь отчаяния, будто это пришло неожиданно. «Бери его осторожно, не спотыкайся, сволочь, башку сверну!.. Сынку ты мой единственный, да где ж тебя ляхи убилы?..» — «Плохо его дело,— сказал возница, поблескивая обрезом из-под балахона, кнут торчал у него за голенищем,— нога у него гниет, сотник велел спрятать, да тут он уж и сам потребовал, чтобы к вам: «Все едино дома хочу умереть».— «Когда?» — прохрипел Прокопюк, зло сверкая глазами. «Пять дней назад, когда переходили Сан». Еще возница посоветовал: «Хорошенько спрячьте, а то поляки донесут!..» Двое суток Мыкола не спал и не ел, напуганный прогрессирующей гангреной. Поил раненого лисьим жиром, зарезал последних кур, но парня только выворачивало наизнанку, он чернел и угасал на глазах. Дунька бегала, сторонясь отца, с сухими зрачками, перекошенным от ненависти лицом, стирала вонючие гнойные тряпки и ни на шаг не выходила из дома. «Только бы никто не узнал, что он здесь». Прокопюкова с растрепанным, но все еще черным как смоль коком напоминала чем-то обезумевшую волчицу, которая готова собственной кровью, собственным теплом и молоком спасти жизнь сына. Сама сожгла овчинную шапку с «трезубом» и солдатскую шинель, брошенную в сенях. Прокопюк со злорадным блеском в глазах смотрел на это, но не реагировал. «Конец, тату,— стонал раненый, приходя в сознание,— конец справедливости, конец Украине. Сотник сказал: кто хочет, стреляй себе в лоб, а кто пойдет продавать своих братьев, пусть знает, что и для него найдется пуля».— «Быть того не может,— стонал Мыкола,— покуда Войтюк по лесам гуляет, есть еще надежда. Как же так?.. На погибель оставить народ?.. Не жить украинцу только потому, что он украинец? Мы здесь веками жили, своих стариков здесь хоронили и наши могилы здесь останутся».— «Что делать, тату, поляков больше, чем нас. За каждого пана, который наших катовал, за каждого шляхтича и офицера мы сегодня втройне украинской кровью платим».— «Как же такое может быть, сынок? — повторял Мыкола со страшной ненавистью в голосе,— загубить народ только за то, что это народ?..»

Около полуночи Грицько пришел в себя, как раз в то время, когда у милицейского участка раздались первые выстрелы. «Тату, побожитесь, что добьете меня здесь раньше, чем найдут. Не дайте изжарить меня... как кошку». Он боялся, страсть как боялся, что его сожгут, прежде чем он успеет умереть. Но когда Прокопюк сообразил, когда узнал, что это нагрянул Гетман, он уже не так боялся. И только вот сегодня утром... Он знал, что за кровь льется кровь, а за местью следует расплата. Насколько хватало памяти, он всюду видел непрерывную цепь взаимных счетов, и не было из этого выхода, а только душа делалась заскорузлой, как несмазанный ремень, и мысль уходила в узкую колею последних обид и прямого возмездия за них — вот оно, руку протяни. Спекшиеся от обид и унижений, они с горьким злорадством наблюдали за крушением «панской Польши». С опаской, но полные достоинства, в сознании своей обособленности, за которую они уже столько снесли, они связывали свои еще неотчетливые, шепотом высказываемые надежды с «новым порядком», с поражением «Советов», с «самостийной» Украиной. С опасливым терпением ждали нового раздела мира, где найдется место и для «независимой» Украины, от моря и донских степей до Сана. Потом, когда лопнули их иллюзии, связанные с Гитлером, и нависла угроза расплаты со стороны красных, остался только Бандера — тогда-то и пошла свистопляска... От ночных пожаров, от треска немецких «шмайссеров», русских «ППШ» и лондонских «стенов» разбухал список взаимных счетов, расплат, ликвидаций. Оказавшись в тройном котле, они знали лишь одно: каждый, кто не носит «трезуба», не заслуживает ни сострадания, ни симпатий. Мыкола знал этот тошнотный запах крови и стеклянные, словно пузырем затянутые глаза трупов; стали тверже его зрение, слух и все чувства, кроме этого, шестого, которое вырывало его из сна до того, как послышится скрип подвод в лесу и чье-то затаенное дыхание за секунду до выстрела. Он сам послал сына к Войтюку, в первую «чоту», и готов был ко всему. И может быть, потому, что случилось это только сейчас, что столько раз щадивший его удар угодил в него рикошетом, когда он уже немного остыл и утратил смысл происходящего,— и был этот удар особо ощутим потому, что такой он издевательский, по лежачему. А теперь хоть зем-

ля расступись — он готов отдать и этот кусок земли и небо, только бы спасти сына; теперь он, как волк с перебитой лапой, мечтал лишь об укрытии, веря, больше инстинктом, чем разумом, что если спасет Грицька от смерти, грозящей извне, то тем самым вырвет его из когтей другой смерти, которая синяя и зловонная и которая сжирает парня изнутри. И тут он почувствовал, что его, парализованные бессилием руки впились в скатерть, а шапка упала с колен. Потому что те как раз входили во двор.

Прокопюкова прочла это по его лицу.

— Иды у гору! — бросила она Дуньке.

Но Мыкола словно пригвоздил ее:

— Стой! Щоб не взналы, що там кто йе.

Пехачек одернул мундир и, глотая что-то сухое, застрявшее в горле, выдвинулся на два шага вперед товарища, окинув зорким взглядом хату Прокопюка, от которой несло холодом, отчасти из-за контраста, который создавали синие полосы известки, оттененные голубым тоном, прошитые косичками зеленого мха, с переливающимся полуденным зноем, а отчасти из-за застывшего мрака, таившегося в проемах окон, подвешенного под изломами стрехи, стекающего в виде водорослей мокрыми пятнами.

Над верхней губой Пехачека засверкали капельки пота.

...Похоже, что украинцы, уж я-то знаю, как надо с ними разговаривать, эти с Гитлером были заодно, надо только решительнее с ними, дядя писал, как они у нас давали жизни... Господи, как же я им расскажу, чего тут навидался; ну а теперь поговорим; и как он это переживет, сержант Курыло? У него, наверное, все в голове смешается. У нас тоже был такой, в один день всю семью потерял, три дня пил, потом взял гранату, выдернул зубами кольцо и не выпустил, пока не ахнула!.. Не верили мне и теперь не поверят... а сержант на смерть был похож, глаза красные... пусть они только за мной идут...

Он слышал сопение шедшего в двух шагах позади него солдата. Дернул затвор и, держа винтовку по-охотничьи, вниз стволом, оглядел усадьбу.

— Это враги...— буркнул он.— Поглядывай... Эй, есть там кто? — Потом, пытаясь говорить по-украински, запел дискантом: — Иван, выхадыты!..

Самые это сволочные секунды, когда неизвестно, откуда секанут... Чтобы тебя врасплох не ударили, тут уж в оба надо смотреть. Иногда дернешься невольно, и тут по-другому все пойдет. А ему важно было, чтоб решительно... и чтобы этак свысока. Он еще раз щелкнул затвором. К счастью, доски заскрипели не сзади, а с крыльца, ведущего в хату. Всклокоченная фигура скользнула по ступеням, словно призрак в полосе света. В руках мужик держал что-то вроде скобеля.

— Брось это! Подойти ближе! — скомандовал Пехачек.

Украинец сделал еще шаг, бросил инструмент, который сжимал в руке, а когда тот звякнул о камень, медленно шагнул еще. Все это время он молчал.

— Що вам треба? — спросил он наконец глухо, не отрывая взгляда от ствола винтовки. Под сросшимися бровями черные омуты зрачков: ни разу не моргнул, словно и век у него не было. Пехачек предусмотрительно встал по центру калитки и кивнул товарищу.

— Обыщи его!

Солдат осторожно подошел, проехал ладонями по швам штанов, держа все время голову вверх, не спуская глаз с бледного лица обыскиваемого:

— Все в порядке. Нет ничего.

Прокопюк стоял на месте в напряжении и как будто переносил тяжесть тела с ноги на ногу.

— Що вам треба? — тихо повторил он булькающим грудным голосом.

— Гроб нужен,— решительно бросил Пехачек тоном, не терпящим возражений.— Доски для гроба.

В черных мертвых глазницах украинца промелькнула какая-то искра. Лицо его свело от напряжения. То ли он вздрогнул, то ли это только показалось Пехачеку.

— Гроба хочете...— сказал он хрипло.

Их насторожила эта реакция, тут же задернутая еще более хмурым молчанием.

— Гробы... для людей, которых вы вчера замучили. Вы... живодеры, сучье семя! — И Пехачек почувствовал себя увереннее, отведя душу.

Но мужик все стоял, по-прежнему застывший. Теперь

они уже заметили нескрываемую враждебность под этим низко вытесанным лбом.

— Сколотишь гроб до обеда или придется заставить?

Снова это как будто не дошло до его ушей. Все такой же враждебный, отталкивающий их от себя.

— Що вам треба? — повторил.

— Не понимаете по-польски? — рявкнул Пехачек.

— У мене досок нема.

— Дадите сами или попросить иначе?

— Ни, я не дам.

— Нет?

— Ни.

Пехачек не знал, что делать. На кой черт он затеял эту дискуссию?!

...Ах, ты так, Иван? Думаешь, я струсил, так ты меня еще не знаешь... Если я тебе прикажу, ты у меня на коленях будешь ползать, скулить и Бандеру своего клясть, Гитлер ты вонючий, будешь ты у меня шипеть! Ах, бить нельзя, за все за это с ними еще в перчатках разговаривать... ну что с ним сделать? Дураком прикидывается, но понял, что я ему сказал; и что это я всегда так потею. О! Руки мокрые, зараза, не буду же здесь тягомотину с ним разводить, а вот если бы встретиться один на один... здоровый мужик, глаза вон какие разбойничьи, пугануть, что ли, гада, пусть знает, что с нами шутки плохие, уж там капитан возьмет его в оборот... правильно вы его раскусили, Пехачек, скажет майор, только не цацкаться, пусть реакция знает...

Пчела кружилась над ухом неподвижно стоявшего Прокопюка, вилась над головой, у заросшей шеи, руки у него свисали почти до колен, но он даже не шевельнул ни ими, ни головой, хотя пчела то и дело садилась и взлетала вновь. Торчит как корявый ствол. Пехачек подошел и ткнул в него дулом винтовки, и вроде бы даже зашуршала кудлатая поросль у него на груди. Мужик поднял тяжелую лапу и отвел ствол в сторону, будто ветку, загораживающую дорогу. Пехачек почувствовал силу его руки, едва приклад удержал. И тут же понял, что ничего здесь не добьется.

— Чтоб мне к вечеру гроб был готов. Такой же, как для себя,— добавил.— Принесете на кладбище.

Удаляясь, он чувствовал на своей спине взгляд украинца, будто два дула уперлись в лопатки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стоны и заунывные причитания, которые он услышал еще на дороге, усилились, когда он захрустел сапогами, шагнув в яму, оставшуюся от разрушенных сеней. Хата Лосюков сгорела только с одной стороны, и странными казались клетки теней и полосы света, застывшие среди пепла, словно кто-то снял крышу, словно это не дом, а солнцем крытая оранжерея. Отрезанный от внешнего мира ширмами стен, закрывавшими деревню, огражденный от домов и лесов, он видел над головой низкую синеву и солнечный свет, вот-вот, только руку протянуть, такой слепящий над обугленными стропилами,— это соседствовало друг с другом, словно на голой вершине горы. Закашлявшись от гари, он споткнулся и влетел туда, где находилась семья убитого.

Лосюкова, почерневшая от синяков, лежала на кровати, которую снова внесли из сада в дом. Закопченная дверь, положенная на четырех кирпичах, была тут главной вещью — и столом и одновременно лавкой; вот и все, что им удалось спасти, потом уже ворвались «лесные», погнав их к месту казни. И все же кто-то здесь орудовал багром, ухитрился сбить огонь.

При виде мундира стоны как-то захлебнулись и утихли на мгновение, потом появление зрителя только усилило их, наполнило проклятиями, предназначенными для ушей свидетеля. Врожденный инстинкт лицедейства облекал в более понятные формы вечно таинственную траурную мистерию. Лосюкова продолжала охать и стонать, но уже с большим достоинством; ее положение говорило само за себя, и любое взывание к совести вошедшего офицера казалось излишним. Крестьянская гордость попыталась невольно подсказать домочадцам соответствующую манеру поведения. Старуха поправила на груди кофту, бессознательно попыталась скрыть синяки, покрывающие морщинистое лицо. Обе замужние дочери и сноха, укачивающая ребенка в перекинутом через шею платке, образовывали группу плакальщиц — готовая фотография для судебного дела.

Пашковский невольно почувствовал себя судьей, ведущим разбирательство. Лосюкова вытерла фартуком край лавки, допуская его этим жестом в их среду.

— Здесь вся семья покойного Лосюка? — спросил он, несколько смущенный формальностью своих первых слов. Как будто это имело какое-то значение.

— Мы, пан капитан, одни здесь женщины... Все сироты или вдовы,— всхлипнула в ответ жена Лосюка.— Это дочери: старшая — Анеля, младшая — Франка. А это сноха — Пелася, жена нашего Сташека... Тоже сирота, с ребенком осталась. Взяли его, сама не знаю за что.

— Мама... Что вы говорите? — подчеркнуто громко оборвала ее молодая женщина, нервными движениями покачивая ребенка.

— Ну ладно-ладно, Пелася, чего скрывать, и так все известно.

— Хватит! — бросила младшая дочь, искоса поглядывая на офицера.— Это здесь вовсе ни при чем.

— А что случилось с этим... ну, как его там, Сташеком? — невольно вырвалось у капитана.— Это ваш сын?

— Взяли его еще в самом начале, в Люблин увезли, вот уже полгода,— пожаловалась старуха.— Мой и сам не знал за что, а когда ему там сказали, уперся и никак не хотел помочь...

— Мама!

— Ну ладно-ладно, дочка. Боже ты мой, какие же мы несчастные...

Капитан был в замешательстве от столь неожиданного оборота дела. А он ожидал иного, поэтому сухо спросил:

— Значит, никто их не предупредил, что банда явится? Их что, врасплох застали?

— А что им оставалось делать, пан капитан? — ответила старуха, тряся головой.— Убежать? Иисусе Назаретский, сколько же их было-то? Только трое могли защищаться, при ружьях... Так это еще хуже, чем безоружным быть. Каждый им грозил за то, что в милицию вступили. Всё за эту милицию, говорили. И за землю. Мой старик три раза убегал, да вот схватили. Ну как тут можно жить?..

— Мы до этого Гетмана еще доберемся,— бросил капитан, сознавая всю ненужность этих слов здесь, в присутствии четырех заплаканных женщин, в обгоревших стенах под ярким небом, после всего, что произошло на их глазах...— Мы еще отрубим его кровавые лапы,— про-

должал он, сознавая всю смехотворность своих угроз.— Все пути у него отрезаны. Войско по пятам за ним идет..

— А разве он один? — сказала Лосюкова.— И разве это вернет жизнь моему Бернарду и тем ребятам, которых они изувечили хуже, чем гитлеровцы?.. Ах, пан капитан, если бы деревня была за них...

— А как же местные? Почему не вступились за них?..

— Если бы это люди были... А то волки. Боже мой, что эта война с народом сделала! Здесь, пан капитан, один другого на растерзание отдаст. Страшный народ, темный, все перегрызлись. Друг друга ненавидят. А уж пуще всего тех, кто им добра хотел. Мой был людовцем. Всю жизнь за них глотку драл. В глаза ему говорили: и правильно, ты, Бернард... А как придут, еще до войны, жандармы, как нажмут на них, так сразу все от него открещиваются. Ни один не заступился... А уж с Ренкасом и вовсе худо. Он же красный, а для них это уже не человек.

— Ренкас был коммунист, вот они его и боялись, подлюги. Особенно когда русские пришли,— вмешалась Анеля, подавшись как-то боком, словно бросая слова через плечо.— Знали, что он их защитит, вот и вели себя с ним вежливо, осторожно. А партийных тут больше не было. Он один здесь ходил и управлял. Только никто его не поддерживал. Ренкас коммунист был, сидел до войны в Сталёвой Воле, там, в городе, на заводах к бунту призывал, а здесь все свои, мужики. Не хотели с ним заодно быть. Когда приходили «лесные» или из УПА, каждый знал одно: Ренкас — красный, а мы все — поляки... Даже предостерегали его. Каждый раз, как отцу давали знать, что Гетман близко, так отец тут же и Ренкасу весть посылал. А уж как милицейский участок организовали, когда приехали «органы», ну знаете, из Люблина, как взяли нашего Сташека и еще двоих (искали-то молодого Пайду и Грицька Прокопюка), а отец не захотел заступиться, и Ренкас тоже, вот уж тут ненависть всех захватила... «Мы вас защищали,— каждый так говорил,— а как пришли ваши, коммунисты, и стали сажать, так вы воды в рот набрали, руки по швам и говорите, что правильно». Я уж тогда знала, что добром не кончится... А что? — Голос ее сорвался на фальцет.— Сама слышала, как все говорили: «Вот и доигрались...» — И она махнула кула-

ком, словно проклиная родную деревню и все стороны света.

Капитан Пашковский сдержал злость. Его охватили и гнев и жалость одновременно; этим людям нужно все простить. И он твердил про себя, что вот он стоит на следах свежей крови. И уже предвидел ход следствия, которое наверняка почти ничего не даст с точки зрения так называемой юрисдикции.

— Так что же? Выходит, вся деревня была против них? Что вы мне говорите!.. Ведь не все тут ждали Гетмана, и его тоже боялись. Мало ли он укокошил бедных людей?

— Пан капитан,— всхлипнула Лосюкова, приподнимаясь на постели и с достоинством вытирая глаза уголком платка.

Неожиданно сорока, черная, отливающая на солнце, с белыми отворотами, будто старая дева, вырядившаяся к обедне, захлопала крыльями и уселась на обуглившееся стропило, склонив набок голову и громко вереща. Это мимолетное вторжение птичьего стрекотания казалось бестактным, потревожило сгустившуюся атмосферу человеческих дел, гнева, исступления и отчаяния, стерло границу между тем, что было внутри и снаружи, границу из воздуха, из полос тени и сверкающего солнца, такую условную и такую издевательскую. Еще острее почувствовали они, что нет стен, нет крыши над головой...

— Упаси бог, чтобы я кого-то здесь судила, мести какой искала или расплаты. Разве это вернет жизнь моему Бернарду? Да будь они прокляты, чтоб им никогда глаз не сомкнуть!.. Пусть ходят по земле и видят до конца дней своих то, что видели. Ведь пошли они эту казнь смотреть, будто свора собачья, на их глазах соседей истязали... А они стояли, брехали и плевали. Так пусть и видят это и днем и ночью. Это не люди... И не нам их судить.

— Все присутствовали на казни?

Сноха Лосюков, Пелася, жена этого самого Сташека, подбросила несколько раз вверх ребенка, которого сотрясал плач, будто неотвязная икота. Значит, даже во сне ему что-то виделось.

— Тихо, маленький. Ничего-ничего... все хорошо...

И с исступленной нежностью принялась укачивать его, а ее большие мягкие груди перекатывались под платьем, словно маятники. Она нервно расхаживала по комнате

в обувке на деревянной подошве, ноги у нее были стройные и мускулистые. Пашковский почти ощущал тепло, бьющее от ее тела сквозь тонкий ситец. Что-то смутное путало ему мысли. Он еще больше сосредоточился, даже насупил брови, чтобы выглядеть как можно более деловым. Глядя искоса из-под черной паутины спадающих на лицо волос, Пелася уловила его взгляд. Франка, сидевшая босиком на корточках, вскочила, как будто бы ее кто уколол, и мягко перебросила тяжесть тела с одной ноги на другую.

— Все были, кто жив,— резко сказала она.— Стояли вдоль дороги, а их посередке гнали. И все глазели, как евреи на муки Христовы...

— Их согнали или добровольно пришли?

— А я знаю? Еле жива была. При немцах, известное дело, не раз выгоняли, когда казнь устраивали. Но чтобы теперь кто добровольно пришел на такое злодеяние смотреть...

— Тут уж надо совести совсем не иметь,— снова заговорила старуха, уже спокойнее.— На их глазах гнали несчастных, изуродованных... При всех мучили и убивали беззащитных. При них моего Бернарда топором...— Тут она разразилась рыданиями, перегнулась, закрыв лицо, и плечи ее затряслись.

Старшая дочь заслонила ее и, наклонившись к ней, попыталась успокоить.

Пашковскому стало стыдно, что он своими вопросами заставляет этих измученных людей мысленно возвращаться к сценам, которые им хотелось забыть. Хотя бы на время, хотя бы до похорон.

— Поймите,— пробормотал он,— надо сегодня же провести следствие. Отряду придется догонять банду... А тем временем виновные могут сбежать...

Женщины не очень понимали, что он хочет.

— Кто из здешних мог выдать их? Были здесь у Гетмана свои люди?

— В точности и фактически утверждать это не могу,— заговорила Анеля, уже успокоившись, осторожно взвешивая слова.— Известно, есть такие, что грозили им, потому как боялись людовцев и коммунистов. Только чего было бояться, что у них могли взять? Помещиков у нас в Липинах нет — ведь управляли из Бончи, из поместья. Сначала сидели тихо, приглядывались, как там с колхо-

зами будет. Кто при немцах был в лесу, дома долго не засиделись, не сдавали оружия, прятались от войска, а весной снова пошли шуровать. Осмелели. Когда койкого забрали, тут и полилась вода на их мельницу. Вот вам и урок, стали говорить, с коммуной трудно поладить. Молодой Зенек Пайда дома каких-нибудь две недели и просидел, потом опять скрылся. И Грицько, и Стоберского сын, и Януса... Вроде как и не было, да ведь каждый ребенок знал, что часто ночевать приходят. Бобжицкий с милиционерами расспрашивали, пробовали «накрыть». Сколько раз их в хату не пускали, а как войдут силой, то и махоркой еще пахнет, и портянки валяются, а хозяева только смеются в глаза. Предупредят да и уйдут, а те опять им грозят. До леса отсюда ближе, чем до повята или комендатуры. И ведь Бобжицкий раз уж он милицейский начальник, да и папа наш тоже пытались с ними поладить, искали связь через Моленду и лесника Маштеляжа — известно же, что «лесные» там останавливались, когда хотели узнать, что в деревне творится. Объясняли им по-хорошему, чтобы оставили деревню в покое, чтобы не ходили сюда, все равно же войско их переловит. Ренкас против был, а Бобжицкий все хотел их перетянуть, амнистию обещал и прощение. Так ведь он только разговоры разговаривал, а они знали про всех, кого арестовали. Как только кого из деревни возьмут и увезут в повят, так тут же другие в лес бегут. А потом пришло войско вылавливать банды. И стоило им объявить, что взяли Гетмана, как он тут же нарочно налет делал — и жег и косил вовсю. Люди больше с Гетманом считались, чем с войском. Войска-то разные, а парни в лесу все те же, потому как им некуда идти. От правительства которые придут — покрутятся и уйдут, а здешние за это расплачивайся... Сиди наши милиционеры тихо, так, может, ничего бы и не было. Здесь облава проходила стороной, известно было, что прочесывают Сандомирскую пущу. И все мы думали, что прогонят Гетмана и будет у нас тихо. Еще несколько дней тому назад здесь стояла какая-то часть с русским капитаном. Старый Курыло толковал с ним, ему все казалось, что его Костек где-то рядом, в отрядах, которые проводят операцию. Ушли те, и стало тихо. Только недобрая это была тишина. И отцу, и Бобжицкому, и Ренкасу дали знать, что «лесные» отступают сюда, к нам. Сами поду-

майте, три дня сидели все в правлении, дома не ночевали, объявили тревогу. Забаррикадировались, и телефон у них был, вот и казалось, что отобьются. И пили там — господи, известно, мужчины, что им еще было делать? Как только солнце зашло, я еще видела, как молодой Кайтох, милиционер, пробежал под нашими окнами и крикнул папе, что в деревне банда, уже возле гмины стреляют. Отец хотел за ним бежать, не поверил, что те осмелятся еще засветло, до ночи, но мы с матерью его не пустили. У него и оружия-то не было, чего им на глаза попадаться? Мало ему приговоров выносили, лучше спрятаться, пока есть время... У него тайник был, за домом, под буртом...— Тут она захлебнулась, просто дыхание пресеклось.— Отсюда, из дома, его и взяли...

Огибая усадьбу Пайды, дорога сужалась и, перемахнув деревянный, глухо гудящий под сапогами мост через Гнилку, которая в этом месте петляла среди ольшаника, отливающего в сумрачной зелени, словно юркая спина змеи, выгибалась влево, минуя многочисленные пруды, напоминавшие вереницу малахитовых зеркал, оправленных в заросшие камышом рамы, соединенные башенками шлюзов, надзирающих за проходами над равниной намокших лугов, откуда по вечерам мелодичным и глубинным эхом доносилась икота лягушачьих хоров, а иногда слышался всплеск одинокой щуки, отважившейся выйти на чистую воду,— а потом уже дорога бежала прямо вверх по сухой и песчаной местности, теряясь в зарослях не то терновника, не то можжевельника, просачиваясь в куртину темно-синего бора, который высился плотной стеной, и казалось, даже пуля не проникнет в его монолитную глубину. Границу леса окаймляла полоса сумрачной тени, словно зона холода и шума ветвей, отделяющая распаренные луга от горделивых поскрипывающих сосен, от поблескивающих листвой грабов и обомшелых дубов, сросшихся в крапленный солнцем купол зелени. Здесь, в глубокой просеке между лесной колоннадой, дорога в Хуциски, малонаезженная, устланная хвоей, изламывалась к небу и расширялась в травянистую поляну, на которой среди штабелей досок и бревен маячила крыша лесной сторожки, словно безлюдная и высушенная зноем железнодорожная будка.

Эта ухабистая дорога прыгала в стекле кабины, и казалось, что они ныряют в гряды зарослей и песка. Позади себя Гурчевский слышал, как громыхает кузов и звякают автоматные диски его ребят, которые мотались, широко расставив ноги, пытаясь удержать равновесие. Ветви то и дело трещали о верх машины, шуршали и били в стенки кузова. Как только Гурчевский притормаживал, стена молочной пыли догоняла машину, заслоняя видимость, накрывая ее радужным шатром. Навалившись на руль, он выжимал до упора акселератор, ноги от толчков срывались с педалей, он удерживал под собой машину, как в кино удерживают мустанга ковбои на родео. В проеме поднятого стекла, на котором пыль насела так плотно, что кто-то уже успел вывести пальцем какую-то похабель, зигзаг дороги и кусты ольшаника плясали, точно в прицеле пикирующего штурмовика. В лесу их сразу поглотила тишина, под колесами, казалось, лежал мягкий матрац; перед сторожкой он выжал газ, стрельнув выхлопной трубой, и выключил зажигание. И тут их захлестнул собачий лай. Два косматых кобеля, заливаясь басом, метались по проволоке. Пока что это был единственный признак жизни среди безжизненных строений. Они быстро окружили облысевшую поляну, сторожка дремала, подставив солнцу бурые высохшие бревна, из которых капли смолы, выдавленные жарой, стекали янтарными слезами. Плети дикого винограда закрывали глазницы окон, словно взъерошенные брови под надвинутой крышей из этернитовых плиток, которые отливали розовым на зелени. Мертвые ульи на пасеке пахли травами. Собаки все так же заливались хриплым басом. Они шли цепью от машины, отпинывая сапогами латунные гильзы, усеявшие подъезд к усадьбе и двор. Повсюду явные признаки недавнего пребывания банды: гильзы и полумесяцы подков, вдавленные окурки, следы армейских сапог.

— Отсюда вышли. Даже не таились, паразиты.

— Гурчевский, кликни лесника. Пусть придержит своих зверей — не стрелять же в них.

— Держи на мушке, могут еще тут отсиживаться...

Подошли к крыльцу, украшенному рогами оленей, давно отстрелянных — уже оплетенных мохнатой паутиной. На почерневших дверных косяках белели острые занозы, как будто кто-то ободрал их огромной бороной.

— Обстреляли его, это в его пользу говорит.

В доме никого не было. Чей-то голос унимал собак, от хлева долетел тихий свист. Солдаты метнулись, окружая двор.

— Вы лесник?

Подходивший к ним со стороны отхожего места человек застегивал на ходу ширинку и роговые пуговицы форменной куртки, собаки хватали зубами его свободную руку, он поднял ее и прикрыл глаза от солнца. Это был рослый человек с фарфоровым набрякшим лицом, хотя и с солнечной патиной над рыжей щетиной. Из-под суконной куртки торчала холщовая рубашка. Штаны немецкие, защитного цвета.

Он постоял с минуту, охватив неподвижным взглядом матовые каски, плащ-палатки и радужные полосы пыли, оседающие позади грузовика. Казалось, он смотрит на что-то позади них, за полукругом солдат, за ажурным кружевом леса. Спокойствие и равнодушие били от него какой-то сонной ленцой. Гурчевский почувствовал резкий дух спиртного. Довольно долго они мерились взглядом, собаки уже умолкли и начали ластиться, фыркая от пыли, а в наступившую тишину скользнул, словно в образовавшуюся брешь, чистый голос кукушки. Все как будто отсчитывали про себя эту свежо звучащую пульсацию эха.

— Ко мне? — спросил лесник, когда наступила пауза.

— К вам, к вам.

Лесник постоял неподвижно, не то раздумывая, не то прикидывая; Гурчевского охватил гнев, ему показалось, что лесник улыбается. Но это была не улыбка. Всего лишь спокойствие, несколько ироническое, и сонная рассеянность. Наконец лесник убрал руку с собачьей морды.

— Зайдем?

— Идите первым,— буркнул Гурчевский и за спиной хозяина махнул своим ребятам, чтобы один последовал за ним, а двое держали под обзором дом снаружи.

Лесник шел легким, пружинистым шагом, хотя во всей его фигуре было что-то грузное, как у старых и очень уставших людей. Входя, пригнул у высокой притолоки голову. В коридоре на оленьих рогах висел старый штуцер. Проходя мимо, лесник сделал движение, словно хотел снять его со стены, они резко вскинули стволы автоматов, но он лишь потянулся к дверной ручке, спокойно отведя оружие. И хотя он стоял к ним спиной, они как

будто чувствовали на себе его взгляд. В комнате, которая служила и конторой и жильем, их залил кремовый свет, казалось, вместо стекол в окнах пузыри. В ноздри ударил запах сушеных грибов, юфтовой кожи и немытой посуды. Обеденный стол служил одновременно и письменным; на постели из-под смятых одеял торчала солома, а возле большой побеленной печи поблескивали пустые бутылки. Гурчевский опустился на лавку из березовых досок, лесник присел у печки.

— В деревне были? — спросил Гурчевский.

— Знаю.

— Что скажете?

Лесник ответил неопределенным жестом.

— От вас многие выходят. Здесь их притон был. Мы все о вас знаем, знаем, что о вас люди говорят.

Лесник молчал, застыв как изваяние, упершись локтями в колени, свесив руки. Никак не реагируя, он выждал минуту, потом, достав трубку, стал раскуривать ее от зажигалки, сделанной из пулеметной гильзы. Терпеливо посасывал он чубук, втягивая щеки, рыжие усы от этого шевелились, как крылья ленивой птицы. Цыкнув слюной, он ответил, не поднимая глаз:

— Раз есть лес, значит, будут и «лесные». Где им еще быть, как не в лесу? Чтобы не видеть их, мне уйти надо, а я ведь лесник. А коли уйду — что мне делать, коз пасти? Может, хотите со мной поменяться местами?

— Вы им помогаете.

— Моя обязанность быть здесь. Люди приходят и уходят, а лес остается. Лес теперь государственный, а люди антигосударственные. Давно ли ваши были в лесу, а немец в деревне? Я и им помогал, прятались у меня. И ваши и не ваши... Разве меня кто спрашивал, когда приходили? А приходили ведь вооруженные, по ночам, не сказавшись заранее.

— Тогда была война. Не прикидывайтесь дурачком.

— А теперь мир... А сколько полков и батальонов шастают тут, палят по господу богу? Хотите, чтобы я сбежал, бросил все к чертовой матери? Думаете, мне не обрыдло это? Ведь это же государственная служба, а вы меня подбиваете, чтобы я подорвал отсюда.

— Ах, вот вы как? И при немцах это была государственная служба? И эсэсовцев принимали?

— И принимал. Только и вашим была польза от того, что я здесь.

— Наверняка с НСЗ якшались и с этим... Гетманом... Старые шашни...

— Да идите вы с этим!.. Что вы понимаете? Вы новый человек здесь.

— А если вы такой добрый, то почему не предупредили, что банда идет? Будто так далеко до деревни, до людей, которые следят за порядком? С кем вы тут, с милицией или с бандой?.. На государственной службе он, сучье вымя...

— Побыли бы вы на моем месте. Видели, что там на стене?

— Хотите сказать, что в вас стреляли и что вы хотели предупредить?

— А то нет? В дятла палили?

— Знаем, что вы за штучка. Кролик невинный, кроткая овечка... Я ведь тертый. Оправдываться перед капитаном будешь. Как возьмут тебя за бока, посмотрим, что ты запоешь. Все вы пострадавшие. А поскреби — и сразу видно, что все, что вчера творилось, без вас не обошлось. На многих шапка горит.— Гурчевский встал и шагнул к леснику. На его отвращенном от света лице горели глаза.— У тебя тут на вырубке работал один человек... Молендой звали...

— Работал.

— Может быть, хочешь взглянуть, как он теперь выглядит? В нем больше дыр, чем дней, которые он проходил с милицейской повязкой. Вы ведь знали этого человека — в лесу работал. У вас тут кряхтел и хлысты возил. На руках еще смола у него осталась... а не кровь, как у вас.

— Замолчите! — крикнул лесник и, вскочив из-за стола, подошел к окну, высунулся и долго стоял к ним спиной.

— Вот так вот люди мир изменяют,— произнес он охрипшим, чужим голосом, когда снова обернулся к ним, только крепко вцепившись в косяк.— Всю жизнь проходил босым... До трех сосчитать не умел. Ума палата. С винтовкой захотел походить, с повязкой... править да командовать. Долго протаскал эту свою винтовку...— проворчал он, точно себе. Потом сплюнул табачным соком.— Чего хотите?

— Досок, пан лесник,— смерил его взглядом Гурчевский.— Досок на гробы. Государственных досок для государственных людей...

Маштеляж направился во двор, застегивая на ходу пуговицы.

— Пошли. Выберете из того, что он сам напилил. Только квитанцию оставьте.

— Да-да. Оставлю. Но только не сегодня. Мы еще не расквитались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

У Кайтоха здесь никого не было, они с Бобжицким жили вместе в милицейском участке; в доме Пачесняковой полуглухой дед, шамкая беззубыми челюстями и вытирая глазки, послал Пашковского к костелу. Был он так запуган, что то и дело подтягивал штаны, спадавшие с него, как с манекена. После каждого слова у него в желудке что-то громко урчало.

Мать с трудом оторвали от головы сына, обезображенной изуверской раной от вбитого замка. Она выла, проклинала, поминая страсти господни, потом, словно в падучей, ее сухонькое тело, замотанное в черную воскресную юбку, застывало, она выбрасывала руки и ноги, судорожно дергала ими, закинув голову, сверкала выкатившимися белками — смотреть было страшно. Спустя минуту она вскакивала, когда ее опрыскивали водой, и еще неистовее продолжала это дикое отпевание. Просто удивительно, что из ее сухонького тельца выплескивалось столько энергии в этих сценах отчаяния. Когда наконец труп накрыли, она на коленях проползла к костелу по замшелым плитам, мимо старинного распятия, по гравию и битому кирпичу от разрушенной колокольни. Все это происходило на глазах трех потных солдат, в безлюдье небольшого заросшего кладбища, среди кустов калины и дикого винограда, где пахло подвальной затхлостью и травяными испарениями; никто больше не пришел из деревни, словно она была единственной из живущих под солнцем и молчанием листвы во время этого обряда без публики и без зрителей.

Что он мог сказать, как он мог вести это поспешное расследование или делать заключения, равно и поспеш-

ные и случайные, о людях, парализованных ужасом, которые отвечали на его вопросы потоком ненависти, подозрения и лжи, и все это в атмосфере подспудного страха? И, толкая их высказаться, он приводил в движение этот взбаламученный поток лжи и правды, бессмысленных мелочей и ужасающих, будто наследственных пороков. А иногда точно таким же вопросом наглухо замыкал рот, пробуждал панический страх в затуманенных враждебностью или безумием глазах. Он хотел очистить эту кишащую свалку, бросить на нее отблеск дневного света, подчинить все одному твердому порядку, обратить в одну сторону слепые лица, чтобы, выведенные из истерии, они наконец пришли в себя. Он добивался строгости и жестких рамок деловой дисциплины; еще недавно вопросы преступления и наказания, измены и повиновения, законности и беззакония были для него куда проще, чем отделение плевел от зерна. А теперь, выслушав первые хаотичные кощунствования, при виде этого потока слез и желчи, который рванулся, вызволенный его вопросами, он смешался, утратил однозначность критериев, которыми должен был пользоваться беспощадно и безошибочно. Стоило ему углубиться в эту чащу, как его мера переставала быть единственной мерой. И вместо необходимой строгости в нем нарастали замешательство и ненужная жалость, все размягчалось в хаосе чувств, в назойливой, щемящей боли. И он презирал себя, поскольку это противоречило его долгу. Все прекрасно, думал он, а деревня все равно этого Гетмана, так он оттиснулся в их мозгах, что они будут ползать перед ним на коленях, а на нас с нашими танками и пушками они плевали, ни хрена мы не добились; здесь этих людей надо так повернуть лицом к власти, чтобы у них полные штаны были, научить их бояться и уважать; да, твердил он про себя, они должны знать, на чьей стороне сила и закон, и тогда будут захлопывать перед Гетманом двери, чтобы и носа не смел высунуть из леса; прочность народной власти в поддержке масс, ну а где тут эти массы? Сколько хат сожжено, а сколько человек их поджигало? Здесь земля еще не завоевана, думал он, полтора года как фронт прошел стороной, а вон какие в тылу остались «мешки» да «котлы», вот теперь и очищай их, завоевывай снова; кошмар какой-то, думал он, и это спустя полтора года после победы...

Громко хрустела под ногами щебенка и стекло у входа, под низкими хорами, возле купели — похоже, что в этом костеле не служили с начала войны, когда снаряд разворотил колоколенку; какой-то здесь странный, подводный свет от заросших зеленью окошек; полумрак солнца, просеянного сквозь листву, отрезал столбами просветов ряды скамей, словно в тесном школьном классе, почерневшие изображения мук господних, исповедальню и грот алтаря, заполненный позолоченными фигурками святых. Все такое тесное, галерейка хоров доходила до половины свода. Сделав два шага, он оказался прямо перед алтарем. Он снял фуражку, охваченный этой подвальной тишиной, запахом трав и стеарина, холодным сумраком побеленных стен и густыми тенями убранства. Мерцал красный огонек. Он услышал эхо своих шагов. Пачеснякова, мать убитого, черным ледяным наплывом стояла на коленях возле алтаря. С трудом он отыскал ее среди неподвижной, искаженной полумраком утвари. Постоял, обмахиваясь фуражкой, несколько смущенный местом, в котором очутился. Нагое, скрюченное конвульсиями тело, острые колени и грудная клетка, изрезанная полосками ребер, рельефно маячили посреди алтаря, а рядом — неуклюжие фигурки людей с пиками и в касках. И в будни и в праздник томились тут эти выразительные изваяния с чрезмерно заломленными руками и яркими масками лиц, раскрашенными сельским богомазом. Голова, склоненная к плечу, с венчиком волос и в терновом венце, алела брызгами крови. Слишком кричащим было это сходство. Надо еще допросить ксендза, что он делал, в чем замешан, подумал он, прислушиваясь к щебету снующих где-то под крышей птиц, непристойно нарушающих тишину своими сопранными горлышками. Трепетание их крыльев производило на капитана такое впечатление, будто он находится в лесном шалаше. Силуэт женщины шевельнулся темным пятном, она проползла три ступеньки к плащанице стола господня и, поцеловав белый плат, со вздохом, громко отдававшимся в этой тишине, отползла в его сторону. На лице ее, освещенном полоской солнца, стрельнувшего через окно вслед за шелестом липы, он увидел спокойствие и сосредоточенность мистического вдохновения.

— Надо бы забрать отсюда тела, обмыть и обрядить

для похорон...— сказал он, и голос его невыносимо гудел внутри помещения.— Это ваш единственный?

Она дернулась при звуке его слов. Неужели он сказал что-то неуместное? Возвращающееся сознание затрепетало в ее глазах испугом, она перекрестилась, потом взгляд ее долго блуждал по его мундиру. И вновь она ушла в себя.

— Единственный... мой Сташек,— тихо пробормотала она.— Старшего немцы в Жолыне повесили.

— Сколько ему было?

— Двадцать в августе исполнилось бы.

— А муж?

— Вдовая я.

— Мы его по-воински похороним, с почестями,— говорил он, а эхо гудело: «...роним ...тями...».— Если вам что надо, скажите, пока мы здесь.— «...жите ...десь»... Что он бормочет?.. Что пенсию... Что народная власть... Что привезем... живого или в гробу...— А скажите...

Женщина услышала его очередной вопрос. Она встревоженно напряглась.

— А что, святой отец пойдет за гробом?

Капитан осмотрелся. До него наконец дошло, где он читает свою проповедь.

— Ксендз?

— Ну да, пан служивый. Чтобы ксендз шел... покропил... и в освященную землю...

А где он был раньше? В ту ночь, когда горели усадьбы и волокли сквозь толпу зверски изуродованных людей, как на изображениях, здесь висящих, когда этих нескольких освободителей здесь распинали люди с ладанками под мундиром? Куда это он так запрятался, что ничего не слышал, и какое находит для себя оправдание? Как он окопался в своем нейтралитете посреди разделившейся деревни? Этого Пашковский не мог себе представить. А ведь все произошло здесь, напротив его дома и костела. И Пашковскому вдруг так захотелось увидеть человека, о котором он раньше почти не думал.

— Стало быть, хотите, чтобы ксендз сына похоронил? — переспросил он, как бы не веря своим ушам.

— А как же! — Она уже не говорила, а кричала, подхваченная волной истерики; он заметил расширившиеся зрачки и пену в уголках рта.— Это из-за вас он пошел на смерть!.. За ваше безбожное дело, будь оно сто раз

проклято!.. Вы погубили сыночка моего, и чтобы теперь без погребения в землю его кинули, будто собаку... на вечные муки?.. Кому он служил, как не вам, а что выслужил? Чего вы только ему не наобещали... и землю, и школы, и должность... Он верил вам, во всем вам верил... А защитить его было некому. «Молчи, мать, дура ты, ничего не знаешь...» Дура я, господи, смилуйся надо мной... Ступай теперь, сатана, туда, на кладбище, посмотри на политику свою. Взгляни, что с сыночком моим сделали!

Этот крик пронзительным эхом вздымался к своду, гудел на хорах и вылетал через дверь. Капитан понурился, надел фуражку и козырнул.

— Воля ваша,— бросил он хмуро.— Пойду за ксендзом, приведу его сюда.

Он сделал такое движение, будто хотел поцеловать ее дергающуюся руку, но Пачеснякова рухнула и, рыдая, припала к земле. Шагая по хрустящему стеклу, он расстегивал ворот мундира.

...Где я? Чего это все крутятся, заходят, выходят? Катились бы ко всем чертям, будто не видят, что она без чувств, нашли кино, могли бы посчитаться с человеком, коли он хочет забиться куда-то хоть на час-другой. А потом? А что еще может случиться, какое еще «потом»? Ведь все уже кончилось. А еще вчера, приди мы раньше, все могло бы быть иначе. Увидел бы отца. Отец наверняка ждал, хвастал бы, козырял бы сыном своим единственным, а кем же еще? Пригладил бы усы, сам сухонький, низкорослый, приосанился бы: «Видал, Костусь, мы здесь у себя без всякой помощи, сами за все про все, на нас могут рассчитывать... колобродят, это верно, да недолго им уже колобродить».— И тут же сказал бы: «Садись, сынок, рассказывай, как ты немцев, растудыть их... а вытянулся ты, парень, твои письма мать, а как же, каждый вечер читает и меня заставляет, чего не понимает... осунулся ты — покою, видно, не знаете... когда вернулся Бобжицкий, я уж подумал, что и ты... а у нас, ух, что тут у нас творилось! Ренкас, стало быть, сразу же, в самом начале, собрал... еще войска здесь стояли... ну, люди, сам понимаешь, выжидали, думали, будто все это ненастоящее, незаконное, пропаганду такую со всех сторон пускали... Вот так-то, Костусь, уж и

не одну ночь в стогу проводили, а как кто в Жолыню ехал, то не знал, что застанет, как вернется». Так расхаживал бы, выпрямив спину, быстрыми шажками и рассказывал бы. Наверняка собрались бы сюда, в гмину, и Лосюк, и Ренкас, и Бобжицкий, и те, что теперь лежат там, активисты, я про них даже и не подумал бы — ведь хорошо помню их еще с немецкой поры; сопляки, лишь бы только пострелять, казаки-разбойники. Хоть тот же Сташек Пачесняк или Щепанек, то и дело в имение бегали, в Бончу, в солдатиков поиграть с этими вояками в полушубочках, из Армии Крайовой, которые невесть откуда взялись и для чего. И подумать только, они уже теперь с нами, Ренкас и батя милицию из них сделали, поумнели, кто бы подумал, что из них вырастет? Да, давно меня здесь не было. Это я почуял, как только с просеки глянул. Вот, зараза, и руки затряслись, и к горлу подкатило. Какой же я дурак, ей-богу, о таком даже не подумал. Почему это человек никогда с таким возможным делом не считается? Ведь такое они могли раз десять сделать. В прошлом году вроде еще спокойно было. А теперь вот уразумели, куда весы клонятся. Зверь, в ловушку загнанный, не разбирает, не задумывается... В таком смысле политрук нам объяснял. А стало быть, о том это только и говорит, что доперли они: и речи нет о том, чтобы переждать. Вот оно, доказательство: Кайтох, Пачесняк, Моленда, батя... Я думал об этом, правда, думал, да ведь еще несколько дней назад капитан Пашин сказывал, что здесь совсем тихо. И я как-то на это надеялся. А разве не видал, что в других деревнях творилось? Боже мой, чего этот майор хотел от меня?.. Хотел чего-то? Не помню. В другом месте, так это вроде и неизбежно, но чтобы у себя?! Взять, к примеру, тех, которых бандеровцы в куски порезали на лесопилке! Где же это было? В Майдане. Первые, кто туда вошли, блевали. Помню, дорога такая песчаная, много луж, лес сырой сосновый, ветреницы белые тянутся, запруды на месте вырубленного леса, болота, стаи уток и шум речушки, лугами бегущей. Привязали их к липким, окоренным стволам, дали воду из шлюза, и пошли пилы работать. Так и оставили лесопилку на ходу, даже самим не хотелось смотреть. Господи, и никого при этом не было. Сколько еще часов пилы вхолостую дергались. А здесь — перед всей деревней... и что они шастают,

чего не возьмутся за этих людей? За кого? За Прокопюка, Стоберских, Янусов, за Пайду, отца Регины! Расстрелять на месте каждого второго... Старый Юзва так на меня смотрел, его бы первого. Что здесь творилось? И как? Ясно, что их выдали, никто и не предостерег. Все в этом замешаны. Боже ты мой, что со мной! А как он смотрел, этот Юзва, что он хотел сказать? Снова она шевельнулась, глаза открыла. «Что вам надо, мамуся, только не двигайтесь, пить вам подать? Даю-даю, осторожно, не поднимайте головы...» — «Это ты, Костусь?» — «Да, я, я это, с вами я, молчите, не двигайтесь, я рядом, ваш Костек, не узнаете меня?» — «Это ты, Костусь, я тебя сразу узнала, хоть и изменился, снился ты мне, вот как сейчас, в мундире. О Иисусе, что они с отцом сделали, Щепан!» — «Тише, мамуся, я все знаю, знаю, знаю, ничего не говорите, ни о чем не спрашивайте, придет фельдшер, даст вам что-нибудь, лекарство, поспите, избили вас, отлежаться вам сперва надо».— «Где я, Костусь? Ничего не вижу, глаза у меня опухли. Сынок, ты не знаешь, что случилось... они, понимаешь, пришли еще засветло, отец-то знал об этом. Моленда предупредил, а тому лесник дал знать. И вот, Костусь, заперлись они в гмине, в милицейском участке, а те, из лесу, деревню окружили и давай поджигать... где я, сынок? Ничего уже не помню, так меня избили, старуху, твою родную мать избили...» — «Вы в гмине, мамуся, ведь нашу хату сожгли, войско пришло, ничего не бойтесь». А что ей сказать? Господи, надо приглядеть, чтобы фельдшер не проболтался, пусть заберут ее в больницу... что я говорю? Как? Ведь надо за Гетманом гнаться... пойду к майору, он человек толковый, только что он может сделать? А остальные? Даже не знаю, что с ними сталось. Теперь мне все равно, только бы мать выжила... «Костусь, поищи отца, скажи, что с ним. Я знала, что ты придешь, мы с отцом так тебя ждали, знаешь, какой отец, он ничего не скажет, а я-то знала, что у него на душе, когда от тебя писем не было, как неприкаянный ходил...»

Сколько мы уже здесь? Даже не знаю, который час. Все время ползают тут, как вши по рубахе, как те муравьи возле покойника. И чего это я сперва этих муравьев увидел? Они не как солдаты его казнили, а как живодеры и мясники... фашисты, гады, придурь немецкая... А мы с ними чикаемся. Штыками истыкали, да еще труп

повесили, измывались. Старого человека, который всю жизнь горе мыкал, недоедал, ждал терпеливо и делал все, чтобы эту вшивую жизнь изменить. Хуже всего — это что-то делать, тогда никто не поддержит, все только ненавидят. Позавидовали ему в том, чего у него еще и не было. О боже, я должен все это выдержать, только бы оставили меня в покое, хоть на один день! Ведь и с другими такое случается. У Кани всю семью вырезали на Волыни, в моем взводе у троих никого не осталось... Ну что ж, тогда была война. А теперь... Когда это кончится? Этот капитан из органов, Пашковский, говорил: либо они нас, либо мы их. Выходит, теперь они нас, а потом — мы их. А кто же это «они»? Ведь это же люди, соседи, родичи. Интересно, Регина здесь? Даже не знаю, давно уже не имел от отца известий о ней. А теперь, после всего этого... Ну как я с ними буду?.. «Что вы говорите? Здесь я, мамуся, с вами. Да-да, дотроньтесь до моего лица...»

Дом приходского ксендза стоял в глубине кладбища, от костела шла аллейка, усыпанная гравием, когда-то побеленные кирпичи окаймляли ее зубчатым бордюром. Теперь эта дорожка заросла травой, размыли ее дожди и вспучили кроты. Все запущенное, будто ксендз давно убрался, а кладбище стало настоящим старым кладбищем. Пашковский шел понуро, не зная, застанет ли кого. Дом выглядел вымершим среди палисадника, яркого шалфея и золотых лилий. Кусты давно отцветшей сирени пригибались к самым окнам, закрытым щелястыми ставнями. «Нет никого,— подумал капитан,— наверняка дунул отсюда, долгополый, чтобы совесть не мучила, а возможно, они с ним не ладили? А может, боится, что придется давать показания». Он обошел дом, выйдя к калитке, соединявшей его с костелом, попал во двор, усеянный лошадиным пометом и раскиданными пучками сена. Даже не верится, что кто-то может там быть. Эти опущенные жалюзи, внутри должно быть темно, загудело эхо от рукоятки его «вальтера». Но нет, за дверью что-то зашуршало — не то смятая бумага, не то шаркающие шаги.

— Есть здесь кто?

— А кто там?

— Откройте, гражданин.

В металлическом «глазке» сверкнул чей-то зрачок, человек за дверью ворчал и сопел так громко, что было слышно снаружи. Щелкнул засов, дверь отскочила в полумрак.

— Ксендз дома?

Ворчливый мужик с громадной головой поскреб шею, ощупывая его взглядом — от брезентовых сапог, планшетки и кобуры до фуражки. Капитан в это время сунул пистолет в кобуру и сдвинул ее назад.

— А вы кто? Органист, причетник?..

— Ага, ага,— торопливо покивал тот.

— Вы что, глухой? Я спрашиваю, ксендз дома?

— Есть-то есть, да немощные они.

Капитан отодвинул его в сторону. Половичок из пестрых лоскутов цеплялся за сапоги. Капитан слышал только скрип половиц под ногами.

— Проведите.

Комнатка маленькая, словно осела в землю, тени решетчатых ставен и кустов плотно накрыли ее, словно землянку в лесной чаще. Пахло мастикой, которой был натерт светло-ореховый пол, ладаном и мочой. Стол, накрытый плюшевой, протертой до дыр на углах скатертью, кровать под распятием и молитвенная скамеечка с вытертой коленями подушкой. Холодно, отдает подвалом, тихо. Капитан приложил два пальца к фуражке.

— Гражданин священник...

И ошеломленно замер. Он рассчитывал увидеть этакую массивную фигуру в сутане, брюзгливо вельможную и величественную. Но то, что увидел, было сущей неожиданностью, и на миг капитан даже забыл, зачем сюда пришел,— существо чем-то напоминало краба, неуклюже ползущего по скользкому паркету, домашнее животное, присутствие которого больше чувствуешь, чем видишь. Это нечто ворочалось, охая и постанывая: голова старого тапира с длинным носом и пучками торчащих бровей, складки ярко-рыжего, с вопиющими заплатами одеяния, отстегнутый крахмальный воротничок, словно сорванный ошейник, белел под желтым лицом. Ксендз буквально выполз из угла. Голова, находившаяся на уровне коленей капитана, представляла собой лепную маску, полную предельного ужаса; это уродство, размытое слезами, вызывало и сострадание и смущение.

— Встаньте, гражданин ксендз.

Ксендз явно удивился, поднял свое печальное лицо, вытер его платком, торчащим из сутаны.

— Вы хотели...

— Да. Хотел бы. Как ваша фамилия, гражданин?

— Снитко.— И, покивав головой, добавил: — И вы хотите со мной, в такой день... Ну да, понимаю...

— Вы, гражданин, являетесь здесь приходским священником?

Ксендз Снитко уткнул лицо в ладони, словно в намордник из худых пальцев, потрескавшихся от мытья и желтых от табака. В щелях между ними торчали только уши и пучки рыжих бровей.

— Пастырем... слугой божиим,— простонал он.— Как же я теперь оправдаюсь? Боже, смилуйся над нами. Как же я взгляну теперь на это распятие?

Оправдаюсь? Перед кем? В первую минуту капитан подумал, что ксендз имеет в виду его. Переход был слишком неожиданный. Ксендз уже стоял на подушке, склонив голову.

— Averte faciem tuam a peccatis meis et omnes culpas meas dele [1].— И снова бил себя в грудь, рабски согнувшись.

Капитану в этом виделось что-то шутовское.

— Прошу вас сесть и ответить на мои вопросы,— холодно сказал он.— Потом будете молиться и каяться в грехах.

Ксендз медленно поднял голову, глядя как-то отстраненно.

— Потом,— прошептал он.— Потом будет поздно...

— И теперь уже поздно. Вы были свидетелем того, что здесь происходило?

— А... кто вы?

— Вы не знаете? — насторожился капитан.— Надо было сразу спросить.— И он подался вперед.— Из госбезопасности. Особый отряд.

Ксендз опустил голову.

— Не знаю. Не понимаю...

И вдруг, охваченный неожиданным смятением, вновь оказался напротив капитана, только почему-то удивительно низко. Ну прямо как на коленях.

---

[1] Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои (лат.).

— Я их исповедовал,— лихорадочно шептал он, обдавая капитана своим дыханием, кислым, как дух винного подвала.— Они пришли сюда ко мне, смилуйся над ними, Иисусе, после всего этого, люди, обагренные кровью, пришли ко мне ночью и потребовали святой исповеди... Господи, ты единственный прорицал мою душу!.. Потребовали исповеди... и я их исповедовал.— Он вцепился в сложенные на коленях руки капитана.— Обагренные кровью, пахнущие убийством и пожаром втолкнули меня в исповедальню, и мне пришлось слушать эту литанию преступления...

— Ну и здорово! — буркнул капитан.

Ксендз наступал на него; в его глазах, воспаленных, с прожилками от слез, таилось безумие.

— Я исповедовал убийц... я не мог этого не сделать. Но,— добавил он со стоном, точно бросал тяжкое обвинение,— я не дал им отпущения...

Капитан напряженно вглядывался в него своими ярко-голубыми глазами. Он не моргнул, не отвел взгляда, только подался вперед, сосредоточенный, словно целиком захваченный тем, что говорит стоящий перед ним человек. Казалось, оба следят за чем-то неуловимым, и то, что сейчас разыгрывается между ними, между их скрестившимися взглядами, захватило их в равной степени, и поглощены они этим одинаково горячо, хотя совершенно по-разному.

— Не дали им отпущения грехов,— перенял капитан замирающий шепот ксендза, и трудно было понять, разочарование в нем или недоверие.— И не побоялись?

— Я не мог, именем господним не в состоянии был...

— Ну да? — удивился капитан; его голубые, холодно горящие глаза впитывали в себя бегающий взгляд ксендза.

Тот снова встрепенулся под этим взглядом. Теперь капитан видел тень огорчения, искреннего стыда и страха, который возвращался к нему, словно приступ лихорадки. Ксендз заморгал и придвинулся поближе. Это был явно непроизвольный порыв откровенности.

— Вправе ли я взять на себя такую ответственность? Я же беру на себя власть решать — быть ли им спасенными. Вооруженный только этой епитрахилью и этим каноном об исповеди. «Все, кому грехи отпущаеши, да прощены будут...»

Во взгляде капитана мелькнула тень раздражения.

Он приглушил его. Какая-то новая мысль завладела его вниманием и подтолкнула ближе к этому уродливому и гротескному созданию, согнувшемуся под тяжестью выпавшей на его долю столь необычной власти.

— Я отказал им... едва сознавая, какое бремя взял на себя...

Ксендз Снитко искал поддержки. Этот капитан в брезентовых сапогах был первым человеком, который явился сюда, и он должен был ему открыться.

— Я позволил им уйти,— прошептал он дребезжащим от отчаяния голосом.— С этим смертельным, несмытым грехом. А теперь... каждый из них может погибнуть и будет обречен на вечные муки.

И он вновь лихорадочно вцепился в капитанский мундир.

— Они знали об этом! Это была последняя возможность. Я мог их еще спасти. Но не дал им такой возможности. Теперь я трепещу, что они погибнут нераскаянные...

Капитан дернулся. Со стороны могло казаться, что он следит за ходом мыслей ксендза, пытается понять их. Но он не собирался его понимать. Он хотел знать совсем другое.

— Так, значит, вы скорбите о спасении тех, кто еще жив? Скорбите, что если они погибнут теперь, без отпущения грехов, то ваша в том будет вина? А те, которые погибли, убитые ни за что, в ночи, руками ваших исповедуемых?.. Тем-то вы тоже не дали отпущения... и не благословили...— Он прикрыл на минуту веки, словно подыскивая какое-то другое слово.— Ну да. Это же не ваши верные прихожане. Они же не подходили под благословение.

Ксендз Снитко отпрянул.

— Не подходили,— повторил он и добавил с лихорадочным оживлением: — Я молился за них. Все время за них молюсь.— И он опять сник.— Они уже перед судом божьим. Моя власть туда не простирается. Я молюсь — вот и все.

— Ну а те, которые еще здесь, виновные в этой крови... Этим вы можете помочь? — быстро спросил капитан.— Пока они живы, с них грехи могут быть сняты?.. Так у вас получается?

Ксендз сложил руки и опустил голову. На тусклой тонзуре среди ржавых волос блестели капельки пота.

— Так вот, святой отец. Эти люди, виновные в пролитой крови, в убийстве, понесут наказание. Сегодня или в самые ближайшие дни их вздернут на суку. Именем народного революционного закона, который грехов не прощает.

Ксендз Снитко передернулся, но не поднял глаз, только губы его что-то беззвучно бормотали, а сплетенные пальцы похрустывали в суставах. Капитан Пашковский говорил тихо, но отчетливо, тоном, лишенным всякой угрозы:

— Вы их знаете. Это были люди из этой же деревни, ваши прихожане. Я говорю не о бандитах Гетмана — этих мы догоним и поймаем. Я говорю о здешних людях, которые запятнаны той же кровью. Вы им не дали отпущения грехов, но вы знаете, что их ожидает.

Подавленный человечек в потертой сутане опускал все ниже и ниже растрепанную голову.

— Вы знаете, зачем мы сюда пришли,— продолжал капитан, и в глазах его вспыхнули искорки напряженного ожидания.— Эти люди находятся здесь. И это их последние минуты.— Он придвинулся к нему вместе с табуретом и протянул руку, как врач к больному.— Кто они?

Ксендз отпрянул. В собачьих его глазах мелькнули ужас и безысходная удрученность.

— О несчастные! — простонал он.— О я несчастный!

— Вы огорчены, что не отпустили им грехи, обрекая на вечные муки. Вот-вот,— уловил он движение головы ксендза.— А у меня другие огорчения. Мы здесь для того, чтобы защитить людей, которых за то и убивают, что они хотят быть людьми, за то, что хотят сами освободить себя.

Ксендз смотрел на него непонимающим взглядом. Как будто бы он был где-то далеко, окруженный своими видениями.

— Вы знаете, кто... виновен в смерти Ренкаса, Лосюка, Кайтоха, Курылы...

Липинский пастырь воздел обе руки и держал их, растопыренные, на высоте головы.

Капитан, подавшись вперед, прикрыл глаза и спросил отчетливо, но уже усталым голосом:

— Так кто же это был?

Ксендз словно не понимал вопроса.

— Послушайте,— простонал он.— Это же таинство... исповеди.

— Нет, вы поймите меня. Я ведь только хочу облегчить вашу совесть. После того, что вы мне здесь рассказали...

— Нет... нет...

— Их сегодня же поставят к стенке. Если вы скажете, кто это, обещаю, что перед смертью вы сможете отпустить им грехи. Хотите, чтобы они ушли, не примирившись с богом? Хотите взять это на свою совесть?

Ксендз соскользнул и снова очутился где-то внизу, у ног офицера, он перекрестился и припал к скамеечке:

— Si iniquitates observaveris Domine, Domine, quis sustinebit? [1]

Капитан терпеливо ждал. Вынул сигарету и закурил. Он был за работой. До чего же он устал.

— Значит, берете это на себя? Эту упущенную возможность? — спросил он, когда ксендз обратил к нему потухшие глаза.— А ведь мы оба осудили их. Ну что ж. Дело ваше. Только вы, гражданин ксендз, будете обвинены в связях с бандитами. Впредь до разрешения не покидать этот дом.— Ага, вот еще что,— сказал он, уже возвращаясь от двери.— Родственники убитых настаивают на обряде. После обеда похороны. Приготовьтесь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Допрос длился уже два часа. Майор Гжибовский сидел на ящике за обгорелым письменным столом, обмякнув, пыхтя, ослабив ремень и расстегнув крючки. Донимала эта гарь, притаившаяся во всех углах обугленного помещения, он обильно потел, будто его обдавало сгустившимся снаружи зноем, который проникал сюда через оконные проемы. Он морщился и часто мигал, изредка задавая вопросы, хмуро и раздраженно всматриваясь в сменяющиеся перед ним лица. Пашковский и капитан Вицек сидели по сторонам от него, причем основную тяжесть допроса взял на себя капитан госбезопасности, и он-то, несмотря на усердие, с которым выполнял свои

[1] Если ты, господи, будешь замечать беззакония, господи, кто устоит? (лат.)

обязанности, немного раздражал майора. Мужиков вводили поодиночке, кого только удавалось поймать. Майор Гжибовский был против того, чтобы допрашивать женщин, а также родственников убитых, разве что вызовутся сами. Вводили их через коридор. Лапот следил за очередностью. Чтобы попасть в комнату, где еще до вчерашнего дня находился милицейский участок, свидетели и подозреваемые должны были пройти из развороченного коридора в закопченное караульное помещение. Мусор убрали, но кровь на полу снова проступила сквозь свежий песок, и на нем отчетливо виднелись пятна. Люди испуганно застывали на пороге, боясь наступить на эти следы убийства, точно на живое человеческое тело, неловко обходили их, прижимаясь к стене, путаясь и теряя уверенность с самого начала. Майор наблюдал за их поведением, и сцена, которая повторялась каждый раз, еще до того, как им зададут те же самые вопросы, казалась ему самым существенным из всего, что здесь происходило. Показания были скупы, замкнувшиеся и явно запуганные мужики твердили одно и то же: ничего не видели, Гетман нагрянул внезапно, напал на гмину и милицейский участок, а они спрятались от стрельбы и следили лишь за тем, чтобы не загорелась их хата. Некоторые утверждали, что их согнали насильно, заставили присутствовать при казни, другие отрицали это, хотя, что касается этого пункта, тут показания одних уличали других. «Ночь была, когда нас пригнали сюда, к костелу,— бормотал старший Стец, Иероним, не отрывая глаз от пятен на полу.— Одно только и видел, что огонь полыхает. Согнали баб в одних рубашках, ревут, голосят, разве мог я запомнить, кто был, кого не было... И неуверенно добавил: — Сдается мне, что хватали кого попало».

Сбоку за столом, спиной к свету, на фоне закопченных следов от пуль, под разорванным плакатом с Жимерским и Берутом сидел Костек Курыло. Час назад майор послал за ним, считая, что, может, лучше, если он будет присутствовать на очной ставке, поскольку знает этих людей. Теперь-то он сомневался, удачна ли его идея. Люди узнавали Курылу, это он видел по их взглядам, которые они бросали украдкой, иногда растерянным, иногда удивленным, а чаще всего полным настороженности, от которой люди замыкались. Сам факт присутствия Курылы на допросе они, видимо, воспринимали как допол-

нительную связь между собой и тем, что произошло. Это уже не чужие их допрашивали. Костек выглядел как после тяжелого перепоя: лицо опухло, огрубело, черты расплылись, большие руки тряслись, когда он пытался дотронуться до чего-нибудь или закурить, а глаза были красные. Потом уже он оправился и застыл неподвижно, ожесточенно, так что никто из посторонних ничего бы не заметил, если бы не эти красные, как у кролика, глаза. Майор все меньше был уверен в том, что присутствие сержанта поможет при очной ставке, но Пашковский настаивал, говорил, необходимо использовать все «козыри» (так и сказал: «козыри») — все, что их собьет, разоблачит, помешает лгать. Это верно, присутствие Костека, сидевшего за столом вместе с офицерами, производило впечатление, но результат давало обратный — смотрели на него со страхом, а иногда и с сочувствием, после чего еще больше замыкались в упорном молчании. Метод Пашковского был прост, и поди знай — в глубине души он и сам это сознавал,— не слишком ли прост для этой почвы, обильно поросшей старыми и новыми обидами, где переплелись многие одновременно и противоположно действующие силы. И все же он не видел другого выхода, как разделить и противопоставить друг другу тех, которых он хотел объединить. Алоиза Януса привели, хотя он прикинулся больным. От него шибало денатуратом, которым растерла его баба, не давая встать из-под нагретых перин. Пот стекал с него крупными каплями. «Да уж в самый раз тебе бы заболеть, а еще лучше напиться,— подумал капитан,— только бы не отвечать».

— Где ваш сын? — спрашивал он, глядя на эту разыгрываемую с примитивной хитростью комедию.— Давно его дома нет?

— Не знаю, пан офицер. Еще при немцах пошел в лес и доселе не вернулся. Сам не знаю, жив ли парень. Столько уже вернулось...

— Ой ли, говори лучше правду. Чего дурня валяешь? Ведь видели его в деревне в этом году... Сколько раз?

— Не может этого быть, пан капитан.

— Видели. Приходил к вам по ночам отлеживаться под периной. Когда их прижимали.

— Ни разу не был. Уж я, отец, разве не знал бы?

— Ты мне только не ври! Он еще в сорок пятом вер-

нулся, я знаю, папаша. А потом снова ушел в лес, с бандой... против нас.

Мужик держался упорно.

— Ничего не ведаю, нет, нет. Не видал парня. И не знаю, жив ли. Сколько их не воротилось.

— Товарищ майор,— обратился капитан к Гжибовскому холодным, бесстрастным голосом человека, который знает все, глядя уже не на Януса, а поверх его головы.— У меня есть свидетели, что его сын в лесу. Приходил сюда не раз ночевать. При появлении милиции отправлял сыночка обратно в банду. А потом дураком прикидывался, смеялся прямо в глаза...

Майор со спичкой в зубах покивал головой. И снова к мужику:

— Спрашиваю последний раз: где сын?

— Не знаю...

— Запишите: в банде. В сторону его.

Костек встретил взгляд Януса. Алоиз молчал, только пот стекал по его блестевшему лицу все обильнее, будто сок, выжимаемый через дуршлаг.

Теперь вошел Винцентий Стоберский, сосед Ренкаса, тот, что живет по дороге на Жечицу. Вопросы были те же.

— Где сын?

— А я знаю?.. Никаких вестей от него не было. Год уже прошел, как его видели.

— Здесь его видели много раз, в деревне. Приходил по ночам.

— Раз был, в самом начале, когда фронт прошел и немцы ушли. А потом уехал. Может, боялся, что его затаскают. Такое теперь время...

— У нас есть свидетели. Бывал здесь, отсиживался и других тянул в банду. Подбивал, чтобы шли в лес.

— Нет. Не видел я его.

— Милиция за ним приезжала из повята. Убежал и других увел за собой.

— Ничего не знаю.

— Запишите: сын в банде. В сторону его.

И они отходили молча, неколебимые, окидывая Костека настороженными взглядами. В их глазах под покровом страха таились угроза и скрытый вопрос: «Мало тебе, Костек, всего этого? Ведь твоего отца, отца родного только что... Доигрались. И тебе все еще мало?» Ку-

рыло читал эти взгляды, несмотря на глухую боль в голове и отупение, которое, как самогон, парализовало мысли.

Больше всех был напуган Шимуля, один из «голодранцев», живущих у реки. Он дрожал в своей жилетке и льняной рубахе, из которой торчали его большие, перепачканные дегтем руки. Загорелое, вымазанное сажей лицо таило в себе настороженность спугнутого лисенка; он вертел в руках поношенную военную пилотку, наверно оставшуюся у него еще с сентября 1939 года, а голова у него была какая-то линялая, покрытая бесцветным пухом. То и дело он облизывал губы и не мог спокойно стоять перед этим судилищем на пепелище, хотя отвечал охотно, по-военному, правда с большим трудом склеивая фразы.

— Присутствовали при казни? — терпеливо расспрашивал капитан Пашковский.

— Был.

— Все были?

— Откуда мне знать. В потемках не разберешь. К нам пришли, не дали огонь гасить, мы уж ведра приготовили, так нас прикладами вытолкали и велели на площадь идти.

— Что же вы там видели?

— Да этих... Щепана Курылу, Лосюка и ребят из милиции...

— При вас их замучили?

— Поначалу велели всем, и бабам и мужикам, поносить их. Некоторые так и делали, для отвода глаз, велели...

— А что велели?

— Ну, велели плевать на них, грозить и кричать, извиняйте, «сучьи дети», «большевики»...

— И все это по принуждению делали или добровольно?

— По принуждению.

— А не было таких, которые сами делали, без принуждения... от чистого сердца?

— Откуда мне знать. Только кто бы так смог? Ведь те едва на ногах держались. Веревки им накинули на шею, как скотине. А мучили их еще чуть раньше.

— Кто был при этом на площади?

— Не помню я.

— Янус был? Стоберский был?

— Да вроде как были...

— А Пайда, Дзида, Прокопюк?

— Да вроде как были. Почти вся деревня.

— А ксендз Снитко?

— Нет. Ксендза не было.

— Кто принимал участие в убийстве? Был кто из знакомых в банде? Кто-нибудь из местных, деревенских?

— Не видел. Моя в это время сомлела. Беременная она, а на такое смотреть пришлось.

— Но ведь у них была связь с местными. Люди Гетмана не чужие здесь. Многие из здешних сидели в лесу. И доносили им, кто в милиции, кто народную власть поддерживает...

— Да что вы, народ у нас теперь раскололся. Один при другом и слова не вякнет...

— Однако некоторые узнавали, что им приговоры вынесены, что грозят им. Значит, кто-то доносил Гетману, кто что делает в деревне?

Шимуля все беспокойнее вертел в руках пилотку.

— Будто он сам не бывал в деревне! Сколько раз! С весны почитай каждую ночь — раз войско, а раз «лесные». Попеременно. Что тут от него укроется? Если от Хуциск шли, лесник Маштеляж давал знать. Всегда у него укрывались. Даст знать, что идут, и тогда милиция, и Лосюк, и старый Курыло загодя убегали. Тут уж каждый должен был о своей голове думать...

Майор Гжибовский слушал, жевал спичку и смотрел исподлобья на эту галерею запуганных людей. Горький вкус желчи подступал к горлу. Он знал, что его отряду придется уйти отсюда еще сегодня, еще до сумерек. К чему весь этот суд, если им надо мчаться дальше и некого оставить здесь? Никто не поможет этим людям, если они не помогут себе сами. Этих безнаказанно убили здесь только потому, что они были слабее, одни, в изоляции.

Усатый Рахонь, покашливающий и худой, как тычина для хмеля, повторил еще раз то, что Пашковский уже знал.

— А почему на этот раз их никто не предупредил? Значит, тем, из банды, донесли, какая обстановка в деревне. Иначе не нагрянули бы еще до ночи, если бы не были уверены и если бы с ними не действовали заодно

местные, из Липин. Ведь они уже две недели уходили от облавы. А здесь чувствовали себя надежно, имели своих информаторов. Кто из местных помогал им? Говорите правду и не пытайтесь никого выгораживать.

— Вы знаете столько же, сколько и я,— повторял мужик, втягивая впалые щеки и шевеля усами, как жук.— Скажу я, скажут обо мне...

— А ты за кого? — наступал капитан.

— Я человек простой, здешний бедняк. Что я могу понять? Тут такое творится, что в голове не умещается. Я за справедливость, но у меня жена, дети. Мне ведь здесь жить. Кабы я мог отсюда убежать, так на край света сбежал бы. Но я здесь родился. И немцев пережил, и УПА...

— Если уж ты за справедливость, то смотри! — Пашковский вскочил и протянул руку.— Кто эту кровь пролил? Ты стоишь на ней, ты видел, как ее проливали...

Он успокоился и, словно рассердившись на себя за то, что вспылил, взглянул на майора, на капитана Вицека, на Курылу, потом вновь заговорил бесцветным, несколько усталым голосом:

— Вы знали этих людей. Это были ваши, такие же, как вы. За вас их замучили. Во имя этой крови спрашиваю: кто из деревенских принимал в этом участие? Ведь были такие. Мы знаем, что были.

Мужик молчал. Смотрел на пятно, слепившее песок, и шевелил ощетинившимися усами. Потом взглянул на сидящего под разорванным плакатом Костека, но не выдержал его покрасневших глаз. Даже сглотнул.

— Понятно, что были,— пробормотал он.— Только не знаю кто.

Бенедикт Качмарчик, в просторечии Бендик, которого Костек помнил, будто только вчера видел, большой краснобай и резонер, выкладывал все с готовностью, непрерывным потоком. Этого по крайней мере не надо было тянуть за язык, тараторил, как баба; готов был так токовать перед любым слушателем. Допрос он расценил как подходящий случай и почет.

— Что я буду у товарищей время отнимать... Костек меня знает, и я его знаю с малых лет. Старый Щепан Курыло, упокой, господи, его душу, кумом мне был, когда мы нашу Хельку крестили, так что мы, можно ска-

вать, в родстве. Гнаться за ними надо, они не могли далеко уйти... Ты ж теперь военный, Костек, сам знаешь. За такие преступления — никакой пощады. У вас машины, товарищи, их часы сочтены. Далеко не убегут. Я бы — если хотите послушать глупого мужика,— я бы теперь все это отложил и только бы гнался за ними... Что? Ну да, похоронить надо. Столько людей, молодых, настоящих людей все еще гибнет. Мало мы натерпелись при немцах, так еще брат на брата. Хотя разве можно назвать братом такого, который... Что, что? Ближе к делу? Ну да, вот я и думаю своим глупым разумом, что мы здесь, прошу прощения, как бы между молотом и наковальней, то одни приходят и кричат: «Ведь ты ж поляк, а польскому войску не помогаешь», а потом, глядишь, такие они поляки, как, прошу прощения... Нет, я дурака не валяю, что вы, что вы! Только вы, господа товарищи, не знаете, что у нас здесь было, какие здесь бои шли при немцах. Ты, Курыло, был здесь, знаешь. Чистый штаб — в одном конце деревни «лондонские» обучаются, только и слышишь: «На позициях под Тобруком» и «Эй, в штыки, ребята», в другом НСЗ: «Все, что наше, Польше отдадим», а в лесной сторожке Армия Людова: «Мы из сожженных деревень» или «Застрочит пулемет, полетит самолет...». Как немцы явятся, они в лес, а потом друг на друга: кто немцев привел? В сорок третьем и сорок четвертом тут такая война шла!.. Чудом деревня уцелела. Его вот, Костека, звали Виток, потому что он только бомбы мастерил, которые под рельсы подкладывали, или в наушники слушал. Не молоть? Слушаюсь, только все чистая правда, что я говорю. Ну да, было да сплыло... Слушаюсь, все, что знаю... Были ли? Может, и были. Война вроде кончилась, а некоторые так и не перестали воевать. Бобжицкий и Лосюк пробовали их поймать, амнистия, говорили, но никто не верил. Только по вечерам, как свежий хлеб затевали и дым из хат шел, то люди говорили: ого, сегодня будут ночевать у Януса и у Пайды, изголодались в лесу, придут подкормиться. А как милиционеры нагрянут — так поцелуй пробой!.. И нахально отпирались. Только один другому грозил. Хоть бы тот же Кайтох и Пачесняк, которых так изувечили... Стали они было похаживать возле некоторых девушек, а те им этак через губу: «Ты гляди, вот вернется мой парень, он с тобой поговорит». Здесь последние дни все чего-то

ждали. Сидели, запершись по хатам, один к другому и носа не совал, только слушали, в каком направлении стрельба перемещается. Я и говорю властям — Лосюку, значит, и твоему отцу, Костек: «Вы, товарищ, и вы, кум, смекайте: что-то неладно». А они мне свысока этак: «Ты, Бендик, пропаганду тут не разводи, это госбезопасность и армия облаву делают, наши товарищи нащупали Гетмана, это его последние часы, скоро разобьют, как десять дней тому назад разбили Войтюка и уповцев». Не много времени прошло, как слышу: та-та-та... С трех сторон обошли — от Жечицы, прямо к усадьбе Курылы, от сторожки Маштеляжа, по дороге из Хуциск, и со стороны Ленга,— прокрались в самый центр села, к гмине. Светло еще было, солнце над поляной стояло, над песками, мне хорошо было слышно, как кони пырскали... Стою это я, значит, за хлевушком, со стороны поля, потому как все пуще катавасия. Вижу еще, молодой Кайтох бежит от Лосюка, но уже петляет, потому как те его обходят. Потом Анеля прибежала, вся зареванная, причитает: «Господи, отца взяли!» Потащили его по дороге, на площадь, к костелу. А те в участке заперлись, и началась тут настоящая осада. С полчаса дело шло, тра-та-та и бум-бум!.. Такой обстрел: и из пулемета, и гранаты — подумать можно, что целый полк обороняется. Стемнело уже, когда вижу — огонь над гминой. Через окна паклю туда бросали, фонари конюшенные. А потом такие крики, что у меня мороз по коже. И уже Лосюкова усадьба, и твоя, Костусь, и Ренкасов возле леса — все в огне, что твоя свечка. Те, из банды, ходили от хаты к хате и поджигали. Я уж думал, вся деревня сгорит. Смотрю, люди во дворе с ведерками, скотина ревет, сам уж не знаю, что делается, а тут мне говорят, что Прокопюки тоже крышу поливают. И они, значит, боятся. Около десяти вся деревня в огне. А там только рев на площади и бабы голосят. Тут пришли и ко мне, в «пантерках», в накидках таких, думаю, конец, а они велят идти на площадь, автоматами подтыкают, приказ коменданта, говорят, суд над коммунистами будет, ступайте на казнь. Пойду, говорю, куда угодно, только бы хату не спалили. Темно было, один пожар вокруг полыхает. Я уж думал, что и костел, а это колоколенка разбитая, и сквозь нее пламень просвечивает. Когда подошел — одних только баб зареванных видел. Что там с ними делали, вы теперь знаете, то-

варищи. Этого даже сказать невозможно. Волокли их посередке, между народом, а всем велели поносить. Ад, в смысле так сказать, пан капитан, просто ад, будто все с ума посходили, будто злой дух их обуял, этакая вроде психическая истерика... Нет, гражданин майор, чтобы наши, липинские, помогали, этого я не видел. Этого я не могу сказать. Ну да, я же говорил. Некоторые вначале кричали, что это все из-за них, доигрались, дескать. Но ведь вы знаете, что люди в таком состоянии могут наговорить. А потом уж от страха языка лишились... Ну были, э-э-э... к примеру. Ну, Дзида, плевал на них и грозил, но видно было, что он с испугу не в своем уме. Хватит? Что, что? Стало быть, могу идти? Слушаюсь! Если вам нужен будет живой свидетель, то я еще многое могу рассказать. Ты, Костек, прости, в такой уж час мы с тобой встретились...

Они смотрели друг на друга с какой-то обидой и упреком, майор жевал спичку, сутулый, с той же самой морщиной между бровями, что и час назад, избегая чьих-либо взглядов. Только украдкой покосился на Костека, крутя спичку языком, потом буркнул:

— Ну, кто там еще?

Вошел старый Пайда, отец Регины, подталкиваемый Лапотом. Лицо недоброе, бледное, застывшее от ненависти. Так же как и все, обошел стороной пятна, проступившие на песке, демонстративно поддерживая перевязанную руку, чтобы все видели. При виде Курылы глаза его на миг тревожно вспыхнули, но всего лишь на долю секунды. Потом он вообще его не замечал.

— Пайда Владислав,— процедил капитан Пашковский. Мельком взглянул на Костека, будто призывая его в свидетели, но тот смотрел куда-то перед собой красными фарфоровыми глазами. В горле у него при каждом вздохе булькало.— Ваш сын в лесу?

Молчание.

— Отвечайте! Ваш сын, как его там? Зенон... В банде?..

Пайда медленно и глухо сказал:

— Не знаю, где мой сын. Будь он дома, так, может, защитил бы отца.

— Ах так? А от чего ему надо вас защищать?

Старик вперил в капитана свои совиные глаза. Выждал.

— Вы еще спрашиваете, гражданин капитан? А вот от этого.— И он коснулся перевязанной ладони.— Ваши люди перебили мне руку за то, что я не дал им грабить.

— Товарищ майор! — крикнул с порога капрал Лапот.— Разрешите доложить, это тот еще гусь. Досок на гробы пожалел. С кулаками на польский мундир полез...

Капитан махнул ему, чтобы он умолк, и обменялся взглядом с майором. На лице командира, кажется, впервые появился нескрываемый гнев.

— Так вы считаете, что с вами поступили несправедливо? — Майор сгорбился, подался вперед, мышцы возле рта начали подергиваться от нервного тика.— Хорошо, придет время — разберемся. А теперь отвечайте на вопросы. Вы убили людей, которые представляли здесь народную власть, лучших людей из вашей деревни. Вам другая власть была нужна — Гетмана и его бандитов. Все еще не расстанетесь с этой мыслью? Думали, что у нас руки коротки, что они верх взяли. Ну и просчитались. И вы, и ваш парень...

— Ошибаетесь, пан майор,— ответил Пайда, не поднимая глаз.— Не я начинал, и не мне отвечать за это. Кто сеет... тот пожнет бурю. Я, пан майор, тихий землероб, не в моей власти все это изменить. Все знали, что здесь творится. Когда дерутся двое сильных, мужик только успевай голову пригнуть, чтобы по шее не перепало. Я к этому руки не прикладывал.

— Нет? Только сына послали в лес, чтобы стрелял в братьев.

— В лес он пошел вместе со всеми, как честный поляк, защищать родину. Ваши тоже были в лесу...

— Но давно уже из него вышли. И добили немцев в Берлине.

— А моего кто заставил вернуться в лес? Кто ему выйти не дал? Велели явиться с повинной, сдать оружие. И сразу же отвезли в Люблин. Кто здесь грозил винтовкой и тюрьмой пугал? Не Лосюк, не Курыло? Одни стали хорошие, а другие плохие.

Майор вдруг ударил кулаком по столу, так что оба, капитан Вицек и Пашковский, отпрянули.

— А ну заткнись!.. З-зараза, скот закоснелый, дерьмо у истории под ногами...

Он грузно поднялся и, застегивая ремень и пуговицы мундира, шаркая сапогами, двинулся на Пайду, который слегка побледнел, но не попятился, схватил мужика за руку, за здоровую, крутанул его как юлу и, напирая на него могучим животом, толкнул прямо туда, в лужу крови, напоминавшую вытекшее из-под автомашины масло; он даже яростно сопел, когда его тяжелая рука сжимала плечо Пайды, впиваясь в ключицу.

— На колени, зверюга, на колени перед этой кровью... Бобжицкий сражался в лесу, солдатом был, головой рисковал за вас, дошел до самого Берлина, да, солдатом был! Вернулся к вам, выполнял свой долг, а вы его здесь... на второй год после войны... На колени!

Пайда крепче уперся ногами в пол, и лицо его посинело.

— А вы, пан майор, встали бы на колени перед кровью моего сына? — выдавил он со свистом.

Командир выставил вперед челюсть, продираясь пальцем под воротничок. Только теперь он услышал шум, доносившийся со двора и из коридора; когда кричал сам, он не мог ничего уловить, тогда кровь ударяла в голову, громко стуча в висках. А ведь они могли уловить это раньше, ведь долетавшие со двора гул голосов и проклятия впервые нарушили тишину, звеневшую с утра в этой вымершей от молчания деревне. Шум нарастал уже несколько минут. Костек первым, словно его меньше всех касалось происходящее, повернул голову к окну; Пашковский замер, прислушиваясь к крикам, среди которых различал и голоса солдат. Только теперь до майора дошло, что там происходит что-то необычное.

— Лапот! Уведите его! — Тяжело ступая, он вернулся к столу, усталый, переполненный отвращением.— Пишите, что сын в банде. Лапот, что там, черт возьми, происходит?

Капрал доложил с порога:

— Люди негодование проявляют, товарищ майор.

Командир своеобычно скривил лицо, какое-то время смотрел на капрала, открыв рот и прищурив глаза, словно оценивая его умственные или физические способности; со стороны он казался этаким хитроватым тихоней. Капитан Вицек знал это выражение лица «старика», внешне простоватое, но скрывавшее глубокое раздумье.

— Хе? — крякнул майор.

— Какие будут приказания, товарищ майор? Иначе эту сволоту прикончат...

Капитан Вицек вскочил.

— Капрал Лапот! — начал он грозно.

«С ума они здесь все посходили! — И снова почувствовал противный вкус во рту и дрожание рук.— Поделом тебе, сам этого хотел, так получай, в двадцатом веке... Запорожская сечь...» Капрал, весь потный, шевелил губами, словно желая упредить слова капитана; свои обязанности он знал хорошо, но сейчас не сообразил, что надо делать. Он вытянулся, приготовившись ответить по уставу, и вдруг неожиданно перекрестился, разведя руками. Уж так это было необычно для этого человека.

Майор уже шел к двери.

— Голубок, да ты где находишься... в армии или в банде?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

...Ага, это твои дети, ты отец Регины и Зенека, вот такая встреча, теперь я понял, он всегда нас ненавидел, чуть поседел, но держится твердо, как всегда, одно, что на свету вроде как мохом серебрится... по отцу и дети, и уж как гордится своим Зенеком, даже скрыть не пытается, и не преклонит колени перед кровью моего бати, и теперь эта кровь нас навечно разделит, ах, как же плохо знаешь людей, даже если рос с ними с пеленок

— стало быть, ничто уже не значат ни надоедливый зуд кожи от сухого клевера, ни шуршание дурманящего сена и скрип телеги на выбоинах до того, как прозвучит этот крик и понукание коня, чтобы он вкатил ее через порог овина

— ни узкий гробик навоза, который гнедая кобылка вывозила в поле, ни та, будь она неладна, доска, торчащая из воза, на которую ты наткнулся, бредя колеей, потому что, погруженный в ребячьи мечтания, даже не слышал посвистывания Пайды над раскоряченной лошадью с задранным хвостом, ты потерял сознание от этого удара в живот, и тогда Пайда принес тебя на руках, а Регина всего облила горячими слезами, а уж лились они ручьем, зато Зенек еще долгие годы потом из-

девался — дескать, хотел заглянуть кобыле в нутро, та ведь была жеребая

— ни бумажные змеи, которые вместе клеили из красно-белой папиросной бумаги с разлапистым орлом и Коденской божьей матерью и с индейскими перьями на хвосте, запускали их, пока Зенек не обиделся, на песках, вот там на откосе; раз змей зацепился за что-то на костеле, и тогда он пробрался туда, а трухлявые доски под ним провалились, и он, повиснув рядом с колоколом, переполошил все Липины, Зенек вел себя как свинья, огарок церковный, в служках ходил, а уж как норовил латынью своей прихвастнуть: Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen Tuum... fiat voluntas Tua, sicut in coelo et in terra...[1] особенно когда раздувал кадило в ризнице, крутя металлическим горшочком на длинной цепи. Костек раз сунул туда пакли, хотя немного и завидовал ему, пусть и подсмеивался: «Маковка обритая, опилками набитая», в ответ на что слышал: «Костек под насестом стреляет задним местом», а он ему опять: «Ходит Зенек в звонарях, заработал на наряд», а тот ему: «Костек-хвостик, закорюка, даже мать кричит: ворюга!» Ух и налупцевались же тогда, Зенек был упрямый, но и Костек скорее бы убил, чем уступил

— и выходит, ничего не значат и те вечерние гулянки по воскресеньям, когда Зенек наигрывал на гармонике: «Вот и наше прощанье — завтра мы расстаемся, завтра мы расстаемся — и навсегда...», или что-нибудь повоинственнее: «Вперед — Полония, народ отважный», а чаще всего то, что так любила Регина: «Стах, вернись, я все прощу...»

— ни волосяные силки на зайцев, которые ставили вместе

— ни детеныш косули с его теплым дыханием и влажными ноздрями, выхоженный Маштеляжем

— ни шлепанье в закатанных штанцах по пурпурно-красной от заходящего солнца Гнилке, когда спину уже разламывало от долгих поисков раков, затаившихся под корягами, хитро застывших в радужной роговице воды

— ни тот страх, когда немцы въехали на своих мотоциклах, а они с Зенеком не хотели отвечать на их вопросы, за что и схлопотали по морде; тогда-то Зенек и шеп-

[1] Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли... **(лат.)**

нул ему об «организации», а потом они вместе принимали в лесу присягу на могилах солдат Клееберга[1]... ага, насчет этих могил и оружия, закопанного в сентябре тридцать девятого... об этом знал только отец Костека, он был при этом; пехотинцы пытались через пески прорваться в Жолыню, а немецкие танки, обойдя бездорожье, шли на Львов, все уже было окружено, последние горстки оставшихся в живых просачивались по глухим дорогам, из затерянных чащоб и укромных углов, думая только о том, как пробраться на Дуклинский перевал, спрятать мундир, спастись от плена; это было начало октября, отец куда-то пропал, пошел проводником с единственной лошадью и подводой; солдаты тащили с собой целый обоз, какое-то снаряжение, которое уже было ни к чему, а только связывало их в этом блуждании в никуда, наконец они застряли в лесах под Жолыней, в лесничестве поместья Бонча; вокруг двигались автоколонны, первые дожди и слякоть вздули спекшуюся землю; их было семеро, как рассказывал отец, однажды днем в той туманной тишине, когда уже ни один выстрел нигде не грохнул, в этой тишине, прерываемой только гулом моторов, молоденький офицерик распустил их: «Я не могу вас, ребята, освободить от присяги,— сказал он ломающимся писклявым голосом,— но и приказов от меня не ждите, война еще не кончилась и не кончится, пока хоть одна прусская лапа будет топтать польскую землю; с этой минуты пусть ваша совесть сама подскажет вам, что делать». Они сгружали с подвод картонные ящики с боеприпасами и укладывали во влажный песок винтовки, блестевшие от смазки, целуя оксидированные затворы и новенькие желтые ремни; у поручика задрожали губы, когда он отстегивал револьвер с кобурой, солдаты своими заскорузлыми пальцами вылавливали что-то у себя в уголках глаз, утирали усы, бросая оружие на подстилку, где отец завертывал каждую винтовку в солому и промасленную бумагу; бросали винтовки, как будто отрывая от себя, как повстанцы в восемьсот тридцать первом и в восемьсот шестьдесят третьем году[2], как еще до этого конфедераты, как солдаты Костюшко

[1] Ф. Клееберг (1888—1942) — польский генерал, участник сентябрьской кампании 1939 года.

[2] Национально-освободительные восстания в Польше в 1831 и 1863 годах.

и Домбровского бросали это оружие, будто озимое зерно, твердо веря, что весной соберут урожай. «...на тебя оставляем это,— сказал поручик, словно прощаясь с жизнью,— береги это, как свой надел, чтобы врагу оно не досталось, и пусть к этому оружию протянутся руки только тех, кто направит его против немецких захватчиков, поклянись же, что никто другой его не получит...» Отец поклялся, утаптывая разрытую землю и прикрывая ее можжевельником, а солдаты в длинных шинелях отдавали честь и расходились, ссутулившись, словно по своим новым хозяйским делам, отец один остался, а на обратном пути, тайком возвращаясь в Липины, метрах в пятидесяти от дороги сделал вроде кладбища, семь березовых крестов с солдатскими касками на них; когда отец рассказывал Костеку об этом в неспокойную весну сорок второго, это звучало как легенда о спящих рыцарях, а люди тогда жадные были до легенд и всякие предсказания ходили среди них, даже тот Турок, который напоит коней в Висле, казался таким же значительным, как Тобрук, Ржев или Можайское шоссе; только не время было вспоминать — новые призраки бродили по лесам, призраки евреев, бежавших из лагеря под Красником, и тени тех, кто начинал расхаживать под кличками, выразительными, как колдовские заговоры в стародавние времена, когда действительность переплеталась с небылицами; здесь этих действительностей было несколько, они раздваивались по ночам, а днем обманывали, как мираж; «официальные» известия о баншутцах [1] и тройхендерах [2], крайсгауптманах [3] и безугшайнах [4], контингентах [5] и отправках на работу в рейх перемешивались с действительностью слухов, сообщений, почерпнутых из «надежных газеток» и неподтверженных новостей по радио; картина окружающего мира, как будто устоявшаяся, в любой миг могла расколоться, как зеркало, от внезапного выстрела, и неизвестно было, что на самом деле, а что только вроде бы, потому что обе эти области жизни взаимно исключали одна другую

— а он тогда верил Зенеку, потому что было это свя-

---

[1] Железнодорожная полиция (нем.).
[2] Чиновник оккупационной администрации (нем.).
[3] Районный комиссар полиции (нем.).
[4] Продовольственные карточки (нем.).
[5] Принудительные поставки (нем.).

зано с Орлом[1] и Службой, дела официальные и «государственные», хотя государство уже не существовало, а все недавнее прошлое было еще свежо в памяти, как место, в котором жили до вчерашнего дня, и у него было такое чувство, будто не было разрыва во времени, а просто путешествие в другую местность, словно он уехал из прежней действительности в другую реальность, хорошо помня место вчерашнего пребывания, причем это было так необычно — ведь сам же он не стронулся ни на шаг, а только окружающий его мир как будто все отдалялся, изменяя свой облик; пока что эти перемены мало касались Липин, и только там, за полосой лесов, в повяте или на станции, можно было встретиться с новой, немецкой «губернией», незнакомым языком и чужими мундирами, враждебной машиной узаконений и учреждений, иной властью и новыми формами подчинения — и вот так, все еще тяготея к прежнему порядку вещей, он все, что имело связь с Польшей, считал и своим и чужим: своим — поскольку этого уже не было, а он хотел в этом участвовать, и чужим — поскольку оно от него не зависело и было связано с внешними силами, управлялось где-то там другими, просто он еще чувствовал себя подвластным, а это были дела, которые по-прежнему, как он считал, кто-то там решает, и ему казалось, что Зенек ближе к ним, он всегда был ближе, он ведь и ксендзу уже служил, к чему-то принадлежал; вот Костек и тянулся к Зенеку, который казался ему посредником между миром высших проблем и ограниченным крестьянским бытием, где все проблемы — еда да дрова, одна забота — как продержаться в морозы, одна задача — как бы уберечься, как перебиться; и потому он верил Зенеку и послушно шел за ним, вверив свою независимость многозначительным намекам товарища; тогда все отдавало чем-то фантастическим, все напоминало «страсти-мордасти» и «детские ужасы»; и это Зенек привел его ночью, в безлунном мраке, на могилу клеeберговцев, собачьим лаем пульсировал невидимый горизонт, и эти отголоски сопровождали их за пределы, разрешенные после наступления темноты; там, на этой могиле, он увидел одного человека из Бончи и нескольких таких же, как и он сам, которых он разглядел в темноте; и вот

---

[1] Государственный герб Польши.

там, под березовым крестом, привел их к присяге тот незнакомец; хлопали крыльями разбуженные птицы, и шуршал крот, прорывающийся в хвое, а за кольцом сырой ночи таился мир, который им предстояло завоевать

— так значит, и это сегодня уже не в счет, потому что, когда прямые дороги начали раздваиваться, когда слова и дела перестали означать одно и то же, все труднее было отыскать единственное и главное в обманчивом хитросплетении взаимных трений, всевозможных запретов и навязанных сверху резонов, из которых постепенно вырисовывалось все то, что, по его мнению, при ярком свете безоблачных сентябрьских дней отчаяния навсегда сделалось несущественным и изжитым, хотя в польской истории было наиболее отвратительной полосой; когда он уже не очень мог отыскать смысл того, что содержалось в пронзительных и возвышенных словах геройской присяги, когда все больше познавал унижения, потому что в этом подпольном мире его вновь толкали вниз, для лакейского рода услуг, имевших мало общего с достоинством и ореолом рыцаря ночи, начиная с реквизиций и порки в назидание и кончая ночными дежурствами под окнами пьяных усадеб, начиная со стрельбы и насилий на свадьбах и кончая конфискацией забитых свиней; и когда он выполнял эти дурацкие поручения и доставлял по приказу командира крестьянское мясо, или муку с мельницы, или в лучшем случае немецкий шнапс, идущий для распределения по талонам,— сопляк, горланящий песни и обалделый от самогона, лапающий девок на явочных квартирах и в надежных усадьбах, умел только торчать на посту у крыльца да козырять блюющим унтерам («Ты пойми, армии нужны кадровые офицеры и унтер-офицеры»), вот он и тянулся, ел их глазами и выполнял эти зачуханные команды, все больше теряя доверие к их геройству, потому что операции были некрупные, хотя вроде бы и необходимые, а развалившись за столом, искал утешения в сентиментальных песнях и шутовских выходках, в словах-фетишах, в косноязычии непонятных подпольных кличек, в культе металлических игрушек, от которых он балдел — ведь уже одно обладанье оружием делало тебя сверхчеловеком — вот так и валялись на перинах в расхристанной рубахе, глушили сивуху банками из-под горчицы, жрали топленое сало реквизированных подсвинков, слушали похаб-

ные шуточки капрала, порой вылезая на двор, на серебряный лунный иней, чтобы выблевать тоску и изжогу, а то мокли в грязи под дождем перед усадьбой лесничего, домом священника или мельницей, прикрывая капральские налеты в этих лесах, где им ничто не грозило,— вот так и расходились их пути-дороги, разбегались мечты, и он ведь уже тогда им не доверял, когда Зенек донимал его, чтобы он выдал оружие: «Ведь твой старик был там, знает место, где оно зарыто». Это правда, отец ему все рассказал, но он уж и сам не знал, что его тогда удерживало. «Пойми, Костусь,— повторял не раз отец,— я им обещал, что отдам оружие только в те руки, которые его направят на врага, а ты знаешь, на кого эти могут его направить, что ты о них знаешь? Ты ручаться можешь?» Зенек все шипел: «Ты присягу давал, да ты соображаешь, как нас зауважают, когда мы столько винтарей сдадим?» — вот Костек все и мычал и путал, то вроде здесь зарыто, то там, все кружил без толку и снова вымерял место шагами; захоронение было пустое, ни тел, ни тряпья не нашли, так что раскапывали в других местах, выдирая сырые корни, потом возвращались, сопя и отдуваясь, впервые глядя друг на друга волком. «Врешь, паскуда, провести нас хочешь, а знаешь, что за это будет?» — «Не пойму,— бурчал он недоуменно,— сколько времени прошло, наверное, уже кто выкопал». Так и водил их, пока можно было, все больше утверждаясь в недоверии, пока они тайком от него не пришли однажды ночью к старику, решив попугать и вытянуть из него, но отец не из тех, что раскалываются, и, как знать, не это ли все решило

— похоже, и впрямь ничего уже теперь не значит та единость двух тел, связанных хрипом общего дыхания под сдвоенный ритм сердца и шагов, скрепа чужой руки, вцепившейся в твою, и чужой крови, стекающей за ворот твоей рубахи, и еще тяжесть спасенной жизни; они давно уже были чужими, до того самого ноябрьского дня с низко скачущими облаками и надоедливой моросью, когда он полем подошел к этому проклятому условному пункту в Важехах; мельник Сенницкий всегда казался ему человеком «мутным», и Бартош наказал быть осторожным, велел разнюхать, с кем он там путается, ну а это не очень его волновало — мельник старый пьянчуга, Костек доверял Секуле, подручному мель-

ника, от Секулы он и должен был получить необходимые сведения; кто бы мог подумать, что там он встретится с Зенеком и попадет в эту невероятную ловушку, бывает же такое идиотское стечение обстоятельств! И вот в тесноте между стенами мешков Зенек с пистолетом напирает на Секулу: «А ну, тащи два мешка пеклеванки, подвода сейчас придет, ваше дело сторона, скажешь своему красноносому, от кого я»; Секула что-то не очень торопился, и, когда вошел Костек, ошеломлены были оба: «О-о-о! какая честь, дорогая наша армия все так же со своими беспощадна, храбро воюешь, а ну, не дури!» — «Ах, это ты, сука перелетная,— оторопел Зенек, стараясь все же держать фасон,— тебе здесь чего надо? Дуй отсюда, пусть тебе твоя Москва жиры сбросит!» — «Я тебе сказал, оставь этого человека в покое...» — «Господа хорошие»,— крутился Секула, и что-то непонятное было в его лице, взгляд у него был какой-то растерянный, он его все уводил в сторону и был будто сам не свой, вроде бы кивал куда-то, Костек тут же насторожился, к чему бы это, ну же, не может быть, чтобы и Секула, если бы не столкновение с Зенеком, он бы куда раньше уловил предостережение в странном поведении Секулы, но стычка с Зенеком притупила внимание. «Пошли в конторку,— буркнул он,— оставь его, закончим дело»; Секула все переминался, не пуская их внутрь, и тут Костек опять поймал его взгляд, словно обращенный на кого-то третьего, «господа хорошие...» — и сразу же звон стекла и «Hände hoch!» [1] из глубины, черные нашивки на голубом мундире, так вот что означали взгляды Секулы, они столкнулись с Зенеком, как шары в кеглях. «Gewehr ab! Бросайт пистолет!», они еще медлили, двери-то недалеко; немец уже прикидывал, кто тут кого взял в оборот, но вот Секула, оказавшись на миг сзади, рванул груду мешков, один из них лопнул, и белая лавина в тумане мучной пыли рухнула на немца; в этой туче они дернули во двор, за угол, через кусты, на длинную открытую выпуклость; размякшая пашня связывала ноги, за межой он припал к земле. Зенек остался позади, со стороны мельницы затрещали очереди, они были уже далеко, когда кто-то из немцев, прижав винтовку, долго, терпеливо целился — наверняка это был снайпер,

---

[1] Руки вверх! (нем.)

и Костек увидел, как одновременно с одиночным выстрелом Зенек упал в борозду; лежал он далеко, на открытом месте, немцы пытались подойти к нему, но Костек своим автоматом держал поле метров на двести, немцы не высовывались из-за строений, с час он слышал стон раненого, было уже темно и туча затянула голую полосу поля: Зенек лежал между ними, между пространством, прикрываемым его ППШ, и радиусом немецкого обстрела, лежал и выл от боли, в то время как они били поверх него; с час сверлил ему уши этот крик, долетавший из борозды, этот пронзительный вой страдающего человека, а когда дождь затуманил видимость, он, весь изваэюканный, подполз бороздой и, перевалив Зенека за гребень межи, тащил его, бесчувственного, на спине до самых Липин, где застал их всех — старика, Регину и мать, когда почти в полночь, насквозь промокший, едва держась на ногах, свалил его, как утопленника, на лавку; Зенек при свете карбидной лампы выглядел совсем мертвецом, а ведь Костеку еще пришлось посучить ногами перед запертой дверью, потому что старик поначалу не мог понять, в чем дело. «Я это, Костек Курыло,— хрипел он,— принес вам вашего Зенека!» — «Проваливай давай,— слышал он в ответ,— какого еще Зенека? Мой Зенек с большевиками не путается»; пришлось бить ногами как бешеному в дверь: «Отпирайте и заберите своего парня, пока еще дышит, из него много крови вышло, навоевался ваш сыночек за муку для своих капралов, едва дотащил; так что, в грязь его бросить, что ли?». Старик, отпирая, бурчал: «Врешь ведь», но, преодолевая всю остервенелость, страх подгонял его, потом они бросились к телу: «О господи, Зенусь помер, сыночек мой единственный!», уложили его на кровать, обмыв и перевязав несчастную его ходулю, а спаситель сидел, дыша как пес, не совсем еще придя в себя, и глядел на них бездумными глазами, счастливый, что смог наконец свалить с себя эту тяжесть, которая долгие километры выдавливала из него дух, приминала к земле, тащила к смерти, как хватка утопленника под водой; уж на веки вечные, думал он, срослись их тела, и этой тяжести уже никто с него не снимет, он ненавидел ее, но не было сил остановиться хоть на минуту, освободиться от нее, хотя бы здесь, не доходя до деревни, а когда почувствовал дым, прибитый дождем к земле и от этого еще сильнее

ощутимый, как свежий запах хлеба для того, кто умирает с голоду, когда взвыли собачьи хоры, испуганно и как-то незнакомо, он хотел положить его на дороге, под плетнем, перед часовней, подле хаты Исидора, только дать знать, и пусть Пайда сам забирает, но уже не мог бросить это тело, он уже знал, что должен дотащить его прямо туда, где свет лампы, где глаза Регины, матери и старика, страшно хотел этого где-то в глубине души, и это уже не было предлогом, чтобы встретиться с Региной, чтобы те склонили перед ним головы: вот, получайте сыночка своего ненаглядного, сучий потрох, получил свое, бедолага, а я вот вам принес его, знайте, кто настоящий человек, что ж поделаешь — стало быть, ему, а не мне так написано; это им за всю их ненависть и презрение, вот как он им отплатил, прямо как в театре, и они вели себя прямо как в театре; так что он только сидел и наблюдал то, о чем подумал, вот и случилось все на самом деле, только соображал он плохо, чтобы насладиться этим вдосталь и все подметить, Регина тут, живая, настоящая Регина, в одной только рубашке и торопливо надернутой юбке, косы ее еле прихвачены, толстые, с проблесками платиновых нитей, и эти ее глаза, пронзительно голубые, тут же заблестевшие слезами, а потом сухие, уже только горящие боязливым восхищением, а вот старуха, опухшая от слез, бормочущая сама себе, будто в горячке, и сам Пайда, белее извести, впервые, как он его знает, трясется, обмяк; суетились, пока Зенек не застонал, пока не привели его в чувство, и только тогда старик, так сказать, смирился с действительностью, вроде бы наконец понял, что стряслось, сел тяжело рядом со спасителем, руку положил на голову Костеку, заметно было даже, как она у него дрожит: «Уж какой ты есть, такой есть, но до смерти я тебя не забуду, как ты парнишку моего на своем горбу...», он видел счастье в большущих глазах Регины, что дождалась и этого — наконец-то! — что своими глазами видит чудо явленного примирения, и с минуту даже был зол на нее за эту боязливость и жажду примирения, потом понял, что такая уж бабья натура, что всегда, наверное, желала она дождаться минуты, когда батя взглянет на него иными глазами, вот и совершил все, о чем она мечтала, и знал уже только одно: теперь-то будет его любить, и тут на минуту вознесла его вдруг гордыня — вот видишь, дура, это

все ради тебя, хотя и не был уверен, как бы поступил с Зенеком, если бы не она, не Регина, а по правде, и не хотел об этом гадать, потому что уже поползли другие мысли, порожденные суровой школой лесной жизни: а правда ли, что это случайность? Зенек и немцы у Сенницкого в одно и то же время, кто же тут был захвачен, ошеломлен, если даже Секула боялся его предупредить? А если знал Секула, то мог знать и Зенек, нет, теперь он не хочет об этом думать, все это уже позади, а сейчас вот старый Пайда и его рука, протянутая в знак примирения, и его теплый голос, с которым сам Пайда не мог совладать, потому и замаскировал это грубостью: «Чего стоишь да глаза таращишь? Обсуши человека, выпить ему дай», но это был уже другой Пайда, и Регина, вся рдеющая, могла заняться Костеком как следует; он чувствовал торжество, несколько смягченное вернувшейся растроганностью, оттого, что он и не на то способен и что это никакая не высшая сила и не судьба совершили; нет, все это как будто было скрыто в нем самом, ожидало лишь случая, чтобы он наконец мог показать им, что он всегда был прав, а уж особенно тогда, когда они более всего собак на него вешали, да, а чья была правда? Трудно тут говорить о правде какой-то единой, общей, это-то он уже хорошо понимал — что правды бывают такие же разные, как судьбы ближних, их положение и запросы; война отчетливо показала все мнимости, которыми прежняя жизнь задергивала эту чудовищную правду, заслоняя взаимную рознь иллюзией всеобщего согласия; это война ускорила исполнение обоих действий комедии: произошло внезапное осознание общности и чуждости, отсеяв все второстепенное; сначала все осознали свою тождественность перед лицом общей угрозы, родовую связь, угрозу физического уничтожения — тогда на короткое время их объединяло все, когда им нужно было определить свое отношение к порядку, который их не принимал в расчет, тогда они были просто соотечественниками и одной веревочкой связаны; но быстро поняли всю призрачность этой общности с той минуты, когда начинали действовать, руководствуясь своим выбором, потому что уже не внешний мир соединял их, а если даже и так, то лишь в редкие моменты; проявился только свой интерес, свои устремления и представления, настолько различные, как и они сами; вот так

эта война, это давление и пустота выявили истинную правду: убогость этого стремления друг к другу и одиночество распада в пустоте; значит, самым истинным является то, что их разделяло и что осталось по сей день, даже теперь, в этом новом мире, уже обросшее обидами, смертями и ненавистью, и, отягощенное всем этим, не даст оно ни преодолеть себя, ни растопить самыми теплыми воспоминаниями; все это уже не в счет, как не в счет поблекшие эпизоды, это уже не значит ничего и ничего не вызывает, кроме болезненного удивления, что это те же самые люди, что это мы, я, Пайда, отец, что мы — сквозь завесу времени — те же самые...

— Товарищ майор, так что разрешите доложить, в армии, в народном Войске Польском,— вспыхнул Лапот, мечась взглядом то за окно, закопченное и распахнутое, как пролом в стене, то вновь к собравшимся.— Только прошу отдать приказ, потому что, значит... здесь такое может завариться... Все как оглохли, не слушают...

Курыло бесчувственно двинулся к окну. А там, за окном, капитан Вицек уже опередил командира.

— Бандиты! Убийцы! — взлетали голоса из рева, нарастающего, как шум градовой тучи. Толпа солдат на дороге сгущалась, то и дело пробивался топот бегущих сапог.— Чего там ждать, лупи их! Еще защищать будете?!

Голос капитана, перегнувшегося через подоконник:

— Дежурный патруль! Охрана!

Лапот был уже во дворе. Патруль приближался шеренгой, звеня винтовками, в касках, низко надвинутых на глаза, примыкая штыки, поблескивавшие на солнце остриями, направленными к земле; капрал, как на учении, бежал впереди, втягивая их в толпу ощетинившейся цепью:

— Штыки примкнуть! Заряжай! Оружие к бою! Окружить штатских! Быстро!..

Подгоняемые командами, солдаты отработанными движениями врезались в эту сцепившуюся толпу, кипящую в клубах радужной пыли, кричащую, отдающую потом, тяжело дышащую. Кого-то там тащили, сухо щелкали затворы, трехгранные штыки напирали на людей, вжимались в сукно мундиров; арестованные мужики, оттираемые патрульными, сбивались в тесном полукольце, образованном цепью.

— Бандюги! Палачи! Чего их жалеть? Передавить это сучье семя...

Патрульные в тупом, зловещем ожесточении напирали штыками на груди своих товарищей, ругались сквозь зубы, из-под низко надвинутых касок поблескивали налитые кровью глаза; никто из них не был готов к происходящему; подсознательно ждали команды, которая всех утихомирит. Позади себя они чувствовали хриплое дыхание крестьян, которых прикрывали своим оружием. Из здания гмины все это казалось одним большим клубком из спин и дергающихся сапог, как будто тех, кто в середине, хотели растоптать. Вся цепь ходила ходуном взад и вперед.

Из окна пронзительно затарахтела автоматная очередь. Все на секунду замерли.

— Р-рота, слушай мою команду!..

Это был голос майора Гжибовского. Все застыло. Лица постепенно поворачивались в его сторону. С минуту длилась тишина, и медленно оседала пыль проблескивающей взвесью.

— Все назад! На десять шагов!

Только теперь все увидели майора. Он стоял раскорякой и вытирал платком багровое, лоснящееся от пота лицо. За ним неподвижный Курыло с красными глазами и капитан Пашковский с «вальтером» в руке. Еще раз прозвучала команда «смирно!», и майор, грузный, с распахнутым воротом, ковыряя огромным пальцем в ухе, выступил вперед. Патрульные стояли так, словно собирались совершить экзекуцию, ощетинясь штыками. Но командир не спешил.

— Ну так что, ребята? — рыкнул он откуда-то из глубин живота.— Нервишки сдали? Понимаю. У меня тоже рука зудит.— Он почесал ладонь, красную, как кусок мяса.— Да вы где находитесь? — рявкнул он вдруг.— В пивной? На танцульках? Может, на свадьбе? Вы что, не знаете, зачем вы здесь? Разве я не говорил, что вас здесь ожидает? Не ввел вас в обстановку перед выходом в эти зас... запропащие места? Не растолковали вам? Еще раз повторить? Ладно, повторю еще раз.

Капитан Вицек взглядом дал знать Лапоту, чтобы патрульные стояли спокойно, а сам пристроился поближе к ним, потому что именно его ребята несли службу в патруле — такое уж собачье счастье им выпало. Отряд

майора, на скорую руку сформированный в Жешове, являлся временным слепком нескольких групп, выделенных из разных соединений и включенных, частично на добровольных началах, для участия в операциях Корпуса безопасности; они срастались в ходе погони и знакомились друг с другом уже в этой жестокой школе братоубийственного усмирения, ежеденно сдавая экзамен на крепость нервов, проходя такую проверку, после которой ни один солдат не может остаться прежним человеком, и, что хуже всего, никогда не зная, с какой необходимостью придется столкнуться им завтра; это было самым трудным, признавал в душе капитан, как же тут командовать людьми, как быть уверенным в их поведении, если обстановка выходит за границы воображения, полна издевательских сюрпризов, которые сами по себе подрывают главную основу армии: моральное превосходство командира над подчиненными, эту гарантию, прежде всего психологическую, что подчиненный воспользуется как опорой здравым решением своего командира, более того, что командир всегда на это способен, и это уже заранее предопределяло его лучшую выдержку, а именно в этой-то выдержке капитан Вицек уже давно не был уверен — и вот, вновь столкнувшись с испытанием, суть которого он даже мысленно предпочитал не определять, предоставленный самому себе, он, стоя рядом с капралом, машинально приподнял пилотку, вытирая мокрую лысину. В такие минуты он всегда чувствовал жгучие струйки пота, обильные и, как ему казалось, заметные, что невозможно было сохранять выдержку. «Это моральный пот,— объяснял он как-то с иронией,— моя моральность конденсируется и вытекает из меня; а может быть, так закаляется сталь?» Так или иначе, в эту минуту жест был конфузный и сам по себе вызвал чувство раздражения. А тут еще он заметил пистолет в руке Пашковского, отчего у него появилась внезапная неприязнь к товарищу по службе. Тот на все реагирует однозначно... Вообще-то восхищаться бы им надо — дает урок, как вести себя офицеру... А впрочем, может, только для того, чтобы себя подбодрить? И вот такой, весь мокрый и очень собой недовольный, капитан Вицек сознавал, что в эту минуту он является участником великого действа: солдаты, потрясенные зверством врага и уверенные в соучастии в этом местного населения, горят

чувством мести. Отношение крестьян к пришлым враждебное, армию они считают причиной всех своих несчастий, а убитые, по их мнению, сами виноваты: «доигрались». «А старик наш сейчас толкнет речь, мать его так. Хотя вообще-то жаль мне его, неплохой парень, видно же, что и его на этот раз проняло. Но что он может им сказать? Любой аргумент с трудом доходит до этих людей, требующих, может и не совсем по формальному праву, обычной, простой справедливости, тем более что уже первое следствие показало, что местные жители по меньшей мере соучастники этой резни... И вообще, что тут говорить, если не сводить дело к пустой болтологии, которая начисто перечеркнет их авторитет. Ведь нам надо мчать дальше, а это все лишь потеря времени, надо ловить Гетмана, уж раз мы вышли на его свежие следы, это наша главная задача, а устраивать суды по деревням, восстанавливать справедливость — нет уж, увольте, если мы не хотим осрамиться и тем самым вконец распустить эту сволочь. Стоит повесить нескольких, не теряя зря времени... или на все махнуть рукой. Мне казалось, что главное для нас — очистить эту территорию, неужто наш старик думал, что одним махом ею завладеет?»

Сцена действа с одной стороны была ограничена закопченным каменным домом, где помещалось правление гмины и разгромленный милицейский участок. Резкий порыв ветра, как первое живительное дыхание в этот знойный, замерший полдень,— дыхание, особенно ощутимое во внезапно наступившей тишине, этот сквозняк из оконных проемов, пробитых насквозь, поднял пелену сажи, трепля обрывки содранных плакатов. Измятые полосы бумаги закружили, вскинутые ветерком, печатные восклицания и вопросительные знаки, продырявленная фигура милиционера, голова Берута, Жимерского и все то, что составляло программу будущего и что с трудом можно было разобрать из-за бурых пятен — следов крови. Люди раздраженно смахивали эти полосы бумаги, которые цеплялись к ним, кое-кто притоптал сапогом шелестящие ленты. Порыжелые липы по другую сторону заслоняли кладбище, заросшие глазницы часовни и колокольню, пробитую, будто игольное ушко,— свидетелей всего, что здесь творилось со вчерашнего вечера до сего момента. На площади вдоль склона, от кладбищен-

ской стены, полукругом, до сожженной школы, стояли, как окаменевший лес, замершие солдаты, с беспомощно застывшими в полудвижении руками, одни в касках, другие с непокрытой головой — неровно остриженные черепа, бурые лица, сожженные солнцем, под которым они находились долгие недели,— лица, пышущие здоровьем в самом разгаре деревенского лета, дышащие лесом и пылью песчаных дорог, изваянные светотенями напряженные черты, полные психической усталости и суровости не от обычных уже мужицких забот,— лица изнуренные и жестокие, с таким выражением, что сами бы испугались, увидев себя в зеркале, бреясь во время короткого отдыха. Они стояли так, точно внезапный взрыв выгнал их с постоя, оторвав от обычных занятий вне службы, спрессованные каким-то внутренним давлением в этой критической точке, в порыве ярости,— оторванные от всемогущего сна, от угрюмого уклончивого переглядывания, от осмотра машин, чистки оружия и сколачивания гробов. Этот единый импульс ярости уже сходил с них, и они только ждали чьих-нибудь слов, которые ясно, по-военному оправдают слепой порыв и его спад. Сбоку, у самой стены гмины, дежурный взвод под командованием Лапота держал в колючем кольце штыков группу помятых фигур — и было что-то театральное в этой цепи шероховатых касок, оттеняющих человеческие лица, в поблескивающих стволах, направленных в грудь товарищам. Между одной и другой группой находились только массивная фигура майора и по-городскому стройная фигура Пашковского, прячущего пистолет в кобуру. Стоявший ближе всех к входу капитан Вицек мог еще разглядеть фигуру Курылы, который напоминал человека, разбитого параличом, его покрасневшие, опухшие глаза, внезапно разбуженные, перебегали от сбитой массы солдатских мундиров к укрывшимся за штыками небритым мужикам, которых эти штыки должны были защищать. Он что-то бормотал под нос. И над всем этим, над этой многолюдной и такой невоенной сценой, словно бы застывшей на внезапной перекличке, где только шелестели клочья рваной бумаги, порхая между сапогами, а листья, скрученные и пожелтевшие от огня, лежали недвижимо, нечувствительные к порывам ветра, сверкающий занавес песков скрывал косогором горизонт, с двух других сто-

рон обрамленный шубой синих лесов, покрытый плитой раскаленного неба с этим полыхающим солнцем, которое рассеивало искры и поблекшую пряжу на лазури — точно волокна из сахарной ваты.

В тишине гудел только голос майора:

— ...Вы уже сотню раз видели, к чему это может привести. А ведь каждая жизнь для нас бесценна в нашей разрушенной, опустошенной стране. Это же наши собственные деревни, наш народ...— бросал он с усталым, хриплым придыханием. Веки у него были приспущены, но глазки так и сверкали, как у разъяренной рыси, желтоватые, совершенно чужие на этом лице добродушного епископа.— И поэтому там, где бандиты пускают в ход силу, надо ломать их тоже силой, выжечь огнем и железом. Как раз нам и выпало в этой грязи ковыряться. Другого средства нет, если не срабатывают все... деликатные способы убеждения. Об этом вы всегда должны помнить. И дело тут не в жалости, миленькие,— он посопел, как проповедник на амвоне, свесив набок голову и вскинув руку,— но мы им не можем платить тем же. Им терять уже нечего.— И он указал на темную полосу леса.— У нас же... деревня. Они уйдут, а мы останемся. Останемся со всем тем, что мы здесь видели.— Еще один взмах руки, на сей раз жест сеятеля, а растопыренные пальцы скользнули по очертаниям пожарищ.— Мы здесь не завоеватели, у нас обязанность перед будущим, нам здесь хозяйничать и жить с этими людьми все будущие годы... Да, товарищи, и вот в этом вся загвоздка... Так что о мести и разговора быть не должно, все самосуды выбейте из головы. Не для того мы здесь...

Он выплюнул спичку, которую жевал в течение всей своей речи, из-за чего она была еще более невнятной, и застыл, кряжистый, разлапистый, вслушиваясь в эхо собственных слов или, скорее, каких-то отдаленных мыслей.

— А теперь, слушаю вас... Вопросы будут? Все ясно? Тогда выполняйте! Кру-гом! И чтобы мне здесь никто не болтался без приказания.

Когда тишина с этими повисшими в воздухе вопросами, самыми риторическими во всей красноречивой речи майора Гжибовского, наконец сломалась обычным шарканьем ног, когда пыль окутала застывшую, а затем рассыпавшуюся толпу мундиров, он под шум голосов и ше-

потов как будто бы спустился с невидимых ходуль и направился к дверям гмины, суровый, строгий, раздраженный. Не глядя, как капитан Вицек мечется, отдавая приказания, он подошел к Пашковскому.

— Похороны в три. Все подготовлено? — А затем, не слушая и тыча рукой назад, добавил: — Этих пока посадить куда-нибудь. Записали их показания?

— Так точно. Я должен еще сверить протоколы.

Майор взглянул на огромные авиационные часы, вздувающиеся под рукавом рубашки.

— Времени нет на ерунду. Надо установить связь. Пришлите ко мне радиста.

Поднимаясь на порог дома, он скользнул взглядом по неподвижной фигуре Курылы, который по-прежнему стоял, залитый светом солнечного полыхания, всматриваясь в то место, где уже никого не было. Майор помялся, неопределенно дернул губами, затем, вытерев лоб, решился и дотронулся до плеча сержанта.

— Костек... а как мать себя чувствует? — Увидев бессмысленный взгляд покрасневших и мутных глаз, он кашлянул.— Понимаешь, нам же их сейчас похоронить надо.

Курыло, чуть вздрогнув, выпрямился. Теперь майор заметил его ссутулившиеся плечи, которые беспрерывно подергивались, уловить это можно было только на фоне неподвижного прямоугольника стены.

— Мать ничего еще не знает, товарищ майор,— ответил он хрипло.— Еще не совсем в себя пришла...

— Может, это и к лучшему,— пробормотал майор.— Может, и лучше, если узнает обо всем потом. Так, значит, похороны...— Он не знал, как закончить.— Ну словом, если что надо... я тут. Дам тебе сейчас стакан, парень, и сосни хотя бы с часок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Ш-ш-ш!..— шипит худая Пачеснякова в остроконечном платке, съехавшем со лба, со строгим осуждением в глазах; вокруг пробора серебрятся нити волос, яснее заметные в этом темном обрамлении, закатанные рукава праздничной кофты открывают морщинистые, жилистые руки, мокрые, как и ее лоб, который она все время вытирает рукавом. Вслед за ней через дверь устрем-

ляется желтый, колеблющийся отблеск керосиновых ламп, а может, свечей — трудно разобрать, так как сени и приходское помещение скрываются в темноте, как заросшая виноградом пещера.— Здесь же усопшие упокоеваются...

Солдат на полуслове смолкает и, начав докладывать зычно, кончает уже полушепотом, смущенно кося одним глазом в сторону укоряющей его фигуры, но по-прежнему обратясь к двери и вытягиваясь перед капитаном. Напряженные и как бы между двух огней — тут тебе дисциплина, явленная среди бела дня фигурой капитана Вицека, а там величие смерти, таящееся за спиной, с его таинственностью последних обрядов и поклонений,— мужчины, приставленные к месту подготовки к погребению, не знают, как себя вести, и украдкой мнут в руках нераскуренные сигареты. Со двора и из кладбищенских зарослей бьет стена света, солнце заливает лица полуденным зноем. Усиливается букет запахов, чуть приглушенных, более плотских, по мере того как жара передвигает тени. Здесь все сильней бродит и то, что снаружи, погруженное в духоту дня, и то, что за спиной, при искусственном свете, среди таинственных перешептываний и суеты уже внеземных приготовлений.

Капитан Вицек успокаивает их одним движением.

— Тела здесь?

— Так точно,— докладывает Гралевский.— Обряжают к погребению.— Он произносит это таким тоном, словно повторяет чьи-то слова. Сам, покуда еще живой, он знает ровно столько, сколько сказано в уставе. Знакомая ему церемония начнется чуть позже.

— А гробы готовы? — спрашивает капитан.

Солдаты показывают на семь ящиков из свежих досок, прислоненных к стене, просто как упаковка. Белые неструганые доски пахнут смолой и скипидаром. Гробы кажутся удивительно маленькими, хотя на крышках столярским карандашом нацарапаны фамилии владельцев.

Капитан Вицек, вдохнув поглубже, поправляет ремень и разглаживает складки мундира, словно входя в салон, полный дам, обязывающих быть элегантным; хорошо слышны его громкое покашливание и скрип подошв на пороге, когда он, чувствуя, как ему не по себе, входит с фуражкой в руке в этот не то морг, не то храм. В просторной кухонной пристройке, наполовину прачечной,

наполовину буфетной, где ксендз принимал приношения, улаживал всякие хозяйственные дела, для которых не требовалась торжественная обстановка ризницы, и где он мог появляться в более небрежном виде, без стихаря и епитрахили, где он беседовал с теми, кого можно не приглашать в комнаты; в этих сенях, чем-то похожих на склад благодаря шкафам и ящикам у стен, а также церковной утвари, уже не используемой при богослужениях, каким-то подсвечникам или металлическим чашам, постепенно превращаемым в предметы сугубо светского, домашнего и прозаического назначения, о чем свидетельствовали следы керосина, хозяйственного мыла, остатки пищи или обычная, покрытая пылью паутина, на которых неуловимые границы земного и внеземного смешивались так, что двузначно дополняли друг друга, а трансцендентное назначение спорило с их повседневным использованием, с печатью бедности и практического употребления, так что были они одновременно и символами вечности, и конкретной дешевой утварью, лишенной всякой метафизической таинственности,— и вот в этих сенях среди этих реалий кухни и церковного притвора разыгрывалась мистерия, полная литургической торжественности и самого земного, ужасающего натурализма. В этой не то часовне, не то бане, отрезанной от дневного света, который снаружи обжигал зноем, среди теней, копошащихся по закоулкам, в этом увеличенном сумраком помещении совершалось еще одно действо на грани бренного и вечного. Здесь совершалось обмывание останков и отпевание перед выносом. К этому сакрально-бытовому фону примешались новые элементы, делая его еще более своеобразным: в атмосферу кладовки и ризничного хлама ворвался запах смерти, запах покойницкой с ее тленом, больничное зловоние выделений и трупных испарений, чад коптящих свечей, горький аромат аира, которым перекладывали влажные простыни, и испарения вянущих цветов, принесенных для украшения катафалков; в полумрак этой хозяйственной утвари в проблеске то ли оловянных тарелок, то ли печных изразцов влился муравейник огоньков, языки трепещущих свечей, зарево конюшенных фонарей с их шипящим, дрожащим пламенем, а от чугунов на плите валил пар, наполняя банной духотой это помещение, где тихие силуэты в черном подливали воду в корыта. С бульканьем и плеском воды

сливались вздохи женщин, монотонный шепот молитв и стонущие песнопения с их обрядной одержимостью.

Капитан Вицек стоит на пороге и видит весь этот брейгелевский интерьер, пульсирующий суматохой необычных приготовлений, видит суровые лица женщин в праздничных платьях, так не вяжущихся со всеми этими хлопотами, с обмыванием, обтиранием и одеванием покойников, всю эту поглощенность работой, которая должна успокаивать нервы, позволяя заниматься делом не дабы отвлечься, а именно в связи со всем тем, что произошло,— капитан Вицек вновь сознает, что природа сама диктует, что делать в каждой конкретной ситуации, и следовать ее подсказке, пожалуй, самое разумное (после разлада надо выспаться, после рюмки закусить, а после смерти похоронить останки — так вот и крутятся в голове у него эти глупые афоризмы), потому-то и сосредоточены лица женщин, поглощенных работой, их естественные движения и бессловесные знаки, кивок головы, взгляд, если нужно долить воды в лоханку или отнести тело и укрыть его простыней. Они, эти женщины, очень строги, никаких поблажек помехам извне. Вес всех иных дел, присутствие отряда, его шум, вся первостепенность земных событий становятся несущественными перед лицом этих обязанностей с их неземной торжественностью. Пачеснякова, которую капитан только что видел в дверях, наклонившись над лоханью, смывает засохшую кровь с воскового лица сына. Потом обе со снохой поднимают негнущееся, как кукла, тело — руки связанные, белые ступни оставляют на полу мокрый след. Они вытирают рушником это тело, такое большое и ненастоящее в его нагом бесстыдстве. Манекен облачают в белье, потом — в праздничный костюм. Капитан видит руки девушки, с трудом натягивающей штанины, а затем приглаживающей длинноватый пиджак. Покойник лежит, как пьяный на ярмарке или упившийся свадебный гость; мать поправляет на нем рубашку, строго, но и ласково, прося у него прощения за его печальный облик. Рядом, из-под покрывал, в желтом свете свечей и среди теней, отбрасываемых живыми, торчат вереницей головы, точно манекены у парикмахера; цвет этих тел кажется одинаковым, и только усы, прическа и щетина являют следы былого различия — брюнеты и блондины, старые и молодые, отцы и сыновья. Недавняя индивидуальность уже не имеет значения; усы

и губы, строгость и невинность — все это подернуто чем-то стеклянным, точно выцветшие следы этикеток на глыбах массы одного сорта. На первый план выступает суть этих тел, все остальное лишь преходящие украшения,— она поражает жутким оскалом черт, неподвижной гримасой, лишенной жизни, а потому и смысла. Это была приемная голов, торчащих из-под покрывал, равно как и ног, торчащих с другой стороны, ног, уже ничьих, гирлянда отдельных протезов. Две другие девушки, внося гробы, проходят мимо капитана. Они опускают туда тяжелые тела мужчин, обкладывают их пучками трав. Капитан стоит с фуражкой в руке поодаль, в тени, у стены, его почти не видно. Головы мертвых, оправленные в рамки гробов, плоские, обведенные цветами, кажутся совсем ненастоящими. Теперь они чем-то напоминают барельефы или уложенные в ряд иконы. Женщины ставят свечи под шелест литании и первые стонущие песнопения:

Дай им, боже, отпущенье, вечное упокоенье...

Все больше этих гробов, все больше свечей и цветов, а в них — рельефные профили, окостенело сплетенные руки и эти головы с топорщащимися усами. Теперь они выглядят благопристойно, свет снизу углубляет их рельефность, не у всех, правда, удалось прикрыть глаза, двое или трое по-прежнему пугающе светят зрачками, точно маски, полные застывшего ужаса. Среди этого ряда манекенов бросается в глаза мундир Бобжицкого и вложенная в его руку конфедератка. У него еще не было гражданского костюма. Последним кладут в гроб старого Курылу. У Лосюка правая рука, завернутая в рукав, покоится отдельно. Его останки пришлось собирать и укладывать в гробу...

«Славься, боже-отче и Иисусе-сыне, купно с духом святым, славьтесь воедине!..» — тоненько выпевали бабы.

Капитан Вицек в последний раз кидает взгляд на эту покойницкую, на эту жуткую костюмерную и на вереницу мумий, оживленных мерцанием огней, сосредоточенных теперь вокруг катафалков. Он не знал этих людей, никогда не видел их в глаза, а ведь это те самые люди, ради которых он уже два месяца рыскал по лесам, невыспавшийся и грязный и, что хуже всего, измазанный чем-то таким, чего не смыть, впитавший в себя частицу здешнего одичания, точно вирус какой-то страшной бо-

лезни. Это были его незнакомые товарищи, вроде как солдаты окруженного гарнизона, о которых говорится во фронтовых сводках, и их можно себе представить как соратников, скрытых под псевдонимами, которых наконец-то узнаешь только в гробу. Да, слишком поздно. Что поделаешь? «Стало быть, это вы?» — хочет шепнуть им капитан. И снова осознает, что чего-то по-прежнему не понимает, а то, что знает, меньше всего подходит к этим людям, а то, что видит, не может быть объяснено его знанием. Шесть лет лагеря лишили его какого-то непонятного ему опыта. В общих чертах все сходится, если дело касается закономерности, общественной дифференциации и социальных группировок, все так, как и учили на занятиях; в этом отношении положение военнопленного имело свои преимущества: легче можно уловить все закономерности. Так что у капитана Вицека было ясное политическое мировоззрение и никаких недоразумений, вызванных служебным назначением. Он не был одержимым, руководствовался логикой, которая, освобождая его от эмоций, давала иной раз право на иронию или независимость решений. Так ему легче было заниматься этим делом, нежели людям одержимым. Он понимал, что если это и не избавит его от насилия, то, во всяком случае, убережет от ошибок. Потому что больше всего капитан ненавидел одну старую, но докучливую, как чесотка, вещь — скрытое жжение угрызений совести. Однако, видя на собственном опыте примеры этих бесспорных истин, он не мог понять их психологического плана. Просто не мог себе этого объяснить. Эти люди, играя надлежащую роль в театре истории, движимом Великим Противоречием, оставались для него непонятными именно в присущей им области чувств. Выполняя неизбежные функции, которые распределила среди них логика революции, они одновременно несли в себе все неизвестное ему прошлое оккупационного ужаса. Капитан знал об этом мало, но то, что порой являлось ему, было непонятным, психологической загадкой и подлинной драмой, которая, будучи заключенной в отдельной памяти, никак не объясняла ничьих поступков. Он еще мог понять объективное расслоение, но почему люди, годами действовавшие вместе, спаянные адом унижений и памятью о совместной борьбе, всей уже неохватной ныне совокупностью решающих жизненных мгнове-

ний и общностью простейших переживаний, когда ночи темнее отчаяния и дни ослепительнее взрывов, в этом единящем потоке страха и торжества, мук и благородства — почему эти люди сегодня готовы разорвать друг друга на куски, кромсать один другого с холодной остервенелостью на глазах своих близких? Половодье зверства, прокатившееся по этим селам, о котором он мог только догадываться, черный поток остервенения и убийств, выкинул их на берега нового дня, исступленных в ненависти и разбитых в щепки. И именно потому, что он чтил великую общность соратников по оружию, то, чему он здесь стал свидетелем, не укладывалось в его понимании. Значит, эти мужики подверглись такому непонятному испытанию, которое нарушило все границы людской впечатлительности. Это уже что-то такое, чего он не мог понять, что было сверх его представлений о человеческом опыте. Протравленные этим огнем, расплющенные давлением, они стали загадочной разновидностью, не подходящей под обычные психологические нормы. Капитан Вицек чувствовал свою беспомощность перед этим крушением социальных связей, что в какой-то мере вступало в противоречие с его знанием самого себя. Великие закономерности, отраженные в человеческих судьбах, вновь становились непонятными. Это терзало его, потому что переставало быть опытом, а становилось жестоким отрицанием всякого сопереживания. Он шел из дома ксендза, щуря глаза, будто возвращаясь из какого-то глубокого подземелья. Жар раскаленного полдня подергивал металлом мертвенность листьев, горячим компрессом облеплял лица. Капитан взглянул на часы.

— Гралевский, собери людей! Через десять минут построение на похороны.

Майор Гжибовский с шумом продул наконец забитую трубку, и теперь кровь отливала от его побагровевшего лица. Он вытер брызги табачной жижи с квадратов сложенной карты, несколько недовольный этим неуважением к военному оснащению. Исподлобья бросил взгляд на окружающих.

— Если хотите знать, я тоже читал «Крестоносцев» Генриха Сенкевича. Тогда пленных прогоняли перед строем или брали заложниками... И «Виннету» я читал, и

«Чапаева». Так что не думайте, драгоценные мои, не такой уж я недоучка...

Пашковский без улыбки чистил ногти. Капитан Вицек поднял трубку с черного ящика, стоящего рядом с майором. Для этого ему пришлось протянуть руку под самым его носом, майор хмуро отодвинулся. Капитан покрутил рукоятку и бросил трубку на рычаг.

— Молчит как рыба,— пробормотал он.— И с кем теперь посоветуешься, как соблюдать законность? — Обогнув стол, он склонился над Пашковским.— Ребята срастили оборванный кабель, но, стало быть, он перерезан еще и в лесу где-нибудь. Кого тут пошлешь, чтобы протравил... двенадцать километров до Жолыни?.. Кто в одиночку пойдет, не вернется.

— А радиосвязь? — буркнул Пашковский.— Передали донесение?

— Передать-то передал,— пропыхтел командир.— А что толку? Думаете, на них это произвело впечатление? Знаете, что они мне ответили? «Все в порядке...» Такие же донесения у них из Майдана, из Хуциск. Почти такие же. «Все в порядке...» Понимаете? Это значит, что он тут орудует. Можно нанести его маршрут на карту, и — быстро за ним.

Капитан Вицек вновь вцепился в Пашковского.

— Может, подождать с недельку, пока не признаются?

— Ну и сказал — будто в лужу дернул...— взорвался тот.

— Господа офицеры!..

«Старикан» неодобрительно прищурился и, выждав, разложил карту. Было видно, что это наигранный жест, что он просто маскирует свою растерянность. Не много увидишь в зелененьких прямоугольничках лесов и точечках редких, как мушиные следы, селений. Вся заковыка в том, что́ творится именно здесь и именно сейчас. Но очень уж хочется этим жестом подчеркнуть приоритет сугубо военных задач. Лысина капитана Вицека блестит в солнечной пыли, точно красный бильярдный шар. Капитан пожимает плечами.

— Если вы, товарищ майор, рассчитываете, что мы, очистив эти места, обеспечим здесь порядок и спокойствие, нормализуем обстановку, воздав виновным по заслугам, а может быть, даже и перевоспитав их полити-

чески, то вы, пожалуй, слишком многого хотите сразу.— Он подходит к стене и поднимает с пола обрывок плаката.— И до нас этим занимались. И если бы это было возможно, нас бы сейчас тут не было... Армию пускают в ход только в крайних случаях.— Он снова садится, опустив плечи.— А те, кого мы сегодня хороним, разве не то же пытались сделать?

Майор Гжибовский кривится и цыкает зубом.

— Вы были бы правы, капитан, если бы не тот факт, что это и наше дело. И что наших людей здесь сейчас уже нет. А это как раз и нужно Гетману. Он к тому и стремится, чтобы оголить округу. Он знает, что как вооруженная сила он немного стоит. И если он сделает повсюду то, что сделал тут, то может смело распустить свою банду и вернуться к нормальной жизни... чтобы править. Вооруженные отряды — это лишь средство для создания определенной ситуации.

— Клаузевиц,— бросает капитан Вицек и разводит руками. Взгляд майора следует за ним.

— А это не означает, что нашей главной и практической задачей не является военная операция.

— Ну и что? — интересуется Пашковский.

— Единственная политическая операция здесь — похороны этих людей,— цедит майор.— В пять выступаем. Надо ускорить преследование, наступать ему на пятки, а то опять эта мразь куда-нибудь забьется... А кроме того... где-то то же самое ожидает людей.

— А здесь?

— Здесь придется оставить новых. То есть кого-то из наших солдат. Вместо тех.— И он указывает подбородком на пятно рыжей грязи.— Пока повят не пришлет людей для здешнего участка. А уж откуда они их возьмут, не моя забота.— Всей своей массивной фигурой он поворачивается к Пашковскому.— Это ваше дело. Единственно, что вы можете сделать, капитан,— поднять тревогу.

Пашковский пожимает плечами.

— А как?

— Радиограмму-то они получили. Немножко воображения у них есть. А впрочем, это тоже дело тех, кто останется здесь.

Капитан Вицек вытирает лысину. Он весь мокрый, черные пятна проступают под мышками мундира. Воротник

противно прилипает к набухшей шее. Только теперь, в тени, видно, как их всех опалило солнце. Коричневый пигмент и синева вздутых кровеносных сосудов огрубили черты.

— Товарищ майор, только учтите, что в этой обстановке... Вы видели их реакцию час назад? Люди уже не в силах сдерживаться. Каждый представляет, что у него дома творится то же самое. Большого ума тут не надо. Значит, оставить их здесь и дать им свободу действий?..

— А что мы еще можем?

— Их сдерживает только дисциплина. Пока они в отряде.— Капитан облизывает пересохшие губы.— Слишком многого вы хотите. Их либо шлепнут еще до завтрашнего дня... либо они сами перестреляют полдеревни.

Майор почесывает щеку и ничего не говорит.

— То-то и оно,— подхватывает Пашковский.— Оставить здесь нескольких человек... теперь... это значит обречь их на смерть. Через час после нашего ухода их тут выкурят, как мышей из норы. Хотя бы для того, чтобы освободить своих папаш. Мы пленных с собой не возьмем, им оставим. И кроме того,— голос его после секундного колебания снова звучит тихо, спокойно, официально,— неизвестно, как они поведут себя с местными. Какие инструкции мы им можем дать?

Майор шумно складывает карту. Глаза у него полуприкрыты.

— Вопрос первый: кто? Кого же здесь, бляха-муха, оставить?

Капитан Вицек снова подходит к закопченной оконной дыре.

— Да, майор,— в его голосе звучит что-то похожее на скрытую иронию,— лучше не придумать! Прямо из ковбойского фильма. Одинокий блокгаз. Или... человек со звездой шерифа. Я бы еще понимал: окопаться... держать оборону. Пулемет — и жди выручки. Но поймите только... они не деревню будут защищать. Скорей уж от нее защищаться.

— Ох как пить хочется,— стонет майор.— Такие проблемы только под пиво решаются...— Он пытается собраться с мыслями, запихивая под ремень складки пропотевшего мундира.— Неужели и вам разъяснять то, о чем я говорил солдатам? Такая наша работа, капитан,

Здесь стрельбой не поможешь. Этими деревнями надо овладеть. Иначе сюда послали бы не нас, а авиацию.

И он как-то весь подобрался, словно приготовившись к выходу на сцену.

— Здешние места нужно очищать и ставить своих людей. Власти перебиты, милицейский участок сожжен — назначать новых людей, пока не пришлют замену. И делать все, что требуется. И дальше в том же духе, как ни в чем не бывало. Налет налетом, а мы здесь, мы остаемся. Мы — понимаете? Не я, не вы — а мы.

Капитан Вицек кивает головой, словно все это вполне естественно.

— С арестованными, без прикрытия, без связи, в этом лесу и один на один со всей этой компанией,— он обводит рукой вокруг,— вот это я понимаю. Это власть.

— Милый мой,— вздыхает Пашковский,— а где здесь иначе?

Майор ничего не отвечает, только думает, и косая морщинка между небольшими глазками сплющивает с одной стороны его бульдожье лицо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— На пле-е-чо! Рота-а-а...— раздается тихая команда, приглушенная шлепком рук о затворы и скрипом песка под сапогами. Сзади, среди вздохов и сморканья, слышен шорох многочисленных ног, шелест юбок. Тишина теплого предвечернего часа заполняет прямоугольник лугов и равнину, замкнутую с трех сторон синим лесом. Все это неподвижно, накалено дневной жарой, которая после обеда как будто спáла, перейдя в мягкие слои замершего тепла, заполнив, точно застоявшаяся лужа, эту впадину между опушкой бора и желтым вздутым шрамом песка, возвышающегося над линией строений. Вкус воздуха и прикосновение тишины, как будто той же самой, меняются вместе с окраской пейзажа, видимого из-под прищуренных век, из-под края матовых касок, низко надвинутых на лоб. Уже угасла искристая игра воды на перекатах Ленга, а среди низины с густыми травами, там, где Гнилка своими излучинами заполняет всю середину равнины, посинели верхушки ольхи, сосновая каемка леса налилась голубизной, точно панцирная скор-

лупа навозного жука, растоптанного на лесной тропке. Песчаные проплешины на склонах побелели и поблекли, впитав в себя весь зной, всю пыль и все дожди лета. А прозрачный пар висит над пустотой болот, между мостками и дорогой к усадьбе лесника, и в низине, за пожарищем, до самой скошенной рамы плотных сосен, куда нырял песчаный тракт, когда солдаты шли из Жолыни. Складка леса уже подчернена полосами теней, которые впились своими неровными жалами в морщинистую опушку. Каждое дерево опирается на свою тень, обретая глубину и барельефный контур, тополя на изгибе дороги и кусты ольхи над рекой, заросший прямоугольник кладбища, даже сожженные дома бросают к ногам сетку голых стропил. Со спадом жары краски обретают сочность, точно их увлажнили мокрой кистью. Солнце спустилось ниже, оно теперь сосредоточивает свет, и он уже не вездесущ, а имеет определенное направление. В этой тишине, мягкой и разноцветной, траурная процессия, движущаяся от дома ксендза, кажется заблудившейся на ничьей земле, посреди играющей бликами блаженной лени. Вечный покой трудно сочетается с пресыщенностью дня, клонящегося к безмятежности и вечернему оживлению, которое должно наступить, преодолев июльский зной, трудно сочетается с животворной облегченностью вечера. Но сейчас это лишь предвестие, пыль и жара все еще столковываются с ароматом щавеля и клевера, со скрытым дыханием росы и тени. Процессия выходит из широко раскрытых ворот, сосредоточенно выстраиваясь и растягиваясь по пустой дороге к площади, мимо закопченных стен, под култышками обугленных вязов, сворачивает влево, в зеленый туннель проселка и — в поле, к песчаным отмелям, к краю нового кладбища, к свежевыкопанному последнему пристанищу. Впереди капитан Вицек, во главе почетного караула — этой струи матовых касок, мерно колышущихся под ощетинившейся бороной стволов. Мерная поступь солдат поднимает завесу пыли, отделяя капитана белесым облаком от гражданской части процессии. Из-за этой гряды возносится хоругвь, черная, свисающая с поперечины, как траурное платье на вешалке. Ее несет старый Гуща, засунув древко за широкую перевязь через плечо. Белый череп и скрещенные кости плывут в небе извечным символом пиратов, инквизиции, «черных сотен», «гонве-

дов смерти»[1] и гестапо, удивительно театрально выглядящим за колонной солдат и зловеще на фоне обгоревших стен. Впереди хоругви большелобый служка, торжественный, в куцем стихаре, сосредоточенно несет в вытянутых руках крест, а за ним ксендз Снитко, в сдвинутой шапочке, в черной ризе, спотыкается, не отрывая глаз от страниц требника. Серебристая белизна и матовая чернь задают тон в этой процессии, свежие гробовые доски, плывущие над головами, и чернота траурных одежд, сборчатых юбок и платков и широких запыленных брюк тех немногих мужчин, что шагают здесь. И еще зелень выгоревших мундиров, малозаметная на фоне растительности; загорелые лица под горшками касок, сгорбленные плечи, на которых плывут ящики. Эти мужицко-воинские похороны, столь двойственного и противоречивого характера, растянулись в клубах пыли, в пустоте травянистой межи; то мелькнет отблеск оружия в мерно колышущейся колонне, то надвинется черным прямоугольником хоругвь под торопливое шарканье семенящих вдов. Только гробы на плечах солдат плывут сомкнутым строем, как плоская змея из деревянных сегментов,— это какое-то странное снаряжение или понтоны, которые несут к переправе. На площади и в переулках ни души. Все близкие тех, кого провожают в последний путь, здесь, в немногочисленной процессии, или их вообще нет в деревне, остальные держатся в отдалении, притаившись за мертвыми окнами, вызывающе, но и не без опаски подчеркивая свою отстраненность от обряда, само участие в котором уже является в какой-то степени демонстрацией кратковременной солидарности с жертвами. И поди знай, не больше ли, чем встречи с замученными, опасаются столкнуться они с живыми, вдовами и детьми. А может, просто боятся солдат, какой-нибудь хитроумной ловушки, которую те подготовили на время похорон. Ведь дело-то еще не сделано, и эта церемония лишь один из эпизодов игры между живущими, игры — и они знают об этом,— не прекращавшейся ни на миг. Ничто здесь не кончилось и ничто не начинается сызнова. Даже краткий миг, исполненный метафизики, сопричастный вечности, создает такое положение, когда надо глядеть в оба. Оружие, металлическое, сверкающее, глаза

[1] Фашистская организация в хортистской Венгрии.

и руки чужих людей, запах потных мундиров имеют вполне определенное значение, даже если их осеняет крест и торжественность латыни. И они предпочитают не вмешиваться, как говорили и на следствии, ведомые инстинктом, возводя трюки своей нечистой совести в целое мировоззрение. А может, были в процессии и соучастники убийства, провожающие тела своих жертв, хитрые и настороженные, уверенные в своей безнаказанности, упивающиеся самим фактом своего присутствия и всей двусмысленностью, которую приобрел традиционный обряд похорон. Трудно это заметить, трудно распознать — слишком многолика и слишком многосмысленна эта процессия в безлюдной тиши, на закате дня, после пароксизма братоубийственной резни. Тупое отчаяние от того, что так завершилось, зверски и душераздирающе,— в глазах подавленных матерей, Пачесняковой и Лосюковой, в ошеломлении Курылы. Ужас, связанный с тем, что дело до того дошло и такие приняло формы то, что — кто знает? — было, может быть, и неизбежно. И еще минута беспомощности: чем теперь отплатить за потерю — ведь равной меры этому нет? И страх, что вот и конец, что смерти их ничто не уравновесит, а пустая церемония никак не окупит того, что случилось. Потому что ни черная риза, ни мерный шаг солдат не успокоят и не убедят в том, что кошмарный финал оправдан соображениями высшего порядка. И потому рядом с ними боязнь и напряженная неуверенность в еще не разрешившемся деле. Это чужие солдаты, которые пришли сюда карать, и неизвестно, какую меру возмездия они принесли, а пока что они тут, пока что они являют силу, беспомощную, ведь это видно, но неумолимую, и, покуда они тут, надо пережидать, обдумывая каждое слово, и быть готовым ко всему. Сегодня тут эти, а завтра придут те. Сами заварили кашу, теперь вот и расплачиваются. Напряженная тишина сопровождает процессию, ее можно угадать за каждым окном, в каждом переулке и закоулке, солдаты чувствуют скрытые взгляды, ощупывающие их спины. Это не настоящая пустота, не настоящее молчание — солдат сопровождает ненависть и замешательство, страх и неуверенность, сочувствие и неприязнь. Словно продираются они сквозь невидимый строй, сквозь стену ядовитого тумана, сквозь испарения напряженного дыхания. Одиночество здесь — не одиночество и тиши-

на — не тишина. Они среди людей, отделенные от них пустотой; но эта процессия — пробуждающий совесть колокол, во что-то он должен ударить, не попадет ли он в пустоту, вызовет ли он отголосок?

Капитана Вицека, шагающего впереди роты, несколько смущают хоругвь и крест за спиной — не та это процессия, к которым он привык. Проходя мимо дырявых стен школы и безлюдных крестьянских дворов, он невольно вглядывается, вслушивается, как в дозоре, гадая, что там может быть за углом, с кем столкнутся через минуту. Он чувствует это скрытое напряжение, а затаенная тишина и сознание того, что за ними наблюдают, только усиливают в нем настороженность. Вот они проходят мимо усадьбы Пайды, и в чистых стеклах окна, как в темном зеркале, он видит деформированное отражение своей собственной фигуры. С изумлением узнает он себя, точно видит двойника. И он даже приостановился, глядя, как в окне проплывают силуэты солдат. Солнце подсвечивает этот экран, и капитан провожает взглядом очередные волны мундиров, через равные интервалы наполняющие окна, которые напоминают слепые зеркала или стекла очков, скрывающих чей-то взгляд с той стороны. Окно передает окну эту ленту призрачных пехотинцев, капитан даже поворачивает голову, чтобы окинуть взглядом колонну. Лица людей угрюмы, губы сжаты, и цвета корицы их опаленные щеки. Время от времени взгляд в сторону, взгляд, который не сулит ничего доброго. Кто-то что-то шепчет, кто-то вздохнет или шмыгнет носом. Сзади слышен голос ксендза, приглушенный тяжелым топотом сапог.

— De profundis clamavi ad Te, Domine, Domine, audi vocem meam![1] — тянет он высоким речитативом.

Обрывки похоронного песнопения то возносятся над головами идущих, опережая колонну, пыль, поднимаемую сапогами, и тихое поскрипывание оружия, словно струйки напевного дыма или сигнал, время от времени достигающий невидимых ушей, скрытых где-то в глубине минуемых дворов, то снова замирают, будто ксендз бормочет про себя, сам с собой ведет непонятный диалог. Ксендз Снитко выглядит так же, как несколько часов назад, когда с ним разговаривал Пашковский. Лицо та-

---

[1] Из глубины взываю к тебе, господи, услышь голос мой! (лат.)

кое же набрякшее, неосмысленное, взъерошенные волосы комично торчат из-под шапочки, слипшиеся и потные, словно кто-то вопреки его воле обрядил его, силой выгнал под это голое солнце для свершения церемонии из тихого и безопасного укрытия, где он мог ничего не делать. Только это торжественное облачение, стихарь и бархатная риза, накинутые на плечи подавленного человека, придает ему нарочитую броскость, еще больше контрастирующую с его надломом, с его психической неподготовленностью. И вот так, наспех облаченный, он идет, словно по раскаленным углям, с трудом удерживая голос на грани, готовый вот-вот дрогнуть и сорваться. Неосознанно влившись в колонну, он шагает, не замечая дороги, точно невидимые люди впереди и сзади волокут его на аркане. Он то и дело спотыкается и сбивается с ритма, и лишь навык сельского человека, привыкшего к бездорожью, направляет его ноги в слишком больших армейских ботинках. Ни на секунду он не отрывает взгляда от требника. Путаясь в готическом шрифте, он машинально перекладывает поблекшие закладки; страницы эти, словно ширма, должны оградить его от участия в том, что происходит вокруг. С трудом он возносит голос, дрожащий и пронзительный, как будто лишь благодаря этим звукам из сдавленной гортани и литургическому тексту может он вознестись над охватившим его страхом и хаосом, уйти от грозящего ему обморока. Но он хорошо знает, что должен идти сам, никем не поддерживаемый.

— Misere mei, Deus, secundum magnam misericordiam Tuam, multitudine miserationum Tuarum dele iniquitatem meam [1].

За гробами, качающимися на плечах солдат, в группе заплаканных женщин идут майор с Пашковским и Курылой. Здесь трудно удержать какой-либо порядок: как смешались гробы, все похожие — не распознать, так и участники похорон стали вдруг одной семьей, отгороженные шершавыми досками от того, что вчера их разделяло. Общая смерть определила их однозначно, они теперь уже одна сторона в этом кровавом споре, который

---

[1] Помилуй меня, боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня (лат.).

еще вчера казался слишком запутанным. Они пока не до конца это сознают, это видит молчащий майор, они еще не уловили, что уже все решено за них. Майор развеял все сомнения Пашковского. «С ксендзом или с почетным караулом, по-церковному или по-нашему — не все ли равно, не то же ли самое?» Поэтому и провожает ксендз Снитко в последний путь Ренкаса, от которого сам же и уберегал прихожан и предостерегал малых сих, молится он и за Лосюка и старого Курылу, а солдатский шаг и сверкание винтовок должны смягчить скорбь Пачесняковой, почтить смерть Моленды и Кайтоха. Сначала они еще пробивались каждый к своему гробу, обескураженные этой нивелировкой их родственных и гражданских связей. Где-то в глубине души они обвиняли друг друга, смотрели один на другого с гневом и укором, словно один покойник был виновен в смерти другого. Но по сути-то дела, словно милосердия, жаждали они объяснения, отчего так случилось,— и все, что выходило за рамки их представлений о ценностях, превращало частный вопрос в проблему универсальную во всех измерениях, а оказываемые почести придавали всеобщность этому горю, которое для каждого в отдельности было безутешным. Сложность в уразумении несправедливой утраты делала ее возвышенной; непонятная, она достигала предельного уровня, становилась еще почетнее, еще подлиннее. Что же можно было сделать для этих людей, как не расширить аспект несчастья, вознести его над обычным, всегда ограниченным пониманием? И хотя каждая из вдов хотела бы видеть эти похороны по-своему — как их видели бы те, кто за свои мысли уже заплатил самой высокой ценой,— тут на какое-то время объединились вдовьи сердца перед величием неотвратимого, исполнясь почтением перед тем конечным, что заключает жизнь.

Майор и капитан с непокрытыми головами сопровождают Курылу, который идет один (мать все еще в беспамятстве), он более отчужденный из-за того, что на нем мундир. Идет он выпрямясь, словно собрал силы и взял себя в руки, в его налившихся кровью глазах появился новый, суровый блеск, чуждый тому прежнему обычному взгляду, теперь он более осмысленный. Его опухшее лицо все так же неподвижно, но он понимает, в каком обряде участвует: раз уж принимает участие в обще-

ственном мероприятии и подвергается общественному контролю, то и ведет себя так, как на службе,— он суров и собран. С близкого расстояния никто и не заметит, что с ним. Он идет между майором и капитаном, у него почти нормальный вид, и солдат это даже тревожит. Только вот шагает он неестественно твердо, как будто тот чужой, некто, сверкающий взглядом из его глаз, вставил в его суставы железные протезы, да губы запеклись. Бдительный майор внимательно поглядывал на него, а Костек шел и считал проплывающие мимо дворы, провожая глазами каждую хату, точно желал запомнить их навсегда и внести в какой-то свой реестр, который он словно проверял и составлял заново. Майору это не понравилось. Далекий от религиозности, он тем не менее был настороженэтими неуместными штрихами в поведении сержанта, ощущаемыми им лишь интуитивно, как неуловимый тон в знакомом голосе близкого человека. Стыдно сказать, но майор был неописуемо смущен этим. Он дорого бы дал, чтобы узнать, о чем думает сержант в эту минуту. Если Костек пробудился и теперь уже не такой, как час назад, значит, сводит в уме такие страшные счеты, окончательных итогов которых не мог знать никто, кроме него самого. Майор, опасавшийся ранее, что Костек просто сломается, теперь чувствовал тревогу другого рода. Это была не та реакция, которую он мог одобрить, и не те чувства, которые надлежит испытывать во время похорон. А уж когда проходили мимо дома Пайды, Костек всматривался в окна с такой зловещей одержимостью, что даже обернулся и взглядом проводил мертвые стекла, светящиеся свинцовой глубиной. Неужели забыл, за чьим он гробом идет? Майор не мог многого понять, не знал он взаимоотношений в этой деревне. Здешних людей он поделил на погорельцев и убитых, на невредимых и незнакомых, кого нет на похоронах или которые сидят под замком. А была еще остальная масса, безымянная и безликая, с которой-то и было больше всего забот. Но подобного главного деления не отражали встречающиеся на пути крестьянские хаты, и поэтому реакция Курылы, его блуждающий напряженный взгляд были многозначительны и наводили на размышления. Исступленность его взгляда вызывала и жалость и страх. Майор видел, как на лице Костека, вглядывавшегося в

молчащие окна, напрягаются мышцы, как с усилием движется кадык.

— ...Libera me a poena sanguinis, Deus, Deus, Salvator meus [1],— звучит одинокий, дрожащий голос ксендза.

Вплотную за последним гробом идет Пачеснякова. Ее высохшее, одичалое лицо, спрятанное в остром вырезе платка, залитое слезами, отражает лучи солнца. Не поддерживаемая никем женщина заходится рыданиями, с упорством и стойкостью владея собой в эту самую важную минуту. Это она более всего соответствует содержанию и форме обряда. Можно подумать, что вся жизнь подготавливала ее к такому дню. Стоило замереть в ее горле рыданию, как уже заупокойное песнопение само срывалось с ее губ. Она участвовала в этой церемонии с рвением и одержимостью, задавая тон всему происходящему, исполняя в нем главную роль и одновременно руководя им.

Сразу же за ней следует Лосюкова, которую ведут под руки дочери. Она идет с трудом, лицо у нее каменное и суровое. Анеля и Франка, занятые матерью, время от времени поднимают глаза и тогда видят плоские крышки гробов, уплывающих в солнечный горизонт. Только солнце и тишина полей, и ничего не видно за глыбами гробов, которые провожает привычный звон жаворонка. Жена Сташека — Пелася — нервно подкидывает ребенка, в минуты тишины слышен его плач, и тогда Дзида, босой и сгорбленный, идущий с другой стороны дороги, устремляет на него испуганные глаза, как будто в приступе страха вспомнив что-то. За ними идет низенькая Ренкасова, рядом с которой плетется Бендик со своей Хелькой. Идет и тот самый свояк Гущи, который помогал утром опознавать тела, и еще несколько всхлипывающих баб. Процессия небольшая. Ее замыкает рослая фигура лесника Маштеляжа, который шагает в некотором отдалении, его рыжеватая голова обнажена, усы обвисли, ступает он тяжелым шагом, переваливаясь, ноги у него заплетаются. Фарфоровое лицо его не выражает никаких чувств. Когда проходят последние строения и сворачивают на полевую дорогу, которая ведет на зады кладбища, лесник, все время идущий с поникшей голо-

---

[1] Избавь меня от кровей, боже, боже спасения моего (лат.).

вой, слышит, как кто-то его догоняет. Межой, по другой стороне колеи, бредет какая-то девушка. Он медленно оборачивается, щуря глаза от сгустившегося солнца, и узнает ее, даже не глядя. Он знает этот взгляд и гибкую фигурку, не раз по ночам появлялась она в дверях лесной сторожки. Это Регина, по самые заплаканные глаза укутанная в черный платок.

Широкая рама леса голубеет, свет, рассеянный над лугами, приобретает более теплые тона, золотя травы, сереющие в перламутровой дали. Ясени и вязы застывают неподвижно, словно одурманенные запахом мяты. Извилистые полосы ольховника цепенеют под белизной березок, испещренные кое-где серебристым подбоем тополей и трепетом осиновых листьев. Зелень расслаивается по всей гамме, и меняющиеся ее полосы контрастируют между собой: от изумруда до темной синевы. Поля кажутся пустыми, если смотреть на них против стекленеющего солнца. А по меже ползет черная вереница человеческих фигурок, придавленных продолговатыми черточками гробов, словно вытеребленный ряд суслонов. Медленно ползут они, напоминая гусеницу, впитываются в желтые песчаные отмели. Черная хоругвь плывет не дрогнув, а солдаты дергаются, как муравьи, нагруженные стеблями травы. Так это выглядит от костела и так должно выглядеть с верхушки колоколенки, просвечивающей, как замочная скважина. Дед Пачесняк напрасно дергает веревку колокола, повисая на ней своим тщедушным телом. Испокон веку здесь хоронили покойников с колокольным звоном, даже при немцах удалось сохранить колокол. Теперь же дед, ничего не помня, дергает за узлы веревку, вырывающуюся из рук, забыл он, что сам колокол лежит разбитый посреди развороченной колокольни. Оголенный язык колокола — сердце колокола — не попадает по бронзовой чаше, бьется в пустоте, не вызывая эха. Один лишь раз ударил в обломок металла, и тот загудел продолжительно и высоко. Старик даже вздрогнул от этого металлического стона, неожиданно поплывшего над полями. А потом колокол молчал, и дед напрасно дергал за веревку. Он ничего не мог понять и только с ужасом подумал, что совсем оглох. Тишина сопровождала эти похороны средь теплых лугов,— тишина такая полная, что казалась неправдоподобной.

В погребе милицейского участка, куда капитан Пашковский приказал запереть задержанных, было темно, пахло гарью и гнилой картошкой. Ноги скользили по картофельной гнили, путались в прелом тряпье. Единственное оконце, скорее, сломанная форточка, перекрытая двумя вертикальными железными прутьями, выходило во двор. Оттуда падал суженный столб света, расплющиваясь о ржавые обручи, гнилые очистки и угольную крошку. Прутья в окне расщепляли свет на три полосы.

В оконце видны были ботинки часового. Первым звуком снаружи, который проник сюда после долгой тишины, был пугливый стон разбитого колокола. И они не могли понять, откуда этот металлический звон в набрякшей тишине пополудня. И долго еще отдавалось его эхо в их настороженных ушах.

— Слышите? Что это? — встрепенулся первым Стоберский.

— Тсс-с! — цыкнул Пайда, и долгую минуту они напряженно вслушивались.

Но после этого одиночного стона снова длилась тишина и звенело в ушах. И тем дольше тянулось эхо.

— Вроде как колокол... или тревога какая,— пробормотал Янус.

— Да что ты, колокол же разбит,— заметил Стоберский.— Наверное, кто-то не знал и попробовал зазвонить. Должно, хоронят их. Ну и разит же от тебя денатуратом...— И он с отвращением отодвинулся от Януса, сидящего в темноте рядом с ним.

— Хворый я. С постели вытащили,— пробурчал, оправдываясь, Алоиз. Теперь он и в самом деле чувствовал себя больным.

— Да как же так, неужто, думаете, по-церковному хоронят? — усомнился Пайда, скручивая цигарку и слюня оба ее конца.— Они?

Однако сомнения отпали, так как издалека донесся голос ксендза.

— Гляди-ка, и ксендз коммунистов провожает,— почмокал губами Стоберский.

Не до разговоров им было, сначала и вовсе не по себе, еще не прошел страх, которого они натерпелись там, на площади, в кольце солдат. Та минута страха, когда думалось, что вот и конец, разделила их, и теперь они стыдились друг друга. Но тишина и заточение, немая

общность неопределенной судьбы снова связали и объединили их. Чувствуя в этом что-то вроде принудительного выявления своих сокровенных и тщательно скрываемых мыслей, каждый с тем большим упрямством боролся с невольной тягой выговориться. Однако положение у всех было одинаковое. Надо держаться и ждать, что будет.

— А-а... Какие там они коммунисты,— подхватил Пайда, выкресав наконец огонь из своей зажигалки.— Ренкас или Лосюк — это известно. Щепан тоже большевик был. А остальные — так, требуха...

— Ты глянь... и ксендз с ними пошел.

— А что ему делать, если велят! Со вчерашнего дня под себя ходит.— И, помолчав, добавил: — Такая уж его поповская доля. А вчера ребята говорили, что Гетман к исповеди ходил.

Стоберский беспокойно поерзал.

— Щепанек и Стах в костел ходили.

Пайда буркнул:

— Выслужиться захотели, сучьи дети. Ну и дослужились. А как придет каюк, все перед богом предстанут.

Голос ксендза Снитко таял в отдалении. Помолчали минуту, и только слышно было, как бормочут молитву. «Вечный покой подай им, господи...» — шептал Стоберский, держа на коленях засаленную шляпу. Когда он вынырнул из темноты в столб света из окошка, глаза у него были закрыты и лицо торжественное. «И сотвори им вечную память. Аминь»,— истово перекрестился Пайда. Алоиз вздыхал и охал в темноте. Мерно вспыхивал огонек цигарки. Снова воцарилась такая тишина, что, казалось, даже сюда долетает тонкое пение жаворонка.

— А знаете, что там ни есть, а жалко мужиков,— вздохнул Стоберский.— Вот так всяк кончит, кто против своих идет.

— Сами нарывались,— беззлобно сказал Пайда.— По-христиански-то каждого жалко. Только разве не сами они лезли на рожон? Прямо руки тряслись, так им хотелось власти — слюна вожжей.

— Все одно жить с ними мочи не было,— шепотом произнес Янус.— При немцах, как ни крути, каждый своих держался. Конечно, всякое вытворяли, но уж понятно — с врагом бились, как полякам положено. А потом

что? Как только все повернулось, так на своих же братьев пошли.

— Иуды,— добавил Пайда.— И кому мстить затеяли? Тем, кто еще вчера в лесах кровь свою проливал. Кто шесть лет оружия из рук не выпускал. Что они, ради себя рисковали?..

— У Бобжицкого-то голова все же работала,— заметил Стоберский из темноты.— И у старого Лосюка тоже. Ходили по деревне, пытались как-то поладить. А хуже всех Ренкас был. И Курыло ему не уступал...

— Бобжицкий, как с фронта вернулся, что-то еще смекнул. Говорят, и американцев видел. Я так полагаю, что он понимал ребят. Сколько раз хотел с нашими встретиться. Мне Маштеляж говорил, пробовал с ними повидаться. Но ведь он военный, обязан был слушать, что Ренкас велит. А тот — пепеэровец заядлый...

— Уж в могиле они...— тихо заметил Янус.

Все замолкли. Они не видели лиц друг друа. В светлом триптихе окна по-прежнему торчали ботинки часового, время от времени переступавшего с ноги на ногу. Тут, в подвале, прохладно и сумрачно, хотя и попахивает, а там жара донимает.

— Помнишь, как Лосюка урезонивали подальше от коммунистов держаться,— вздохнул Стоберский,— не мужицкое это дело в хомут голову совать. Две ночи пили с ним как с человеком, объясняли: придет Польша, будет и реформа. А Советы что? Только пыль в глаза пускают. Вроде как землю дают, чтобы мужицкими руками колхозы понаделать. Нет уж, коли раз хозяина потеряет, потом ничья станет. Дураки, кто верят, будто надолго им дадут.

— Не свое отдать легко. И обратно взять легко, раз уж от них получили,— поддакнул Алоиз.

— В правительстве-то Миколайчик. За него должны бы держаться.

— А он там сам по себе. Знает... и ждет.

— А ты помнишь, Бернард что на это? Одно что свое... Панское войско меня не греет. И ты мне про своего Коршуна не далдонь. Кто тут за мужицкую Польшу бьется? Ренкас с Бартошем и Курыло. Одно что Бартош да Бартош. Сколько же они навоевали, сколько людей потеряли, и как только им мужики верят. А то, что с русскими, что оружие от них получают? «От них берем,—

говорит,— и будем брать, потому что дают... а не торгуют нашей кровью и муками». Помнишь? Только и свету в окне, что Бартош. А как выпил, давай плакать, вспоминать, как всю семью Ренкасову немцы замордовали. Все повторял: «Вовек им не забуду». И про операцию в Красницком повяте — когда евреев отбивали, и в Жечице, и в Яновских лесах. «Они все потеряли,— кричал,— и показали, кто мужика защищает. Я с ними буду,— кричал,— никогда не брошу. Таким, что за нас все потеряли, можно доверять...»

— А Щепан ведь не торговался... не отпирался, будто ни о каком оружии не знает,— буркнул Пайда.— Зенек первым докумекал, что Костек что-то темнит... Вот и вышло, что и впрямь голову морочил. Старик-то для Бартоша оружие берег.

Янус вздохнул:

— И всегда они такие были.

Стоберский заворочался в темноте.

— А ведь нравился тебе Костек, Виток этот. И с Региной он твоей гулял. И Зенека спас в Важехах.

Пайда выпрямился.

— А потом что? Ты мне лучше не говори об этом сукином сыне...— И угрюмо добавил: — Я уж готов был и поверить им.

Все снова почувствовали себя как на поминках.

— А ведь со Щепаном вы всю жизнь были приятелями,— прохрипел Янус.

И в ответ услышал:

— Неплохой был человек. Только что дурак.

— А теперь вот одни вдовы остались. Каково-то им будет?..

Стоберский долбил свое:

— Всю жизнь со своими были. Стало быть, ждали. А уж потом как с цепи сорвались. Ведь Лосюку-то первому попало, когда у них Сташека в Люблин забрали. Собственного сына загубил.

— Тогда и показали, что они за люди. Просчитались. Даже свои верить им перестали. Всех бы выдали. И наших ребят тоже.

— Да будет им земля пухом.

Помолчали. Только слышен был шепот: «Прости им, господи». Янус неспокойно заерзал.

— А что будет с молодым Курылой? Кто его здесь ждал? Уж он-то так не спустит.

— Думаешь, тут останется? — усомнился Стоберский. Ведь он же в армии. Уйдет в погоню за «лесными».

Пайда помолчал.

— За ним глаз да глаз нужен. Ты прав. От него больше всего вреда жди. Уж он-то пойдет шерстить.

— И на кой черт его принесло! Нашел время.

— Вы, мужики, глядите. Они отсюда все одно уйдут. Облаву задумали. А Гетман их...

Пайда цыкнул.

— Ш-ш-ш... И имени этого не вспоминай.— Белки его глаз сверкнули в сторону окна. Ноги солдата стояли неподвижно.

Все осеклись и настороженно ждали, что будет дальше. Тишина тянулась растянутыми минутами. Столб света перемещался, расплющиваясь между ногами на полу. Влетела оса и громко загудела.

И вдруг все вскочили. Снаружи грохнул неожиданный залп. Со стороны леса ответило размазанное эхо.

— Стреляют...— встрепенулся Янус.

Пайда утишил их.

— Это с кладбища. В их честь стреляют.

Ну конечно же. Единственный отзвук похорон, который докатился наконец сюда, до этой зловонной ямы.

Посинели деревья и травы, сероватый пепел усыпал поля, золотистое и помутневшее солнце повисло над самой стеной песков, словно желток, разболтанный в молоке. Все здесь мерцало от золотого праха и впитывалось в голубоватую промокашку; заблестела роса, застекленилась паутина, лиловые полосы сумерек повисли над бором. Гробы опустили на ремнях, сцепленных пряжками, ободрав ими доски на днище; еще рвались из рук рыдающие бабы, когда глухие удары земли, равномерно бросаемой лопатами, заглушили их истерические причитания мертвенным механическим шумом. Молча возвращались по меже в деревню, не зная, что сказать заплаканным родственникам. Майор отсоветовал Пашковскому произносить речь, хотя капитан счел это грубой политической ошибкой. Костек возвращался со своей ротой, замкнутый и задумчивый.

...Теперь ты будешь лежать здесь, батя, под этой толстой периной из песка и дерна, в этом ящике, худо выструганном, в спешке, близко от деревни, у своих. Ты так хотел, батя, и никогда не думал, чтобы в каком другом месте, только на этой излучине, в сосновом лесу, у песчаной дороги, в зарослях ветреницы, среди болот и прудов, на месте вырубки, где шумит речка, плывущая лугами, у развилки дорог из Жолыни, Жечицы и Хуциск, в той стороне, где Бонча, Майдан, Буды и Хожели; одно звучание этих названий — уже дом родной, это и есть отчизна, где прожил ты свои шестьдесят лет, с царско-австрийских времен и до ППР, это был твой мир, батя — ведь иного ты и не знал,— значит, здесь, как думал и как наверняка бы хотел, если бы тебя спросили, только не теперь, не в эту пору, когда все плохое осталось позади, когда ты ожил, старик мой дорогой, и когда ты ждал меня; наверно, так и думал: может, завтра, только не сейчас и не так... Хорошо хоть, что место тебе нравится. Замучили тебя, батя, теперь ты отдохнешь. Будешь покоиться со своей грыжей от тяжелых мешков, и усы твои седые, как перо у трясогузки, и тело твое худое, плохо кормленное, и юркость твоя неугомонная, и степенность умного человека. И не один ты здесь лежишь — с Ренкасом и Лосюком, с Бобжицким и тихим Молендой, даже с молодыми парнями, с Щепанеком и Стахом, где бы ты нашел лучшую компанию? Самые порядочные люди в Липинах, а ведь мир — это люди, с которыми человек живет, все будет пусто, если с людьми не связано. А о матери я уж побеспокоюсь, батя, не волнуйся — а все остальное, что здесь осталось... Жалко, что ты унес с собой такую безотрадную картину, зато легче было тебе уйти; ты уж не тужи об этом, я здесь останусь. Того, что тут есть, я так не оставлю ради вас, бедняги, чтобы вам спокойней лежалось. Сам займусь этим, пока все не будет, как надо. Вечный тебе покой, батя...

И росла в нем решимость, хладнокровная готовность ко всему, хотя и не знал он еще, с чем столкнется и что его ждет, одно сознавал — долг свой.

— И всегда так делается...— прервал дискуссию майор, хлопнув фуражкой о колено и выпятив при этом губы так, будто собирался выплюнуть волос или какую-то дру-

гую пакость, которая попала в рот. Затем вынул зеленый платок и вытер пот, щекочущий толстые складки шеи. Приподнятая бровь и прищуренный глаз вновь придали его лицу насмешливо-снисходительное выражение, хитрое, выводящее из себя собеседника, потому что он как будто уже предвидел его реакцию.— Налет и нырок назад. Пока есть возможность маневра. Уж будто,— продолжал он тем же тоном,— у него здесь нет своих глаз и ушей? Донесение из Хуциск пришло позже... Торопится, подлец, быстро действует...

— Если мы только хоронить будем...— возвращался к своему капитан.

— А вы, мамочка, не будьте ребенком...— хрипло сказал майор, издевательски щуря глаз,— так мой начальник говаривал. Это не сиюминутные вопросы. Сажать потом будете, когда сделаем то, что можем сделать сейчас: очистим леса и обеспечим порядок. А вам бы только их утешить! Может, на такой манер? — он тяжело, как бегемот, повернулся на стуле и, не глядя, ткнул пальцем в пожелтевший плакат на стене: «Мать, пусти сражаться сына, он напишет из Берлина». Здорово, а? Приезжайте в Сорренто! Открыточка вместо сыночка. Речь вместо отца.

— Шутите, товарищ майор...

— Шучу, конечно. Но не намерен ограничиться одними шуточками.— На дворе гудели запускаемые моторы. Покрикивал Лапот. Связисты сматывали кабель. Майор Гжибовский подался вперед так, что широкий живот его растекся по столу. Лицо его оказалось напротив лица Пашковского. Растопыренные пальцы обеих рук вцепились в край стола.— Так что же? — глухо спросил он.— Лучше посоветуйте кого?..— Он выпрямился и отдернул выдвинутую вперед челюсть, отчего нижняя губа касалась кончика носа.— Я, например, не знаю.

С минуту он раздраженно и растерянно сопел. Побарабанил толстыми пальцами по коленке.

— Трое арестованных,— сказал Пашковский.— И ксендз на подозрении. Был с ними в контакте. Знает много...

Майор поднял веки и стал вглядываться в голубые глаза капитана, будто впервые его увидел.

— Трое,— фыркнул он.— Случайно сцапанных. Да полно вам! Ха, ха, ха... Трое! А сколько во всей деревне

таких еще найдется?! Дело не в вашем подвале, а,— он повел рукой,— во всей округе. С этим нам не управиться. Разве только вы захотели бы остаться, капитан? А кто еще?

В дверях появился капитан Вицек. Его темная фигура заполнила проем двери. На мрачном и загорелом лице капитана сверкали белки.

— Рота готова, товарищ майор.

— Боевое охранение на полкилометра от головы колонны. Выступаем через пятнадцать минут, от усадьбы лесника. Радиста во взвод разведки. Что там еще?

Капитан Вицек посторонился. На пороге показался Курыло. За окном бухали сапоги, ревели автомашины. Золотистый свет полуденного солнца то и дело мигал, заслоняемый фигурами солдат. Неожиданный свежий предвечерний порыв ветра зашуршал сквозняком в развалинах.

— Товарищ майор... докладывает сержант Курыло... Насчет просьбы остаться в деревне.

— А? — повернулся к нему майор.— Что ты сказал? Капитан Пашковский резко обернулся.

Курыло шагнул на середину комнаты. Он стоял в полосе света, падающего из окна, и все видели его лицо. Оно было спокойным и суровым.

— Прошу разрешения остаться здесь.— Потом добавил, как будто вспомнив что-то: — Отряд уходит, а кому-то остаться надо. Вы искали добровольцев, товарищ майор. Капитан Вицек говорил. Я должен остаться.

Майор Гжибовский быстро вскочил, сделал два шага в его сторону и остановился, раскорячась.

— Ты?

— Так точно, товарищ майор. Я.

Искривленное лицо майора, прищуренный глаз и нервный тик, подергивающий вскинутой бровью, могли рассмешить любого постороннего зрителя. Он пытливо вглядывался в напряженные черты сержанта, которые, не утратив тяжеловатости и грубых контуров, да еще с примесью жестокости, были как будто промыты холодным светом решимости, столь убедительной и непоколебимой, что взгляд соскальзывал с них. Этот человек принял решение. Ничьей воле уже не удалось бы установить с ним контакт, он просто отмахнулся бы от нее. Майору вспомнился взгляд Курылы, когда они вме-

сте шли в похоронной процессии. Это напряженное, внимательное изучение придорожных усадеб, этот реестр, который он составлял как бы на будущее.

— Нет,— отрезал он.

Капитан Пашковский внимательно наблюдал за ними.

— Исключено,— повторил майор, возвращаясь на свое место за столом. Опущенные его плечи — а может, это только показалось Пашковскому — набухли горечью и разочарованием.

Курыло как будто не заметил реакции майора. Он говорил спокойным, чистым голосом, без обычной хрипотцы, с некоторым удивлением, что приходится растолковывать самоочевидную вещь:

— Товарищ майор, здесь никого не осталось. Отряду надо выступать. А ведь кто-то должен заменить убитых, создать милицейский пост. Без власти нельзя. Тогда это будет означать, что они выиграли.

— Из повята новых пришлют, из Жолыни.

— Так то чужие. Их опять перебьют. А до того, как пришлют... Товарищ майор, они здесь все время были. И остались до конца. А ведь могли бы скрыться.

Он помолчал, словно стесняясь, что приходится говорить об этом.

— Вот я, товарищ майор, и останусь тут. Вы же знаете, это моя деревня. Мы пришли сюда, когда они подумали, что нас здесь не будет. Пусть не думают так, ни минуты. Вы же видите, что здесь делается. Я знаю людей, обстановку, надо как-то это уладить. Я за эту деревню в ответе. Из наших... только я остался.

Голос его дрожал и затухал в конце каждой фразы, как будто он думал вслух или говорил с самим собой.

Майор, открыв рот и наморщив лоб, смотрел на него исподлобья. Пашковскому хотелось вмешаться, но он не мог решить, стоит ли.

— Ладно,— сказал командир и задумчиво опустил голову.— Но помни, Костек: чтобы никакой мести.

Курыло, по-прежнему стоявший навытяжку, легко качнулся с явным облегчением. Даже не двинулся, все еще стоял смирно, но теперь это был уже другой человек.

— Это дело не твое,— сказал майор уже помягче,— вот капитан свидетель, что я тебе сказал.

— Слушаюсь.

— Здесь ты один не останешься,— продолжал майор, вынимая из кармана коробок и закусывая спичку.— Это бессмысленно.

— Так точно.

— Вольно. И присаживайся.— Он бросил взгляд на капитана и снова на Костека.— Легко говорить «так точно». Откуда ты знаешь, что кто-то захочет с тобой тут остаться. Что мне, приказывать? Лучше, чтобы кто-нибудь добровольно решил.

Курыло присел на краешек лавки, но не так, чтобы уж слишком «вольно». Был он какой-то окостеневший, внутренне напряженный, они видели эту его грузность, следствие неимоверной усталости, принявшей, однако, форму нарочитой сдержанности. Майора охватила волна сочувствия, согревшая на миг его массивную тушу, но он тут же попытался преодолеть ее подчеркнутой деловитостью.

— А ты как считаешь? — обратился он к Костеку, нарушив субординацию.

— Так точно, товарищ майор. Лучше добровольно.

— А вы какого мнения, капитан?

— Разумеется. Полагаю то же самое...

Майор даже не дослушал его.

— Ну и ладно.— Он взглянул на выпуклый циферблат своих часов.— Времени у нас мало. Сам подберешь себе товарищей или...— Он оборвал фразу и спросил просто: — Двоих тебе хватит?

— Вполне,— буркнул Курыло, глядя на носки сапог.— Уж если...

Майор сделал вид, что не слышит.

— Ступай, обратись к капитану. Пусть задержит людей. И мне доложишь.

Костек направился к двери, отяжелевший, двигаясь опять как-то автоматически. Майор проводил его взглядом. Он что-то прикидывал, по привычке скривив губы.

— Ну, что вы на это скажете? — обратился он к капитану, словно с неохотой переходя к другим делам. И повернулся так, что скамья заскрипела.

Капитан Пашковский был возбужден. В его голубых, посветлевших глазах сверкало удовлетворение.

— Мировой парень! Нет, какой характер!..

Майор внимательно посмотрел на него. В сузившихся его глазах промелькнула ирония.

— Вас ведь заменил,— процедил он.— А я почти решил, что вы здесь останетесь.

— Я?! Вы понимаете, что говорите, майор...

— Понимаю,— прервал тот.— И знаю, что пришлось бы выделить вам сильное охранение. Если бы вы здесь остались вместо него, вы бы и двух дней не прожили. Вас застрелили бы сразу, при первом удобном случае. Вот был бы для них лакомый кусок. Понимаю ваш энтузиазм. А не думаете ли вы, что и его... что и этих людей мы, возможно, обрекаем на смерть?

На лице капитана Пашковского медленно выступил румянец.

— Вы подозреваете меня в трусости?..

И он подобрался, намереваясь встать. Он был до глубины души взбешен и уязвлен этим выпадом. Не привыкший к такого рода унижениям, капитан почувствовал, как все в нем напряглось.

— Нет, капитан,— сказал Жибовский, глядя на него исподлобья, и сделал движение рукой, словно успокаивая его и сажая на место.— Я не считаю вас трусливым человеком. Мы же знаем друг друга, почему я должен так считать? — И после паузы добавил задумчиво: — Только вы действуете в ином диапазоне. У вас иные обязанности. Пошире. А он,— и тут он взмахнул рукой на окна,— рискует больше, чем головой. И больше может тут сделать.

Капитан помолчал, успокаиваясь.

— Вы правы,— согласился он.— Его положение труднее. И именно поэтому я отдаю должное его характеру.

— У него совсем другая задача,— продолжал майор, словно не слушая.— Если бы речь шла лишь о том, чтобы покарать или напугать... Тут уж они либо испугались бы, либо нет. Тогда и вы бы подошли. Они бы вас пристрелили,— с какой-то жестокой ноткой заверил он,— а мы бы их опять покарали. Да я и не мог бы вас здесь оставить, не обеспечив сильной охраной. Сами понимаете, что это не одно и то же. А у меня другая задача. Словом, вам бы пришлось здесь иметь дело и с чужими и с врагами. Не сомневаюсь, что вы бы оказались на высоте. А у него другая цель. Он должен их перетянуть. И убийц отца и друзей. Он должен преодолеть все их связи и отношения. Даже преодолеть самого себя, вчерашнего. Ведь он же вместе с ними партизанил. Как бишь его тут

знали? А, Виток! Сумеет ли? Не слишком ли многого мы от него требуем?

За окном по-прежнему ревели моторы. Свет приобретал оранжевый оттенок, точно излучающий тепло лак. В углах пеплом оседали неуловимые сумерки.

— Пошли,— прервал разговор майор.— Не могу больше ждать,— тихо пробормотал он, как будто про себя, и это прозвучало почти как жалоба неизвестно кому.

Колонна строилась посреди дороги. Наполовину разгруженные машины разогревали моторы. Спустившись с крыльца, майор с Пашковским увидели капитана Вицека, Лапота и Курылу, стоящих перед изогнувшимся подковой строем. Это был взвод разведчиков с торчащим над головами выдвижным штырем антенны. Солдаты застегивали каски, у некоторых они еще висели на согнутых руках. Видно было, что новая проблема нарушила сборы, прервала обычные в такие минуты дела, внеся неожиданное замешательство. Разноцветные полосы стелились наискосок от горящего заката, опутывали их переливчатыми узорами, которые ломались и сплетались в клубах выхлопных газов, бьющих рыжеватой голубизной из подрагивающих грузовиков, образующих фон,— прямо тебе декорация пожара. Дело явно не двигалось с места, озадаченный капитан Вицек бегал вдоль строя, всматривался в лица, напрасно ожидая ответа. Солдаты молчали, не глядя друг на друга, машинально подгоняя снаряжение, готовые к выступлению.

— Так как же, ребята? — в очередной раз прозвучал голос капитана, тусклый, не ожидающий ответа. Он явно предпочитал поскорее покончить с этим делом, не очень-то в него веря. Солдаты бросали быстрые взгляды в сторону Курылы, который стоял, не глядя на них, равнодушный, с каким-то пренебрежением, отсутствующий. Глаза у него были прикрыты опухшими веками, видно, он охотнее всего ушел бы отсюда, не тратя времени, поскольку тоже не рассчитывал — и это было видно всем — на какой-то результат своего обращения. В его равнодушии было что-то вызывающее, и это невольно подстегивало людей. Он как бы давал понять, что для него вопрос решен, а как отнесутся к этому товарищи, значения не имеет. Однако он понимал, что без помощников майор его здесь не оставит, и хорошо знал это, так

что его решение и его пренебрежение могло означать лишь позу. Желающих не было, и капитан, сильно озадаченный, прыгал взглядом по лицам. Все молчали, поглядывая на Курылу, как он поведет себя в столь сложном положении. Именно в этот момент потерявший всякую надежду капитан уловил какое-то движение в строю.

Гралевский поднял голову. Черты его лица были, как всегда, вытянутые, заострившиеся, но само лицо спокойное.

— Я останусь, товарищ капитан.

Капитан замер и, подавшись вперед, сверлил его глазами.

— Почему же? — услышали они самый нелогичный сейчас вопрос. Капитан противоречил самому себе, так как еще минуту назад объяснял, почему это надо.— Почему вы?

Солдат пожал плечами. И выступил на шаг перед строем.

— Мы с Костеком из одной роты,— пробормотал он объяснение, которое все должны были знать.— Фронтовой мой товарищ. Не могу я его одного оставить.

Майор вдруг вспомнил о каком-то инциденте с одним из мужиков, которого допрашивали в гмине. Что-то ему не понравилось, но он слишком был занят делами, которые надо было спешно уладить.

Курыло по-прежнему стоял равнодушный и неподвижный.

— Хочешь? — спросил он Гралевского прямо. И кивнул головой: — Ладно.

— Кто еще? — бросил капитан поверх голов и слишком громко.

Наступила минута тишины.

— Я тоже.

— Я могу...

Два голоса прозвучали одновременно. Солдаты теперь смотрели друг на друга, молчавший строй всколыхнулся. Вперед выступили Прач и Пехачек. Они как будто даже сами были озадачены этим одновременным порывом.

— Ладно,— подытожил капитан Вицек.— Вы, Прач, тоже были с ним вместе?

— Дружо-ок...— протянул Прач с проблеском усмешки.

— А вы, Пехачек?

— Я хотел бы остаться. Пригожусь.

— Трех достаточно,— вмешался майор.— Ты, малый, останешься с нами,— обратился он к Пехачеку. И добавил нарочито сурово: — Ты нам будешь нужен. Пока хватит.

— Но, товарищ майор...— ринулся было Пехачек, да так и замер с открытым ртом, не зная, как расценить замечание майора.

— Добро. Разойтись! — быстро скомандовал капитан.

Кто-то шепнул Пехачеку.

— Без сопливых обойдутся... жить надоело?

— Отцепись.

Тогда они еще и подумать не могли, что останутся одни на этой земле, еще не остывшей, не оформившейся после схлынувшего нового потопа, останутся, как исследователи неизвестного острова, высаженные на сушу с корабля, готовые беззаботно махать ему вслед платками, не задумываясь о вращении земли, которое постепенно погрузит их во тьму ночи,— вырванные из вчерашнего дня с будущим, прячущимся за горизонтом, где петлей поднимается бор, отделяющий полосой мрака однозначность общих проблем, предоставленные зыбкости собственной совести, в пустоте расколотых семей, разорванных уз, свежих могил и сожженных домов. Посреди обитаемой пустыни, без эха и прикосновения руки. Они согласились опрометчиво, в спешке, в нервной суматохе этой операции, как будто всего лишь вызвавшись в дозор, на какое-то незначительное задание. Обычное солдатское дело, мелкий эпизод в цепи сложных событий. Секунда колебания... и они уже вне отряда.

Колонна двигалась вдоль шпалеры высоких вязов, почти в туннеле между усадьбами, мимо пустых калиток и безжизненных окон, сквозь арки пыли и пласты посветлевших выхлопных газов. Вновь это был грозный и молчаливый змей — суровые лица под касками, внимательно смотрящие вперед глаза, оружие и снаряжение, готовые к бою. Как будто всего лишь промелькнули они в погоне, чужие этой деревне, вызывающие страх,— враждебный отряд, для непонятного дела. Еще немного — и они исчезнут в объятиях леса и останутся лишь тревожным воспоминанием, всего лишь звеном в цепи

переменчивых судеб, перекатывавшихся здесь на протяжении последних месяцев.

Так они выглядели в глазах оставшихся, когда те впервые увидели их со стороны, так они и должны были запечатлеться в памяти местных жителей.

Еще минутой раньше майор Гжибовский лично отдал им распоряжения: «Один пулемет я вам оставлю. Ленты возьмешь у Лапота. Гранаты у вас есть. Личное оружие тоже. Советую не отдавать его в чужие руки. Ну, держись, не давай себя запугать. Донесение о вас мы передали, в первую очередь наладьте связь с повятом».

Они быстро и ловко снесли все свое снаряжение в помещение участка. Капитан Пашковский повторил инструкцию: «У вас трое арестованных в подвале. Накормите их и как можно быстрее переправьте в Жолыню. Если смогут, пусть добавят вам людей. Местных знаете, выберите надежных. Соберите митинг, поговорите с народом. Присматривайте за ксендзом, впрочем, сами знаете... Участок приведите в порядок. Сделайте так, словно ничего и не было. Если не найдете подмоги здесь, добивайтесь в повяте, но в общем-то не особенно на повят рассчитывайте. Людей там нет. Ну, и самое главное... не замыкайтесь как в крепости, не отделяйтесь от людей. Пусть боятся, но попытайтесь перетянуть их. Обеспечьте себе глаза и уши среди них и свои держите открытыми. Ясно?..» Курыло молча кивал головой. «Что ты мне мозги крутишь! — думал он, не глядя на капитана.— Катись отсюда и оставь меня наконец в покое». Майор уже садился в «газик». Толстую ногу в брезентовом сапоге он все еще держал снаружи. Вздутая плащ-палатка делала его похожим на большого филина. «Нету у меня врача, Костек. Если матери станет хуже, попробуй перевезти ее в город. Слушай, скажи правду — у тебя здесь есть...— замявшись, он умолк. В глазах его блеснула догадка.— Она — из тех?..— Костек пробурчал что-то невнятное, но майор и не очень слушал. Откинул плащ-палатку и протянул ему руку.— Через недельку, ну, может, дней через пять, будем возвращаться... если ничего не изменится. Я привезу его, Костек, на телеге... Держись, парень. Мы с ним разделаемся». Костек пожал руку командира, горячую и мягкую. Майор коснулся спины шофера: «Трогай». Потом на прощанье отдал честь.

Обернувшись, он проводил взглядом три вытянувшиеся фигуры.

Пыль оседала. Затух шум моторов за мостиком и прудами. Колонна исчезала в просеке, ведущей к усадьбе лесника. В той стороне уже почти стемнело. Искорка вечерней звезды вспыхнула под шапкой тучи, которая синеватым льдом затягивала светлое небо. И вот когда они старались уловить затихающий гул колонны, обратясь к лугам, просматриваемым насквозь, Гралевский первый заметил три силуэта на меже, идущей от дома Прокопюков. «Смотрите!» — едва успел он сказать, но они уже сами удивленно смотрели в ту сторону. Впереди шла девушка, держа в руках икону. За ней рослый мужчина сгибался под тяжестью гроба, поблескивавшего металлической оковкой в зареве заходящего солнца. Он согнулся, словно Атлас, а тяжесть гроба давила на его плечи. За ними шла женщина в черном, жалобно нараспев причитая. Над лугами, обрамленными лесом, лежала тишина. От речки и прудов только сейчас потянулась предвечерняя лягушачья песнь, и было что-то жуткое в этом одиноком, странном шествии. Голос женщины умолк. Обратясь к лугам, они провожали взглядом эту молчаливую, всего из трех человек процессию, словно заблудившийся призрак недавних больших похорон.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Костек да Костек, все только это знают, или не то Виток, не то Моток, а мне это без значения. Для меня он «товарищ сержант», и он ко мне тоже: «Послушайте, Прач...» Официально, по-уставному. А по-другому и не обращается. И ладно. Мне-то что, какие у него там семейные дела или соседские ссоры-свары при царе Косаре? Да и соседи-то у него, язви их... Для меня он «товарищ сержант». Остались мы, ну и остались, сами того захотели, никто не приказывал. Однополчанин. Он знает, что надо, и я знаю. От Познани до Эберсвальде один котелок скребли, каждый километр брюхом шуровали, вместе садили по немецким перинам, фольксштурмовцам да эсэсовцам пропеллер в заднее место вставляли, так что в Валгаллу ихнюю без отдачи шарахали, лишь одна вонь в небо взлетала. Когда форсировали Гогенцоллерн-канал, он за шкирку меня буксировал, такой из меня пловец, а как мина ляпнула, так он меня под воду. Нахлебался помоев — во! Но на берег выволок. И все одно подлизываться к нему я не стану...

— Ненормальный он какой-то,— сказал Гралевский, разглядывая ногти.— Обожрется этой самогонкой. Второй день хлещет. И несуразное несет.

— Хлещет, это верно,— спокойно согласился Прач.— Стало быть, залить огонь надо. Начисто шарики и ролики забарахлили. Но ведь и дело не перестает делать. Что-то его подтыкает: командует все, муштрует, дознания делает... Будто сейчас самое то время оперу устраивать. Все ему хиханьки, а мужики волком смотрят. Ну и что?.. Мне за ним ходить?

— Самогонкой у лесника разживается. Каждый вечер там сидит,— хмуро ворчит Гралевский, вновь принимаясь чистить пулемет. «Дегтярь» лежит разобранный на столе. Гралевский смазывает ложе и замок. Руки у него черные, все в масле...— Не нравится мне это. Лесник в лесу, далеко за деревней...

— Что-то их там связывает,— зевает Прач.— У него тут со всеми какие-то дела. Потому он один и знает, что делает. Даже по пьянке. А мы с тобой, братец, тычемся, как ребятишки в тумане. Может, это и лучше — делаешь свое дело, не надо раздумывать над загадками бытия, над головоломками новейшей истории. Исполняешь свои почетные обязанности, глаза у тебя работают, соображают, и все будет, как положено. Придут наши, поставишь им триумфальную арку. Привезут этого упыря в клетке, и почтенные преемники вздохнут свободно, смогут выходить по ночам, встречаться с девушками под условленным кленом. А то ведь тут днем ни одной девульки не зацепишь, все за всеми следят. Но мы-то с тобой, товарищ дорогой, можем рассуждать о нормальной работе и как следить за порядком, а наш командир пьет уже сорок восемь часов, ходит по домам, разговоры разговаривает и держится так, будто у него не все дома. Мог бы и нас просветить, хотя бы в смысле своих личных связей. Не люблю я в дураках оставаться. Вчера встречаю девицу, светленькая такая особа, обращаюсь к ней, как водится в подобных случаях, она сначала дичится, потом ля-ля-ля, я к ней поближе, она вроде как не замечает, только все разговор сводит на нашего сержанта. Меня это задело, но поскольку я ему товарищ, то пытаюсь отвлечь ее мысли от него, протягиваю ей руку дружбы, а она хвать за автомат, сдернула его у меня с плеча и мне в брюхо. Я тут же сдался и думаю, ничего себе, хороши шуточки, а потом узнаю от этого нашего добровольца, ну, от этого недоразумения, который полагает быть старостой, как там его? Шимуля! Так вот, от Шимули узнаю, что это девушка нашего сержанта. «Виткова невеста»,— бормочет. Разве это хорошо не проинформировать товарищей, пусть даже и подчиненных, чтобы те знали, куда можно ступить?!

— Ну да? — удивился Гралевский, прерывая работу.— Врать-то!..

— Чтоб я сдох. Никогда бы мне такое в голову не

пришло, хотя, собственно... почему бы и нет? Какая диковина, что у Курылы здесь есть девушка? А где ей еще быть? Это же его отчий дом. Только странно, что в этом отчем доме творится. Чистая свадьба смертоубийственная... Ты знаешь тот солидный дом, по дороге в Хуциски, последний перед мостиком? Ну, такой, снизу еще кирпичом обложен, приличный такой дом, большое крыльцо, досками обшитое, весь утеплен с фасада, будто на зиму, крыша толем крыта, один из тех, что не тронуты? Ну, что ты выпялился? Не перебивай. Кончил я занятия с нашими мужичками, вспотел, даже в горле пересохло. Солнце печет (и как это сержант может самогонку жрать в такую жару?), ну, думаю, в кусты бы сейчас, на сене полежать, а может, выкупаться? Вроде показалось мне, что девицы там тела свои омовению подвергают, вроде как плеск и визг оттуда доносится. Гляжу на нашу твердыню, еле из-под козырька вижу, до того воздух искрится и переливается. Неплохо выглядит, думаю: окна мешками заложены, как надо, заблиндированы закопченным кирпичом, флаг висит, как сержант приказал,— словом, имеет вид. Поворачиваю к реке, она себе переливается между тенистыми кущами. И тут я увидел ее. Идет от того дома, а может быть, с реки, потому что босиком и волосы вроде бы мокрые... Волосы у нее первый сорт, можно спрятаться под ними. Притаился я в малиннике, а она, наверное, задумалась, потому что до последней минуты меня не видела и даже, голову об заклад даю, немного испугалась. Хотя, понятное дело, притворилась, будто ничуть, ничего. Я так деликатно появляюсь. Хвала, говорю, господу нашему. Поколебалась она. Хвала, говорит. Ты вот думаешь, что она решила, будто пристаю и тут же губки сердито надула? И ничего подобного. Очень серьезная была, такая серьезная и задумчивая, что это меня даже немного задело — ведь если мыслями витает где-то там, то и не оценит всей тонкости моего подхода. Вот это меня и разозлило пуще всего. Мне нравится, когда пренебрежительно себя ведут, даже вызывающе, если это в игру входит, если это один из бабьих приемов, но не люблю, когда меня баба в самом деле не замечает. Пригляделся я к ней получше. Сложена, как серна, волосы, как уже выше сказано: каждая коса будто корабельный канат или лисий хвост, ресницы темные, а глаза... незабудки, прямо тебе святая Цецилия.

Ну в общем, что я буду в тебе, друг ты мой, товарищ рядовой, пробуждать нездоровые моменты, когда ты знаешь, кто это и что. Только одного не понимаю, оценивает ли наш сержант полностью ситуацию? Потому что кое-что я уже усек. «Искупались? — спрашиваю.— Ах, как жаль, что я припозднился. Ведь как раз думал, что надо бы на речку сходить. Спинку бы помыл». А она смотрит на меня так серьезно, будто раздумывает о чем. «А вы здешняя будете?» Тень от ее фигуры, преломляясь на песке и кустах малины, легла между нами как бы мостом, чувствую я даже, как прикоснулась к моим ногам, словно ласка холодной ладони. Да разве понять тебе это, если ты ее не видал? Лицо, освещенное солнцем, слегка помрачнело, но смотрит на меня с напряжением. «Вы здесь с ним? — спрашивает меня спокойно.— Он вам велел здесь остаться?» — «Кто?» — спрашиваю я, не сразу смекнув. Тень раздражения проскользнула по ее лицу. «Ну, ваш сержант. Он тут ваш командир. Вы сами захотели с ним остаться или вам приказали?» — «А кто это нам станет приказывать? — усмехаюсь я.— Сердце нам так подсказало. Девушки тут увядают, а у парней всякая бяка в голове. Вот хотя бы взять тебя, богиня. Наверняка ведь бандюгам клялась верно их ждать. Не стоит. Каюк им пришел. Надо с живыми идти вперед...» Пытаюсь руку протянуть, а она отклоняется, будто меня и не видит. «Чья же ты, крошка? — спрашиваю.— С бандюгами заодно? Брось, плохая это игра».— «Долго здесь пробудете?» — спрашивает она, поправляя волосы, и вижу, что смотрит на флаг. И вроде как с легкой тревогой в голосе. «Детка, если ты меня полюбишь, то навсегда!» — говорю. «А он тоже останется?» — спрашивает, а я и не соображаю, что она все в одну сторону гнет. «Кто?» — опять спрашиваю, будто олух царя небесного. «Ваш сержант Виток. Он же местный...» — «А ты его знаешь?» — смотрю я на нее внимательнее. И показалось мне, будто она покраснела. Губы гордо надула. Помолчала. «С детских лет знаю»,— буркнула. «Вот видишь. Так что же ты нас, звездочка, боишься?» И снова привлекаю ее дружеской рукой. А она отпрянула и смотрит на меня. «Он, наверное, всех нас ненавидит». Тут уж я вскипел. «Курыло? Костек? А как ему вас любить, если у него соседи уложили отца? И других порядочных людей. Сама должна понимать, птичка...» — «Это неправ-

да,— говорит,— это не моя вина. У меня с теми ничего общего. Страшно, что теперь тут делается». Я плечами пожимаю. «Воевать им захотелось, этим вашим бравым парнишечкам, казакам-разбойникам из вашей деревни, кумовьям да зятьям. Контра у них в голове сидит. Мало им того, что было, все еще пороху не нанюхались. С топором из-за угла... на своих. Реакция! Он за вас, за мужиков... а вы у него отца за спиной...» Разозлился, что опять меня агитировать заставляет. Вижу, это ее проняло, не по вкусу пришлось. «Это не они начали,— стала обороняться.— Ужасно, что тут творится. Теперь вот брат на брата».— «Не думай об этом, детка. Часы их сочтены». Смотрит она на меня так, что понять не могу, о чем думает. «Вы его хорошо знаете?» — спрашивает, вновь на Курылу переводя. «Вместе в армии были».— «И на фронте вместе?» Я смеюсь: «Ты же его знаешь. Свой парень. Настоящий друг. А у тебя что с ним?..» — и придвигаюсь снова, а она опять отодвигается. «Храбрый он был, да?» — настаивает она. «Ого! Малый — гвоздь. Его здесь никто не застращает. Не ко времени он домой вернулся. Потому и остались мы с ним. Но ничего. Он вас еще сделает...» Опустила она взор, а ресницы, брат ты мой, как павлиний хвост. «Да, теперь он нас возненавидит, и от этого еще хуже все пойдет».— «Боишься его? — спрашиваю.— Ну, меня-то не бойся. Мы-то уж здесь точно останемся». И хвать ее, наконец-то удалось. «Порядок здесь будет, свадьбы вместо похорон пойдут. Тех и духу не останется...» Сдалась она, будто врасплох захватил, но только на минуту. Потому что все о чем-то своем думала. Это меня больше всего задело. Чувствую я, какая-то она напряженная. И вдруг вывернулась, будто я бинт из рук выпустил, и автомат у меня с плеча дерг! И уже стоит передо мной, дуло на меня направив, палец со знанием дела на крючке. Я, понятно, опупел. Так она вдруг изменилась, что-то такое из нее вдруг неожиданно проступило. Напротив солнца волосы ее как покров огненный, глаза свирепые, губы узкие от злости. Гляжу я на нашу крепость, ведь всего в двух шагах. Гляжу на избу, из которой она пришла. «Ух, кошка дикая»,— подумал, очень уж номер неожиданный получился. «Здесь, зараза, и пошутить-то нельзя. Вот ведь жизнь: такая девушка — и с ними. Не очень-то в этой деревне отдохнешь». И пошел на розыгрыш, обе лапки кверху.

И вижу, в глазах у нее больше отчаянья, чем злости. Вот же баба! Стою так, неподвижно, с поднятыми руками, жду, пока она усвоит свое незадачливое положение. Потом отступила, бросила автомат — и ходу. Побожиться могу, что разреветься была готова.

— Лопух! — мрачно сказал Гралевский.— Ты знаешь, чей это дом? Того самого Пайды, прохвоста, которого мы в подвале держали. У него сын в банде. А это его дочь, невеста Курылы. Теперь-то до тебя дошло, какой тут перепляс? Что ж удивительного, что парень пьет вовсю.

— Понял я, сынок, всю скрытую трагедию уразумел.— Прач откашлялся и метко сплюнул в окно, в узкую щель между мешками и закопченным косяком.— Жаль только, что наш сержант сразу не посвятил нас, что и как, в смысле куда глаз класть. В конце концов мы с ним на одном суку сидим. Так или этак, одно нас с ним ждет. Вот и хотелось бы знать, что у него в голове варится, чтобы в дураках не остаться...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«...Вот и воротился,— думал Костек, как будто все еще уверяя самого себя,— воротился сюда; неужто и впрямь я у своих, и это моя деревня, и все это вправду случилось? Неужто это те самые Липины, и отец там, в том гробу, в сыром песке? А может, еще ничего и не случилось, просто кто-то меня пугает жуткими снами? Столько я всего насмотрелся за последние месяцы, запросто мог всякое напридумать. Ведь это все близкое, свое, я же знал этих людей как свои пять пальцев, думал, знаю, что они могут сделать, кто из них чего стоит и чего от них можно ждать». А что из того? Никогда ничего нельзя предвидеть, судьба вдруг налетит как буря, будто выстрел из укрытия или весть издалека, и уж не знаешь, что кто сделал. Плохо, что именно этого ты и не знаешь. А надо было считаться со всем, раз уж повидал столько сожженных деревень и людей, которые в глотки друг другу вцепились. Только там везде были чужие, ты мог их определить одним словом, никогда на них не полагаться, не принимать к сердцу. А тут ты знал каждого, на многих не обращал внимания и не думал ни-

когда об этой волчьей пасти, которая вдруг ощерится из глубины их натуры, пойдет рвать старых, невинных людей и тем самым разорвет все связи, казалось бы годами проверенные. Неужто они всегда были такие, а ты только ходил среди них, как слепой? Стало быть, неправда все было, все то, что еще у тебя на дне глаз, внутри ушей, в памяти. И теперь ты спрашиваешь: узнаю ли я об этом когда-нибудь, ведь это же... невозможно?.. Смогу ли я теперь с этими людьми разговаривать?.. Зачем же, дурень, ты остался? Вспоминаешь теперь удивление товарищей? Что тебе здесь делать, в чем ты хочешь убедиться? Неужто ты веришь в то, что так просто выложил майору? А он тебе поверил, будто ты не рвешься мстить. Скажи хоть себе правду: просто нет у тебя такой возможности. Тогда что же ты еще можешь? Верши суд, воздай им за все и... не возвращайся больше сюда. Они в твоих руках. Уж будто? Ты же лучше знаешь, что это временно. По сути дела, это ты здесь одинок. Зря остался. Зря! Без толку. И все же остался. Значит, это правда, что ты говорил майору? Правда. «Что-то надо со всем этим делать. Надо что-то делать. Нельзя так оставить. Не дождутся они, чтобы по-ихнему вышло. Я уж так, мать их за ногу, выучился, что ничего не умею оставлять... И родная мать еще мало что соображает, болеет, так ее побили, но, как бы то ни было, она все узнает. Узнает, ох страшно это будет для нее! Но она узнает, а тогда что? Она не захочет отсюда уезжать. Уехать отсюда? Невозможно это, блажь. Как же это мать может уехать из своего гнезда, оставить могилу отца,— могилу, которой она еще не видала?! Она тоже прожила здесь всю жизнь, подольше моего. Она жила тут и всем материнским сердцем за батю и за меня переживала. Боялась гортанных воплей эсэсовцев, слушая, как торжествующе скулят собаки, которые гнались за нами по лесу. Сколько раз видела она захолонувшим мысленным взором, как меня, окровавленного, тащат, подталкивая прикладами, как бросают на машину, как заводят моторы... И потом, когда я украдкой приходил, обливала меня слезами, трогала мое лицо шершавой ладонью. Выжил, вот он я. Сколько раз считала про себя: выйдут — не выйдут... успеют или нет... Сколько же она молилась и дрожала, чтобы я не пришел вот именно в ту минуту, чтобы долетели до меня ее всполошенные мысли, когда

немцы, затаившись за косяками, поглядывали на нее из-под касок, как она хотела предупредить меня, чтобы я почувствовал, что тут засада, и чтобы дошли до меня эти ее мысли, как радиосигнал. Сам не знаю, сколько раз я получал эти сигналы, даже ничего не зная о них, и сколько раз просто везение или счастливая игра случая не давали о них думать...» Он слишком хорошо знал, какая у него мать. Ведь это же и ее мир. Какие же они — те, что превратились в убийц? Он видел всего нескольких, пресмыкавшихся на допросе, но некоторые, пожалуй, не виновны. На них это тоже свалилось, их самих это тоже ошеломило. Ведь многих он еще не повидал, не поговорил прямо и открыто и не знает, кто они теперь или хоть что с ними сталось. Да, собственно, никого он и не видел... «Зато я видел старого Пайду и знаю, чего могу ожидать. Но разве это уже все? А Регина? Ведь ее я тоже еще не встретил. Почему она стала для меня только дочерью Пайды? Она уже давно взрослая, у нее своя голова на плечах. Как же это она могла не видеть, что здесь творилось? А ведь к ней я рвался больше всего, молил судьбу, чтобы мы сюда попали. Может ли быть, чтобы и она обернулась гадюкой?..» Она ждала его. Нет, он хорошо знает: что бы ни было между ним и Пайдой, она на его, Костека, стороне. Хотя больше всего хотела бы согласия. Но она с ним и любит его, сама же она это говорила: «Костек, если кто тебе скажет про меня что плохое, ты его даже не хватай за грудки и не бей в морду. Только плюнь и плечами пожми. Я твоя, Костек, люблю тебя больше отца-матери, больше Зенека и всех на свете, люблю, как господа бога и дом родной, как жизнь и воздух, как небо и лес», «Костек, ты знаешь, я пойду за тобой везде, что бы ты ни делал и кем бы ты ни стал», «Помни только, что я хотела бы, чтобы ты для меня всегда таким остался», «Что бы ты ни думал, я тебя всегда пойму, я знаю, какая она, жизнь, всякое уже повидала». И он тоже, хотя всякое повидал, тоже не мог этого забыть. Той звездами усеянной ночи, когда среди этих звезд белела ее фигура, напоминая лежащую на земле продолговатую звезду. Светлее сена, белеющее стройное тело, распятое, открытое, с тремя темнеющими пятнышками: подмышек и лона. Она прижимала его голову между грудей и опутывала прядями волос, точно крепкими путами. И когда он проникал в нее, округлую и хо-

лодную, но горящую внутри пламенем жизни, когда она поглощала его, задыхающаяся и жаждущая, она все твердила эти слова. Что ж делать, все девушки говорят одно и то же. Но он-то знал, что здесь было иначе. И поэтому верил ей, ей одной. Так как же она теперь ходит по этой деревне, как она может дышать в доме отца, у которого руки в крови? В крови его отца, Курылы. Он видел эти руки, одна обвязана тряпкой. Это Лапот его так уделал. Ладно, хоть кто-то другой. Не все ли равно?.. «Сидела там, с ними, когда отца моего в землю зарывать несли». Она могла клясться, несчастная, потому что не знала еще тогда, на что люди способны. «Пойду с тобой везде, что бы ты ни сделал...» Даже если он прольет кровь этого иуды, отвозит ногами ее мать и повесит брата, Зенека? Что это значит: «Все, что бы ты ни сделал»? А может, так: что бы с тобой ни сделали... Имеют ли эти слова какую-то другую ценность за пределами той минуты, когда были сказаны? А может быть, она, сука, теперь уже с ними — ненавидит, шипит, проклинает? Ведь он сам увидел здесь, на что люди способны... Вот и хорошо, пускай скажет это прямо в глаза. Пусть все будет сказано. А может быть, она?..

— Товарищ сержант, никак продолжение похорон? — Это Прач ткнул его локтем, вглядываясь в малолюдное шествие на меже. Костек отвернулся и посмотрел на носки запыленных сапог.

— Стало быть, не конец еще,— добавил Гралевский.

Он чувствовал их взгляды, настойчивые и любопытные.

— Это украинцы,— глухо буркнул он.— Каждый тут своих покойников хоронит...

...Стало быть, Грицько, черный, запекшийся Грицько не участвовал в этом. Все идет своим путем. Одна смерть не исключает другую. Это на миг отрезвило его и направило мысли в иную сторону. Где конец всему этому, кто поставит преграду этим смертям? Сколько тайн скрывает эта вымершая деревня, сколько их тут накопилось за те месяцы, что его здесь не было?..

Спускались сумерки, густые и пепельные, когда он отдал приказания и молча пошел куда-то, опустив голову. Кузнечики стрекотали в полях, и спугнутые было лягушки снова робко подали голоса. Он прошел мимо развалин школы и, срезав перекресток, остановился пе-

ред своим сожженным домом. Первая вечерняя роса промыла потускнелый воздух, подхлестнув приглушенные было запахи, которые вновь во всю мочь потянулись от земли. Вновь ударил в нос противный, сильный запах гари, вонь горелого тряпья, кожи и обугленного мяса. Это корова и испекшиеся куры. В сгущающемся мраке он с трудом различал трубу и пустые глазницы окон. Шел он ощупью, то и дело склоняясь, когда нога задевала какой-нибудь знакомый предмет. Повсюду железная снасть, бесформенные, облепленные сажей обломки, он поднимал их, обстукивал, отбрасывал в сторону. Увидел осевшую печную плиту, заржавевшую раму кровати с усами пружин, перееденных огнем. Его кровать. Он попятился в страхе, что увидит чьи-нибудь обугленные останки, хотя хорошо знал — не было там никого. Склонившись, обходил он груды шлака, спекшегося в фантастические, торчащие в небо пирамиды. Большая оранжевая луна над лесом медленно тащилась за его спиной и постепенно расщепляла однотонные пятна черноты на просветы и тени, ажурные, иглистые, будто муравейники. Вот куски ремней, вот недотлевшие обрывки материнской постели. Он споткнулся о конный привод, пнул остов соломорезки и по щиколотку провалился в лепестки бумажного пепла. Он брал их пальцами и, растирая в мельчайшую пыль, узнавал корешки книг. Сделав шаг, он вдруг ступил в покрытый золой навоз. В темноте делать здесь нечего. Он пошел назад через гряды полуобуглившейся соломы, все казалось ему мягким, все пружинило под сапогами. И вдруг он услышал посапыванье. Чье-то дыхание слышалось рядом, как будто из-под земли, было в нем что-то от унюхивания и от всхлипа. В темноте, среди покореженных деревьев сада, он увидел глыбу земляного погреба, и на миг ему показалось, что оттуда идет это сопение. Яма, накрытая землей, уцелела от огня, он же помнит, как не раз прятались там, когда немцы с самолетов палили и потом, когда били из танков русские. Он наклонился и откинул накладку. Из низу, из темноты пахнуло плесенью и холодом, забелели белые кружки каменных подойников с молоком. Что-то там завозилось под ногами и скулящая от безумной радости мокрая собачья морда коснулась его руки. В первую минуту Костек отпрянул, но пес, узнав спасителя, пустился в дикий пляс. Это был Бурлак, старый любимый

псюра. Значит, во время пожара спрятался туда, залез с другой стороны через оконце, торчащее над землей, а оттуда выхода уже не нашел. Теплая волна охватила Костека. Бурлак узнал его, хотя и ночь, хотя и два года его здесь не было, хотя и страх такой изведал, и неожиданность. Пес скакал, тихо скуля, отбегал и припадал к ногам. В безумной радости животного было что-то человеческое. Только теперь Костек разглядел его в полумраке. Собака выглядела ужасно, опаленная шерсть выдрана на боках, черные сосульки крови под лопаткой, морда и ухо разорваны пулей. Дикие прыжки должны были причинять боль, но пес не обращал на это внимания, охваченный восторгом от того, что среди этой смерти и геенны, после гула, огня и пугающей тишины он наконец дождался кого-то из своих. Курыло даже не заметил, когда почувствовал горячие слезы на подбородке. «Бурлак, бедняга, ты один ждал меня, тебе одному я был тут нужен, только ты рад моему появлению, ты один из всей родной деревни. Ждал, бедняга, знал, старина ты мой, что я приду...» У него подогнулись ноги, он опустился на землю и долго сидел, осторожно прижимая обожженную морду овчарки к своему лицу, а горло его сдавила судорога, из него вырывалось совсем не мужское бульканье, и он не мог его ни подавить, ни сдержать стиснутыми челюстями. Наконец он уткнулся лицом в землю и задергался задыхаясь, точно сотрясаемый конвульсиями. Обессилев от этого приступа, он долго еще успокаивался, хватая ртом воздух, а небо тем временем совсем почернело, поднялась луна и разгорелась, налившись оловянным блеском. Пес сидел над ним и сторожил, еле переводя дух от бурного переживания, уже нелегкого для его довольно почтенного возраста. Встреча эта, такая неожиданная и такая волнующая, вернула Костеку ощущение действительности, вызвала прилив решительности. Он вышел из усадьбы и, чувствуя возле своей ноги Бурлака, направился к мосту, на дорогу в Хуциски. В деревне царила глухая тишина, кое-где мелькали желтоватые глазки керосиновых ламп или белые огни карбидных, но даже там, где горел свет, окна были завешены холстинами, укрывая жизнь и присутствие людское, будто все еще продолжалась обязательная светомаскировка. Сожженные усадьбы в свете движущейся луны вырастали огромные и матовые. Костеку не надо

было вглядываться, он знал хорошо дорогу, каждый ее бугорок, он мог пройти здесь с завязанными глазами. Сквозь лягушачий хор и журчание речки он слышал за собой только трусцу Бурлака и его тяжелое, одышливое сопение. Слева, в доме Пайды, пробивался из-под одеяла свет, там сидит сейчас Регина и думает, что-то будет с ее отцом. А может быть, ее вообще нет? Он постоял с минуту, советуясь с Бурлаком взглядом. Пес, выражая какую-то надежду, замахал хвостом. Псюра надеялся только на хорошее. «Ничего ты не понимаешь, старик,— встряхнулся Курыло и, чмокнув, строго махнул рукой,— даже и не думай». Медленно пошли они в сторону моста. Бурлак уверенно опередил его. Вот хорошо-то, казалось, говорил он, меня теперь ничто не волнует, пойду с тобой хоть на край света, снова мы с тобой вместе, это самое главное. Ты идешь в лес — и ладно, я уже догадываюсь куда. Миновали пруды, светящиеся в камышах, точно стекла теплиц, вправленные в туман лугов, прошли напоминающие людские силуэты можжевеловые кусты, стена леса подступила к ним, полная отголосков, шепота и холода. Когда приблизились к дому лесника, Бурлак замедлил ход, держась ближе к хозяину. С безлюдной поляны, из-за штабелей бревен, хрипло взревели сторожевые псы. Бурлак глухо зарычал и, вскинув опаленную морду, залился пронзительным лаем. Несколько минут длилось это взаимное облаивание, пока наконец перед домом не показалась фигура Маштеляжа. Он мелькнул и скрылся за штабелем. Костек хорошо видел в его руках ружье. Зрение у него было хорошее, привычное к игре ночных теней. Он сдвинул автомат на живот и щелкнул предохранителем. Собаки где-то притаились, порыкивая, а Бурлак удивленно закрутил головой.

— Выходи,— сказал Костек тихо, но отчетливо.— Давай, выходи из-за бревен, я тебя все равно вижу. Привяжи собак, а то они перегрызутся с Бурлаком.

— Это ты? — услышал он голос лесника, близко, как будто в двух шагах, в этой тишине.— Я знал, что ты придешь.

— А знал, так чего прячешься с ружьишком? Так-то ты меня принимаешь?

— Я знал,— повторил лесник.

Он вышел из-за стволов и теперь был виден весь, белея рубахой в нестерпимом свете луны.

— Привяжи собак,— повторил Костек.— Бурлак израненный.

Маштеляж пропал в пятне тени. Что-то ворчал там и посвистывал. Зазвякали цепи на проволоке. Костек пошел к двери, собака прижалась к его ноге. Маштеляж стоял у порога, вглядываясь в Курылу.

— Есть у тебя кто-нибудь?

— Э-е-е... откуда?.. Сейчас посвечу.

Он повесил штуцер и вошел в дом. С минуту повозился у лампы. Когда вывернутый фитиль перекинул занавес света даже на беленые стены, Курыло сел к печке на лавку. Автомат он снял и положил рядом, придерживая коленом. Потом сдвинул шапку и вытер лоб.

— Осмотри собаку,— сказал он, указав на корку засохшей крови под лопаткой. И повернул Бурлаку голову так резко, что тот даже заскулил от боли.— Ты в этом разбираешься.

Лесник подозвал собаку и сосредоточенно принялся разглядывать шерсть, перебирая ее корявыми пальцами. Длилось это долго. Собака смотрела на Курылу и терпеливо сносила осмотр. Маштеляж вышел в чулан, пошарил там в темноте, принес белый клубок тряпья и запыленную бутылку с льняным маслом. Лампа коптила, потрескивая и брызгая светом. Это был единственный звук в доме. За открытой форточкой все так же шумел лес.

— Оправится, пожалуй. Стар он уже, бедолага.

— А чего ему не оправиться? Все мы оправимся...

— Ты так думаешь? — протянул Костек. Ему показалось, что сказал он больше, чем на самом деле было сказано. Никто не хотел первым начинать разговор о том, о чем думал.

— Значит, вернулся, и как раз сегодня? — проворчал лесник минут через пять. Собака часто дышала, вывалив лоскут языка.— Я этого ожидал.

— Ожидал,— сказал Курыло. И указал на овчарку.— Вот только его одного и нашел на пепелище. Посмотри, какой у него вид, ждал меня.

Руки лесника двигались ловко, молча перебирал он шерсть и смазывал кожу промасленным тампоном. Он знал свое дело. Сращивать сломанные кости у животных, лечить раны — всегда было его специальностью. «Зверей вот любишь,— подумал неприязненно Курыло,— а до лю-

дей тебе дела нет. Врешь, что ждал меня. Если бы кто меня ждал, так задумался бы о том, что будет завтра».

— А мать как? — спросил лесник, не поднимая глаз.

— Еще в себя не пришла.

Курыло сидел неподвижно, расставив колени, и смотрел то ли на лампу, то ли в темноту за окном, а два отраженных стекла, точно золотистые запятые, сверкали в его невидящих зрачках.

Лесник кончил, собака вытянулась у ног Курылы.

— Достань,— сказал Костек, не двинув головой.

Маштеляж вытащил из-за печки литровку. Посмотрел на свет баночки из-под горчицы.

— Налей,— велел Курыло.

Жидкость была чистая, чуть-чуть желтоватая, а может, только так, от освещения. На глиняной тарелке лесник разложил звездочкой четвертинки свежего огурца, бледно-зеленые, мокрые, сверкающие крупинками грубой соли. Он подождал, пока Костек выпьет, и, когда тот уже утирал подбородок, проглотил сам. Молча, не торопясь, понюхали огурец.

...В тебе-то я могу быть твердо уверен, думал Курыло, прежде чем поднять веки, не потому, что ты лучше, а просто в последний момент у тебя смелости не хватит. Боишься себя, боишься того, что было. Это тебя опутало и парализовало на всю жизнь. Страх каждый раз лишит силы твою руку, заставит проглотить слова, которые уже с губ срываются. Страх перед тем не даст тебе воспользоваться любым представившимся случаем, даже самым соблазнительным. Ты уже ничего не можешь и поэтому не страшен. Если твоя совесть еще на что-то сгодится, то не для того, чтобы удержать тебя от подлого шага, а только чтобы ты не терзался потом. И именно потому ты у меня в руках. Не дай бог платить такой ценой... Помнишь, лесник, ту ночь, неуверенную, полную ожидания? Отникелированные светом призмы снега, сосны, согнувшиеся под белыми шапками, провалившиеся в серебряные завалы по пояс. И такой же пронзительный лунный свет, полная луна будто глаз прожектора, от которого поляна застывала, как озеро, неподвижными волнами белизны. Громоздящиеся ледяные сугробы скрадывали черный ошейник леса, луна так и разжигала каждую звездочку снега, поляна кишела в глазах муравейником отблесков и искорками вспышек. Небо было

такое светлое, что в нем терялись зимние звезды, бледные крохи Большой Медведицы, захлестнутые полнолунием. Многослойные облака, тугие и мясистые, тихо надвигались с горизонта, точно смерзшаяся шуга. Кровь громко пульсировала от напряженного вслушивания в бездну холодного неба, горели уши, торчащие из-под развязанной шапки. Они оттирали их и вновь прислушивались к ожидаемым звукам, которые приплывут из-за облаков, из вышины. Иногда налетал легкий порыв ветра, обдирающий лицо, застилающий глаза слезами, как будто ты нюхнул нашатыря, легкая дымка затуманивала порой эту полированную поверхность неба, и только сосны, скованные холодом, сухо поскрипывали, сыпя искристую пудру с обвисших ветвей. Это кряхтение и шелест напоминали плеск волн пробудившегося озера, так что можно было ожидать и треска смерзшейся шуги. Иногда эхо доносило собачий вой или отголосок выстрела, это был лишь шепот замерзшей земли, обманывающий слух, измотанный ожиданием, а не долгожданные звуки с неба. Игра снежных искр доводила воображение до неистовства, ежеминутно кто-нибудь вскрикивал, весь белый, взлохмаченный, и говорил, что слышит гул. И наконец они услышали этот сдвоенный звук — один блуждающий где-то в пространстве, над тучами, в пустоте посеребренного неба, и второй, похожий, но где-то сбоку, по земле. Это были как будто два эха одного и того же происхождения, только звучащие попеременно. Гудение моторов ползло по снежным завалам, в черно-белых расселинах леса и колыхалось в бездонном океане воздуха. Мы молчали как парализованные. «Стало быть, все-таки,— подполз тогда Бартош,— подходят к тому месту, боже милостивый, получили ли наш сигнал?» — «Ответ был?» — «Нет». Поздно, подумал я тогда. В трех концах лунной поляны повыскакивали из снега черные фигурки и через минуту замигали подожженные костры. Глухой ноющий гул стих, затерялся где-то в слоях морозного купола. Луна все полыхала недвижно, а вокруг нее была светлая пустота, в которой не промелькнула никакая тень. Долгие минуты тишины, казалось, что этот ноющий гул моторов стих и затерялся окончательно, даже на земле царила смертельная тишина. Только костры догорали с треском, вспыхивая временами, когда в них бросали подтянутую по снегу ель. И вот снова загудело в

стеклянистой пустоте, шум доносился с разных сторон, пилот наверняка кружил растерянный, сбитый с толку. Он приближался, удалялся, невидимый, висящий в пространстве, какой-то миг мы даже слышали отчетливый свист его крыльев, и вновь гудение смолкло. «Поздно,— кипятился Бартош,— они не получили вторую радиограмму, наверное, уже взлетели». А я спросил: «Ты думаешь, их сбросят там, на то место?» — «Поздно, уже поздно...» — лишь простонал Бартош...

— Один из убитых работал у тебя,— сказал Курыло, поднимая веки. В первый раз он посмотрел на лесника.

— Работал,— подтвердил тот.— В милицию вступил.

— А ты его не предупредил. Ты же знал, что они придут.

— Не знал я. Право, не знал!

— Не кричи,— сказал Костек.— Налей!

Маштеляж торопливо наполнил банки. Курыло медленно осушил свою. Поставил банку и выдохнул. Все это время он смотрел в окно, на сосны, посеребренные луной.

— Помнишь, тогда зимой... тоже было полнолуние.

...Людно тогда было здесь, на этом дворе и на поляне. Собаки заливались, сбитые с толку толчеей и шумом. Сани, нагруженные валежником, сновали между поляной и усадьбой лесника. Хлопали кнуты, покрикивали возницы, лошади проваливались по брюхо в снег и скачками, так что дышла скрипели, с топотом и визгом полозьев выдирали сани из оврага. Двенадцать часов длилась эта свистопляска. Наконец-то самолет. Ребята собирались, отогревались перед переходом. Мороз к вечеру крепчал, и такая ночь в открытом поле могла стоить здоровья, поэтому натягивали свитеры и тулупы. Бартош роздал по сто граммов. В сенях горы снега, его натаскали столько, что дверь не запиралась. Операция называлась «Источник», и, хотя все произносили это название сугубо таинственно, стоило взглянуть на все эти приготовления — и не надо было большого ума, чтобы смекнуть, в чем тут дело. Ты делал вид, что понятия не имеешь. Хотя знал обо всем. Не первый раз являлись мы сюда, и всегда у тебя была такая морда, будто ты ничего не знаешь, ничего не слышишь, приучили тебя к этим неожиданным появлениям, был ты вроде как бы корчмарь, готовый услужить всем гостям. Люди входили, докладывали, щел-

кали каблуками. Бартош и Недоуздок кончали греться. Подбирали грудинкой яичницу, и лишь зубы сверкали на их бородатых лицах. Заместитель Траугутт, помнишь, прокладывал маршрут по карте, а ты в углу обрабатывал оленьи рога, сидя на этом же самом табурете у окна, тебя не касались наши дела, планы нашего отряда. Ты только поднимал стеклянные глаза, когда входил командир какого-нибудь отделения и, дыша паром, с инеем на усах, с белым сахаром на стволе «шмайссера», докладывал о выполнении приказа. Ты был равнодушен, как корова в стойле, я голову бы дал, что ты тупо жуешь. «Выпишите мне, господа хорошие, расписку на то дерево, что взяли,— как-то сказал ты из угла,— в любой день может быть ревизия, уж больно громко и близко вы тут ездите». Бартош пробурчал: «Будь спокоен» — или что-то в этом роде. «А от Хуциск советую подальше держаться,— добавил ты еще через минуту,— если не хотите с власовцами столкнуться». Так и сказал: «с власовцами», хотя знал, что там были эсэсовцы. Не скажи ты этого тогда, я бы тебя и не заметил. Траугутт был слишком поглощен картой. Как раз тогда в дверях чулана появился Лютик в расхристанном ватнике, мой сменщик, радист. «Есть подтверждение,— сказал он, подав листок Траугутту,— в двенадцать ноль-ноль в Липинах». Орали громко, друг дружку перебивая, никто и не вспомнил, что ты в избе. Вскорости явился ефрейтор из охранения. Даже здесь, в доме, слышны были далекие очереди. Когда я вернулся со двора, тебя уже не застал...

— О чем ты говоришь? — спросил, помолчав, Маштеляж.

— Налей,— сказал Костек.— Ты знаешь о чем.

С минуту лесник держал литровку не шелохнувшись. Когда наливал, движения его были ленивые, спокойные. Только что избегал взгляда собеседника.

— Загадки загадывать пришел? — проворчал он снисходительным тоном.— Ну да. Водка тебе поможет.

Теперь он почувствовал ее вкус. Обжигает и вместе с тем какая-то липкая и густая. Из хлеба гонит, не из сахара. Глотнешь, и вся муть оседает где-то на дне грудобрюшной преграды, голова становится чистой, ясной, будто промытой долгим сном. И хотя внутри все еще наполнял его этот жар, но он уже был исполнен готовности и внутренней силы.

— Ты знаешь, о чем я говорю,— ответил он, встретив взглядом зрачки лесника.— Об операции «Источник», о неудачном броске.

...«Говнюки,— сказал Бартош,— не могут осторожность соблюдать, мандраж их колотит, о свете божьем забывают, говорил же я, мать их за ногу, тихо себя вести. Только нам сейчас и не хватало перепалки».— «Слушай, а если немцы что-то пронюхали? — спросил я.— Ты только посмотри, тут и корова поймет, Огонь божится, что там эсэсовцы». Бартош озадаченно поскреб подбородок. «Не может быть. Ты думаешь, что-то просочилось? А ты куда смотришь,— накинулся он на заместителя.— Ты же отвечаешь за операцию! Думаешь, выболтали?» Траугутт был обеспокоен. «Без всякого шума такое же не сделаешь!». Вот тогда-то я и подумал о тебе. «Бартош,— сказал я,— тут был лесник».— «Когда? — очнулся Бартош.— Где был?» — «Да тут был, в избе, когда Лютик передал ответ».— «Ты думаешь, он мог слышать?» — спросил Бартош и долго смотрел мне в глаза. «Ничего я не думаю,— сказал я,— только ты, как командир, должен все принимать во внимание. Бардак здесь сегодня такой, что под нас подкоп можно подвести и взорвать».— «Ты, Виток, много себе позволяешь»,— заметил Бартош, но видно было — в голове у него засело то, что я ему сказал...

— Помню,— проворчал Маштеляж, одним глотком осушив банку из-под горчицы, и выплеснул символический остаток на пол. Он даже растер его сапогом по сухим доскам.— На воспоминания тебя потянуло.

— Тогда мы ждали двоих из России. Это были поляки оттуда...

— Да?

— Один... это девушка была...

Лесник молчал.

— А второй — старый партизан, еврей.

Маштеляж слушал, не поднимая глаз. В его загорелую, рыжеволосую голову, кажется, водка тоже стукнула. Курыло видел только сквозь редкие, вытершиеся волосы его темя, покрасневшее теперь, а на нем золотились капельки пота от прыгающего света керосиновой лампы.

— Он командовал отрядом на Украине. А до этого убежал отсюда.

— Откуда ты знаешь? Ты видел их? — спросил неожиданно лесник.

— Не видел. Не успел. Но знаю.

Лесник выпрямился.

— Зачем ты об этом говоришь?

Костек потянулся за сигаретой.

— Да так. Не говорили еще об этом.

— О многом мы еще не говорили.

Курыло оглядел комнату, как будто не замечая его неприязни.

— Не все сразу,— буркнул он.— Никто не знал, когда они прилетят и где мы их должны принять.

Видно было, что он не оставит этой темы. Неужто уже пьяный? Лесник почувствовал тревогу.

— Ты был с нами в этой избе, когда Лютик читал радиограмму. Он говорил громко, я помню: «Двенадцать ноль-ноль, поляна в Липинах». Здесь тогда были только Бартош, Траугутт и я. Не считая тебя. Ты сидел, как сейчас, и никто тебя не заметил. Ты не знал, что мы переменим решение. Что потом еще передали другую радиограмму. Ты знал о первом месте.

«Что тебе надо,— думал Маштеляж и чувствовал, как жар охватывает его виски.— У тебя все еще та история в голове крутится. А ведь ни разу не дал этого понять. Столько разговаривал со мной — держал себя так, будто ничего между нами нет, и я тебя знал с малолетства, ты же сопляк вот этакий был, когда я тебя учил силки ставить, знал, что из тебя лихой малый вырастет. И ты меня до сих пор подозреваешь. Здорово тебя должно было стукнуть, чтобы тебе вновь это в голову вернулось. И теперь хочешь мне напомнить об этом. Оставил бы ты меня лучше в покое, те люди уже давно в земле лежат. Мало их убито? Лучше не воскрешать призраки. Вот уже снова похоронил. А те, что выжили, еще не уверены в своей судьбе. Зачем тебе ворошить былое? Но я тебя знаю. Ты это впрок припрятал. Теперь я тебе зачем-то нужен, вот почему ты завел разговор о том. Хочешь меня в руках держать, я понимаю, тебе это удобно. Ох, хитро в тебе мужицкое нутро. Вот ты какой, хочешь сейчас здесь утвердиться. А я думал, ты придешь как проигравший. Вон как тебя уделали, а ты не сдаешься. Правда, Курыло, я всегда тебя боялся. Ты мужик крутой и можешь быть опасен. И зачем тебе это надо? Ведь

тебя так быстрее прикончат. Ну ладно, стало быть, хочешь знать. Считаешь, что я вас тогда заложил? А с чего это тебе, сынок, такое в голову пришло? Знать я, конечно, знал, что вы ждете парашютистов. Все вы об этом говорили, какая уж там тайна! А когда вы брали у меня дрова, когда везли их на поле, чтобы костры разжигать, так уж тут слепой бы заметил. Знал я, где вы собираетесь десант принимать. Ты думаешь, мне это надо было? Мало я тут навидался в своей глухой дыре? Если бы не такие, как я, вы на кого бы выходили? Не только вы у меня бывали, любой отряд в лесах знал лесника Маштеляжа. И уж коли за все мне ответ держать... Да, знал я, где будут сбрасывать десант. И знал, что немцы вас ищут. Предостерегал, как мог. Да много вы меня слушали! Я же говорил, что немцы туда придут, а вы прямо к себе в гости зазывали. Так разве же это моя вина была?»

— Если бы даже так было...— сказал лесник.— Ты сам говоришь, что их ждали в другом месте. Я же об этом ничего не знал.

— Не знал,— повторил Курыло, и голос у него вновь сел.— Конечно, не знал. Но и не знал, что вторая радиограмма, о перемене места, дошла до них поздно. Они уже вылетели.

...«Надо сменить место приема,— сказал Бартош, посоветовавшись с Траугуттом.— Вырубка под Жечицей, двенадцать километров отсюда по прямой». Он сидел в полушубке, весь заснеженный, и дергал планшет. Отряд прикрытия возвращался торопливым маршем. Коней, чтоб отряд не был обнаружен, оставили в Липинах. Ты тогда исчез, к счастью, мы остались одни. Снег перестал идти, развиднелось, вышла луна и вновь над лесом стало светло. «Что в Хуцисках? — спросил Траугутт.— Огонь подтверждает свое донесение. Движение там, у немцев, как будто собираются сегодня ночью выступать».— «В случае чего пусть отходит в нашу сторону; сразу же, как сбросят парашютистов, отрываемся». Это же самое и ты говорил. Только не сказал, что там рота эсэсовцев. Они еще с вечера рыскали как бешеные. Тогда я сказал, что мы назначим новое место. Я сам передал радиограмму. Я сидел там, в вонючем чулане, все смотрел на часы и стучал ключом. Лошади нетерпеливо фыркали на морозе. Бартош слонялся из угла в угол и ежеминутно

останавливался на пороге. Слышимость была плохая. Три раза я называл новое место. Они подтвердили прием. Но ответа я уже не получил. Самолет вылетел. Времени было мало. К счастью, дорога оказалась проложенной. С одиннадцати мы уже ждали на вырубке...

— Слушай,— сказал лесник.— Вы же сами пошли в другое место. Вы же сами сбили с толку своих людей. И выдали их немцам...

— Не знаю, успели ли им передать другое сообщение. Может быть, они уже вылетели. Они должны были видеть наши знаки. Но могли видеть и другие. На старом месте. И это их сбило. А возможно, здесь огни зажгли раньше?

«Что он хочет мне пришить?» — растерянно думал лесник. Водка ударила ему в голову, он чувствовал смятение и страх.

— Что ты хочешь сказать?

Курыло говорил тихо, хриплым голосом:

— А кто их поджег? Откуда здесь взялись немцы? Почему именно в ту ночь? О том, что сюда они должны прыгать, знал только ты. И в полночь здесь уже были немцы. Мы даже там, в Жечице, слышали их машины.

Спустя минуту Машteляж произнес:

— Хочешь мне это пришить?

— Ты был, когда Лютик сообщил время и место. Мы потом изменили план. Но поздно. Они спрыгнули тут.

Он смотрел на побледневшее, потное лицо лесника. При свете лампы, стоящей сзади, капли пота, точно горошины, набухали на голом темени. Костек цедил слова отчетливо, нажимая на них:

— Немцы здесь были в точности до минуты. Зажгли наш хворост. Такие были донесения от тех, кого мы здесь оставили. Они забрали с собой нескольких возниц и обоих парашютистов.

— Слушай, ты меня в это не впутывай,— зарычал лесник булькающим голосом.— Сюда подходили немцы, они были рядом, в Хуцисках. Вы об этом хорошо знали. И для пущей безопасности сами переменили место. Да только припозднились, вот и завалили все дело. Чего тебе от меня надо? Это не я... Это ваши дела! Что у меня с этим общего?

— Не кричи,— процедил Костек.— Дай я тебе налью. Теперь-то я уже знаю, что хотел знать.

И он взял у него посудину из рук, теперь он вертел им, как хотел. Чувствовал, что хозяин он, что перехватил инициативу. Лесник похож был на мертвеца. «Стало быть, знаешь, что и я все знаю. Ты много раз об этом думал, считал, наверное, себя невинным. Будто немцы пришли сами и будто это только совпало. Не хочу знать, сознательно ты это сделал или со страху выболтал. Выслужиться хотел, или они вырвали из тебя эти сведения. Ты найдешь тысячу оправданий. Но с этой минуты ты конченый человек. И никогда теперь не будешь спать спокойно. Ты думал, это навсегда забыто. А теперь знаешь, что спрятать концы не удастся. Ты знаешь, что и я об этом знаю. И теперь ты в моих руках. Можешь меня ненавидеть, но ты боишься, и прежде всего самого себя. Может быть, ты бы хотел, чтобы и меня не было в живых, но уже не можешь отгородиться и сказать: я стою в стороне. Может быть, предпочел бы, чтобы меня убили. Кто знает, не соблазнит ли тебя завтра мысль избавиться от меня навсегда, если подвернется оказия. Может быть, я сам в свой гроб гвоздь вколотил. Только, во-первых, ты не знаешь, единственный ли я свидетель, а во-вторых: раз уж я тебя расколол, то в другой раз ты на что-то в этом роде не осмелишься. Ты уже хлебнул того, что дальше бывает, знаешь, как себя человек потом чувствует. Знаешь, что придет завтрашний день, и знаешь, какое будет будущее. И потому давай-ка лучше играть в открытую. Может, это и большой риск, но всегда он что-то дает. Теперь как ни крути, а ты в моих руках. Ты бы стоял в стороне, будто тебя и нет. А так хоть я не одинок. Ты сделаешь все, что понадобится. Лучше такой, как ты, чем никто... Потому что я ведь не уступлю, друг ты мой. Чем больше вас будет, таких, кто это понимает, тем лучше. Тут не о временной игре дело идет. Вы должны понять, что это только начало. Ну и вот, даю тебе шанс. И я освобожу каждого из вас от этой слепоты и злобы. Любой ценой освобожу, хоть бы разорвать вас пришлось».

Машталяж хлопал пьяными глазами, но не двигался, пригвожденный к месту, понурый.

— Зачем ты пришел с этим как раз сейчас? Мало тебе того, что там застал? — И он указал в сторону Липин. В жесте его был пророческий пафос.

— Хороший ты самогон гонишь,— ответил Костек,

глубоко вбирая воздух.— Я понял, что это мне сейчас и нужно.

Он встал, отодвинул автомат и подтянул спустившиеся штаны. Бурлак дремал, положив морду между лапами.

— Я тут остаюсь,— сказал Костек спокойным голосом.

Лесник еще с минуту пережевывал это, задумавшись. И наконец уразумел.

— Остаешься... здесь? Жить?

— Жить.

— А армия? Ты же на службе?

— Получил разрешение от командования,— потом добавил, кладя автомат под колено.— Ты мне нужен будешь.

— Я? А на что я тебе теперь? — И вновь лесник был неподвижный и чужой. Даже чуть заметно пожал плечами. Но что-то, должно быть, понял.

— Нужен мне будешь. Надо здесь порядок навести.

— Хорошее время выбрал. Гетман тоже порядок навел.

— Ты меня Гетманом не пугай. Что он мог показать, он уже показал. Теперь надо доказать людям совсем другое. Что он тут временно, а мы навсегда.

— Знаешь что, Курыло? Он то же самое говорил. Правительство наше называется Временное [1], а он здесь с сорокового года. Говорит про конституцию и носит орла с короной. Вчера здесь говорил: «Ну, вышло ваше время, товарищи «временные»... И велел людям смотреть, как ваших казнят... Да, нашел же ты время. Ты думаешь, они сегодня уже не помнят, что было вчера? Ты с ними будешь говорить, а они видят, как ты на веревке болтаешься. Покуда Гетмана не ликвидирует армия, ничего ты здесь не сделаешь.

— Это верно,— протяжно прогудел Костек,— покуда... Вам бы отсидеться, переждать. Нет, старина. Не время ждать. Я из них выбью страх перед Гетманом. Пусть только за дело возьмутся...

И он оживленно зажестикулировал.

— Его дни сочтены. А у нас тут своя власть. И мы ждать не будем...

---

[1] Имеется в виду сформированное 31 декабря 1944 г. Крайовой Радой Народовой Временное правительство.

Лесник презрительно молчал.

— На что я тебе нужен?

— Придешь завтра на собрание. Нет, не завтра... послезавтра. Придешь в форме, побритый, как на праздник. Ты человек казенный. Это все должны видеть. Будешь стоять подле меня и смотреть людям в глаза. Каждый человек здесь за десятерых значит. Понял?

Маштеляж кивнул, вглядываясь в него неподвижным взором.

— Я выберу в милицию новых людей. Еще не знаю, погляжу, кто там есть. Чтобы ни одного дня безвластия не было. Как наденут повязки после тех, так сразу ясно станет, что ничего Гетман не добился...

Язык у него уже начал заплетаться, самогон брал свое. Лицо побагровело, движения стали дерганными и размашистыми.

— Налей еще, не жалей! Давно мы с тобой не пили, не толковали...

Слышалось лишь бульканье и частое дыхание.

...Вот так мы сидели здесь не одну ночь, хлестал дождь, бор гудел, как море. Долгие осенние вечера в укрытии. Ах, сволота ты этакая, сколько я здесь пережил! Сюда мы возвращались, чтобы раздеться догола и высушить шмотки, от которых валил, пахнущий болотной гнилью пар, после того, как мы рассеялись, освободив евреев из бараков смерти, где они ели траву и умирали. Здесь я лежал в горячке, придя из Яновских лесов. Рана заживала долго, и, пока она гноилась, я две недели глядел в эти окна и в этот потолок, вон там, в углу, а из той щели спускался паук и по нитке обратно въезжал наверх. Каждый сучок здесь знаком до боли, каждый бугорок на штукатурке. А там, за стеной, я включал передатчик, наушники давили на опухшие уши. И снова я тут один, все как будто сначала. Но уже не те времена, друг ты мой, наши с майором едут по горячим следам, с севера — Пашин, проверяют донесения. Майор Гжибовский — старый лис, он знай себе зарубки делает, за тех, с Майдана, на лесопилке порезанных, за наших, за Ренкаса, за батю... Прочесывают деревню за деревней, просеку за просекой, заштриховывают квадраты на карте, смыкается кольцо наших, они быстрее, на машинах. Он уже знает, что выхода нет, сам себе услужил тем, что сельский народ резал. А эти здесь еще

чухаются, думают, что со мной все. Нет, братцы, вы меня еще не знаете, я ваши мысли читаю и вижу ваши глаза с вопросом: тебе еще мало? На что тебе это, Виток? А кто вам землю дал, кто тут Манифест[1] объявил? При немце все вашим горбом держались и каждый только обещал, а одни мы в первый же день дали, что обещали. Что мужик — он для себя и только для себя. Боялись вы брать из Ренкасовых рук, будто не все равно, из чьих рук. О глупый, запуганный народ, на руку не смотрят, если она честно дает. Это верно, много взято несправедливо, ну что ж, потом будем подробностями заниматься. Реакция, она лютует, как же сдачи ей не давать? Лес рубят — щепки летят... Ведь никто же из нас не знал, как оно на самом деле случится. Понимать надо: самое главное — это то, что уже сделано. А что сделано, того не переделать. Все остальное потом будет улажено, а сейчас — держать то, что наше, не дать себя свалить. Сколько народ уже вытерпел, какой ценой выжил! И так все еще боятся, так все еще ждут: а вдруг что-то случится? Даже радоваться не умеют. А ведь это первая народная власть, ведь мы же ее с незапамятных времен ждали. Только каждый по-своему себе представлял: человек не знает, что никогда оно так не приходит, как мы придумываем. Добро со злом вперемешку, несправедливость с наградой, вот такая цена, не задаром, все зубами надо вырывать и держать — это самое главное: держать свободу и землю и новую жизнь, сейчас от нас только зависящую, пока мы живем. Когда-то должны же люди это понять, когда-нибудь потолкуем, что справедливо, а что несправедливо. А теперь только держать и не дать себя свалить с ног...

Он размечтался. Хотелось бы всех их видеть здесь, объяснить им, поспорить, научить. То вдруг, расчувствовавшись, плакал над народом, всех готов был прижать к груди, всеми готов был руководить. То вдруг вспоминал, что было вчера, и вновь вспыхивала в нем ненависть, смешанная с отчаянием. Потом это проходило, он начинал думать, что еще сделает, вновь был уверен в себе, чувствовал даже прилив щекочущей гордости, вкус власти, которая у него сегодня над ними. Чувствовал, что го-

---

[1] Первый официальный документ народной власти в Польше, обнародованный 22 июля 1944 г.

тов выполнить любое дело, никто ему не посмеет в этом помешать, он еще им всем покажет... И снова лихорадочно размышлял, что надо сделать завтра, как направить все и как отстоять... «Ты теперь думаешь,— бурчал он,— что меня прикончили, увидишь еще, кто последнее слово скажет... «Ах, плачет девица по партизану»...»

Вдруг он успокоился, перестал клевать носом и бормотать, увидев красную морду Машteляжа.

— Понял? — отчетливо произнес он, хватая его за рубаху.— Послезавтра придешь на собрание. А завтра, заруби себе, завтра поедешь в повят...

Лесник слушал внимательно, уставясь на Костека красными, помутневшими глазами. Но выглядел он трезвым.

— Почему я? Своих людей у тебя нет?

— Есть. Но их еще мало. Не хочу, чтобы кто-нибудь с глаз исчез. Впрочем... ты тоже мой человек.

«Ага,— подумал Машteляж,— боится за своих, что отвалят».

— Что мне делать?

— Доставишь рапорт, понял ты, лесной молчун?.. Начальнику повятового Управления безопасности и в Комитет... Пока не починим... телефон не работает. На тебя никто внимания не обратит... Вот видишь, как я тебе доверяю... Давай бумагу и карандаш, сейчас напишем... А ты пока налей...

Он неуклюже перебрался с лавки к столу и стал что-то торопливо корябать под лампой. До слуха лесника доносились громкие возгласы и пение: «Хенде хох! — парни дружно, немцы вскинули руки, брови пляшут со страху у них...»

Машteляж посмотрел на автомат, поблескивающий на пустом табурете у печки. «Приставить бы тебе сейчас дуло к спине — и никто бы не узнал. Сопля ты пьяная, лесной герой. Только крючок бы нажать, до второго упора... Старик твой не умнее был. И ты бы за ним отправился...»

Курыло писал, слюня столярный карандаш: «Обеспечил пост новыми людьми. Связь временно прервана. При данных настроениях необходимо, чтобы кто-нибудь приехал из повята. До возвращения отряда ожидаю приказаний. Сержант К. Курыло».

«Дурак ты непутевый»,— думал Машteляж, вновь наполняя банки. Он знал, что ничего с ним не сделает, что

не в состоянии противоречить этому парню, который пришел к нему прямо после казни отца, из сожженного дома, из пустоты ненависти и измены, мутящей ум.

— Вот! — пробормотал Курыло, тяжело опираясь рукой на его плечо.— Вот тебе, старая сволочь, сума переметная, нечисть лесная, спрячь это поглубже, чтобы никто не нашел, и... марш, марш, Полония!.. А послезавтра на митинг, чистенький-аккуратненький... Вот так,— и все это с выкриками, громко и разухабисто,— ты меня знаешь, знаешь Витка, Курылу... но и они меня еще узнают!.. Кхы-кхе... Тьфу!..— он закашлялся, утирая самогон.— Помнишь Штриттнера? Коменданта полиции и СС. «Гроза Билгорая», «Кровавый Отто»... Это я его в Гарасюках приложил... Можешь об этом говорить всем, кто не знает, а тем, кто слышал, напомнить... Я тебе говорил? Ну так послушай еще раз. Возвращались мы с охоты на Черного Моше и Чубчик-Ивана. Это было на плотине над Танвой. Вереск там и осока по сухому, а ниже аир и камыш, светлячки в камыше летают, будто кто фонариком мигает, бекасы и вальдшнепы гомон подняли. А у нас была мина-тарелка, пристроил я ее меж досок, дерево сверху бросил, чтобы первые машины с охраной ее огибали. А корягу ту проволокой оттянуть можно было. Едут они полным ходом, пьяные в дребадан, хейли-хайла!.. Первые две машины, мотоциклы и вездеход, обогнули дерево, а перед его мерседесом я тарелку и открыл. Боком на нее наехал... А-а-ах! — и кинуло в болото. Те развернуться не могут, плотина узкая, они далеко. А я первый — хлюп, хлюп и та-та-та-та-та!.. Иду к нему медленно, а он на коленях и пистолет в руке, ничего ему даже не сделалось, смотрит на меня из-под рыжих свиных бровей, фуражка высокая, сдвинута назад, даже с головы не свалилась, держит пистолет в вытянутых руках, а выстрелить не может, потому что я в двух шагах и он знает, что я первый выстрелю. И пот у него из-под козырька катится, пьяный, жирный, все его клыки вижу. Золотые коронки по бокам были. Выпустил я в него, вот прямо как бы в тебя сейчас, все до последней гильзы. Краска из него лила, как из борова зарезанного. Все штаны мне и сапоги забрызгал. Только я и без того весь в грязи был. Он свалился, а я его прикладом «шмайссера» по клыкам, выбил золотые коронки... как они с евреями делали... А потом еще петлицы срезал.

Не веришь?.. Погляди, я и доселе их с собой ношу...— Он начал рыться по карманам. Достал четырехугольник сукна с серебряным черепом и квадратиками шарфюрера. Из табачного кисета выковырнул три золотых зуба на коричневом корне. Подбросил их на ладони, так, что сверкнули при керосиновом свете. Вынул еще жестяную трубку, из которой, вжикнув, выскочила пружина со свинцовой головкой на конце.— Вот что у меня еще от Штриттнера...— и со свистом принялся лупить пружиной по доске, так что Маштеляж попятился, а Бурлак заскулил.

— Врешь ты, парень... Из Германии привез, с фронта..,

— Я? Вру? Богом клянусь! Ну да... командир роты как-то влепил мне выговор за эти «трофеи». Из Германии у меня другое. Во! Видал! Рыцарский крест с мечами. Там, милый ты мой, это уже по комодам прятали... Теперь веришь? Ну так дернем... за наше... «Ах, плачет девица по партизану...» Да нет, «Выходи-и-ла на берег Катюша...»

Лесник поставил банку и обсосал рыжие усы.

— А ты, Костек, Регину видел?

Курыло замолчал, и тень подкожной крови тучей осела на его лице.

— Ты у меня гляди, азиат.

— Как хочешь. Я ведь так, по-человечески... Ох, и красивая выросла...

— Не трави, злодей!.. В самое сердце ранишь. Не смей этого имени касаться языком своим поганым. Господи боже, Иисусе, дева Мария, как же я эту девушку любил!..

И он расплакался, как мальчишка, размазывая кулаком слезы. Потом спросил почти трезвым голосом:

— Ты думаешь, она с ними?

— Да что говорить...— проворчал Маштеляж.— Ты же старика знаешь и Зенека. Зенек вот уже год в лесу сидит.

— Уж я их, гадов, приведу в порядок. А Пайда у меня под замком, в гмине. И Янус, и Стоберский...

— Значит, получается, что разобрался.

— Наш капитан велел их запереть. Попугаю и выпущу. Не в том теперь дело.

— Эх, Костек, Костек, чтоб тебя черти... любили!

— Пей, паскуда! С тобой служивый пьет. «Через мост шел матрос!.. У Семена Сонька-а-а...»

Один час сменялся другим, а две взъерошенные тени метались по стенам и по полу, увеличенные туманным светом лампы, их жесты были неестественны, будто двигались два косматых медведя. Лампа коптила, и копоть, смешанная с клубами махорки, заполнила избу до половины, колышущаяся, мутная, словно испарения над болотом. Спираль сажи ползла из лампы к потолку. Над кружком света плясали бабочки и длинноногие комары, с треском вспыхивая и падая в молчаливом балете искушения и смерти. С лавки, стоящей у печи, то и дело доносилось: «Тот платочек, что дала ты, я носить не буду...», «Ты взгляни, родная, что за бой кровавый...», прерываемое время от времени громкими выкриками: «Да что ты знаешь? Ты хоть имеешь представление, как там под Каменной Гурой было, в окружении... ба-баб-бабам...» или «Я к ним вхожу, и руки в карманах, они: «Хенде хох!», ну, я поднимаю, а у меня в обеих руках по яичку, они видят, что я вот-вот пальцы разожму, сейчас чека сорвется...»

Порой который-нибудь вставал по нужде, спотыкался и качался у порога, луна давно уже ушла, и над лесом посерело, а окна отливали денатуратным цветом. Наконец после двадцатиминутной тишины Курыло тяжело направился к выходу.

— Бурлак, пошли! Пора... того, этого... на службу... на свадьбу...

Прач с Гралевским вскочили, заслышав его сопение и шаги. Они видели из-за мешков, как при свете занимающейся зари он проковылял от здания сожженной школы, черный, точно вытесанный из угля, с двойной тенью, ползущей у ног. Вторая тень от собаки.

— Наш сержант возвращается с караула,— зевнул Прач, открывая проход в баррикаде.

Курыло чмокнул собаке и остановился, озирая участок.

— Ничего не произошло? Все в порядке?

— Без изменений, тов-сержант.

— Послушайте, Прач,— сказал Курыло, цедя слова сквозь пересохшие губы и снимая автомат,— ровно в восемь отпустите арестованных. И никаких с ними разговорчиков. Чтобы и дальше не знали, что с ними будет.

Гралевский вмешался.

— Слушай, Курыло, это же единственные наши заложники...

Костек и не посмотрел на него.

— Прач, вы слышали приказ? Я и так здесь за все отвечаю... головой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Второй день был точно такой же. Солнце встало рано, и, прежде чем попятились тени, самые длинные, как обычно на заре, прежде чем лучи его достигли милицейского участка, перескакивая через сеть засохлых вязов, уже понятно было, что жара будет не меньше, чем вчера. Чувствовалось это по свежести красок и хрустальной, какой-то обостренной искристости воздуха. Все это наполняло бодростью невыспавшиеся мышцы, вызывало состояние подсознательной радости и ожидания чего-то хорошего, что должно иметь место в красоте расцветшего дня, и, если бы даже ничего больше и не произошло, уже одно надвигающееся половодье солнца и прилив липового аромата, веяние благодати и удовлетворения сами по себе были событием, приятно дразнящим чувства. Люди выбирались во двор, потягивались, точно коты, прогибаясь в пояснице, зевали, хрустели суставами. Небо было бирюзово-слепящее, подкова леса казалась куда ближе, а пепелище как будто вновь стало затягиваться зеленью. Умывались во дворе, плескались, точно жеребята, просто распирало их от томления и внутренней раскованности. Казалось, все вчерашнее было только пьяным сном. Разве что тишина и безлюдность деревни разрушали эту иллюзию. Не кричали петухи, не мычала скотина, выгнанная из хлевов. Скелеты черных стропил кромсали искрящееся небо, и вновь они почувствовали себя точно в одичалом саду. Невольно поглядывали на разбитую башенку костела, хотя знали, что не зазвучит оттуда утренний колокол.

Весь этот второй день был точно такой же там, где дело касалось самых обычных занятий. Курыло поздно вылез на свет божий, пил воду, опухший и одеревенелый, и глаза его были все такие же угрюмые. Хриплым голосом он отдал приказания и с литровкой, принесен-

ной от лесника, исчез в туннеле обугленных стволов. Бурлак, почувствовав себя сегодня хуже, выбравшись из тени, молча потащился за хозяином. Казалось, он по-человечески вздыхает; настолько человеческой была его реакция, что Прач с Гралевским только переглянулись. Собака выразила их мысли.

Около полудня, когда они уже кончили наводить порядок в гмине, Прач обратился к молчащему товарищу:

— Что же это творится с сержантом? Даже не знаю, где его искать...

— Где-нибудь сидит и пьет. Мало у него тут родни?

Но Прач все же чувствовал беспокойство и потому решил обойти избы, поискать Курылу. Он сказал Гралевскому, в какую сторону идет. Деревня все такая же безлюдная; от зноя одуряюще пахли флоксы и гвоздики, из труб кое-где поднимался легкий дымок, за мутными от пыли стеклами его явно провожали людские взгляды. Перед самым поворотом Прач встретил старую Лосюкову, возвращавшуюся с дочерью с кладбища. Он приложил палец к фуражке.

— Видали мы его. Сидит у Исидора Стеца. Последняя изба, вон на том краю, у леса,— подробно объяснила Анеля.

Прач порадовался, что хоть какие-то союзники у них здесь есть или хотя бы доброжелательные души, хоть кто-то не смотрит на них волком, но, уж конечно, лучше, чтобы это были не свежие сироты и вдовы. Он был уверен, что когда обернется, то встретит взгляд украдкой обернувшейся Анели. Он оглянулся и увидел любопытные глаза женщины. Мелькнула спина и черный платок, насунутый на лицо. «Выше голову,— подумал он,— может, еще и удастся чего-нибудь, того-этого...»

Перед домом Стеца он, прислушиваясь, покрутился некоторое время. За окнами, окаймленными голубоватой известкой, слышались крики и пение, прерываемые долгими паузами. Близкая завеса леса колыхалась от знойного воздуха, в глубине, среди лугов, в пуховиках аира и камыша стекленела река, ослепительно искрящаяся в излучинах. Прач достал сигарету, лениво пытаясь высечь огонь. Он уже взмок и устал, пройдя этот небольшой отрезок дороги. Расстегнув ворот, смотрел он на голубые ниточки дыма, впитывающиеся высоко в верху в тень пятнистой черешни.

На кашель его вышел какой-то парнишка. Глаза как две голубые брошки. Вышел и молча на него уставился.

— Э-э... паренек, сержант там?

Парнишка затопал босыми ногами. На пороге появился светловолосый молодой человек с красным от водки лицом.

— Хвала господу нашему,— ткнул Прач пальцем в фуражку.— Сержант здесь?

— Здесь, здесь. Только... это...— Он замялся и даже смешался под ироническим взглядом солдата.— Сами взгляните,— жестом пригласил он.

Прач подтянулся и вошел. Еще в дверях он увидел развалившегося Курылу. На столе беспорядок, пустая бутылка, в низкой избе темно и душно.

— К тебе кто-то,— потряс хозяин своего гостя.

Взмах руки.

— Отвяжись...— И Прач видит повернувшееся к нему лицо сержанта.— А мы тут... хи-хи-хи!

Он смотрит в эти хитрые глазки, видит сверкающие зубы на лице, искривленном от идиотского хихиканья. Глупый смех пьяного подростка.

С Прача довольно, он поворачивается. А Курыло уже оцепенел и хрипло бросает:

— Ну что там? Занимайтесь своими делами.

— Ладно! — говорит громко Прач и поджимает губы.

Он наперед знает, как пойдет дальше. Каждый день одно и то же. Начальник пьет мертвую. «Что с ним будет? Какого черта я тут остался? — думает он, нюхая фиолетовые цветы горошка и растирая их в пальцах.— Неужто совсем парень разложился? Может, так и надо, чтобы залил он свое нутро?..»

Исидор принял Костека ошеломленно, с явным испугом.

— Это ты? — бросил он через всю избу. «Этого только недоставало, господи Исусе, как он выглядит, с армией пришел, и что он теперь сделает? И чего ему от меня надо?»

Руки от растерянности он спрятал за спину. Автомат Курылы, мундир и его, Исидора, босые ноги...

— Слышал я, что ты с армией пришел, но не верил.

«Все такой же,— подумал Костек,— все так же меня

встречаешь. Все вы как будто из другого времени, как будто это не я, а вы с луны свалились».

— Ну я.— И он все стоял неподвижно.— Видишь, глотка цела, руки и ноги.

— О господи! — вскочил вдруг Исидор.— Садись, Костусь. Что я делаю?.. Опупел просто. Прости уж, совсем ошалел. Вот как нам довелось свидеться!

...Ну да, ты сидишь в своей хате, потому что она у тебя с краю. Сидишь и смотришь, что эти Курылы и Ренкасы вытворяют. Земля, власть, винтовки, повязки. И собрания, и горлодрание... Ох, глупые вы мужики, рассуждаешь ты, вам кажется, что вы и впрямь будете править? А на что вам это, что вас укусило? Очень уж вы маленькие были, здесь, среди своих, и только случая искали. Если удастся, то, значит, выскочите, ухватите как можно больше, отыграетесь на остальных и не подумаете, что будет дальше. Когда жизнь меняется, всегда такие выискиваются. Я знаю, что ты так про нас думаешь и себя самым умным считаешь. Каждый из вас говорит: завтра, потом — а никто не знает, какое должно быть это завтрашнее завтра, на чем оно должно стоять и как выглядит. И все время думая «завтра», загляделись-то во вчера. Даже не видишь, брат, что завтра уже давно пришло и такое оно есть или такое уж будет, каким мы его сами сварганим. Перехитрили вы сами себя, мужички, вы же всегда хитрыми норовите быть. Когда рассчитывают на завтрашний день, надо к этому завтра руку приложить. А так, может, всякое переживешь, но того не дождешься, о чем думаешь. Теперь вот прикидываешься, будто тебе нас жалко, и только опасаешься, чего это мне от тебя надо? Эх, дурак ты, дурак, неужели не видишь, что все уже свершилось? Те расправятся еще с одним или другим, и это все, что они могут. Неужели не понимаешь, что дело-то сейчас в том, чтобы те больше не могли убивать? Потому что самое главное, что сейчас творится,— это уже не в их власти. Ты всегда, Исидор, был трус и дезертир...

Так думал про себя Курыло, но сказал только:

— Привет, Гранит.

Стец заметил, что Костек обращается к нему по-старому. И еще заметил, что выглядит он как-то чудно.

— Привет, Виток. Это ты уже там... сержанта отхватил?

Они стояли друг против друга и смотрели, не зная, как себя вести.

— Говорили мне,— продолжал Исидор,— что ты после фронта в армии остался.

— Можно? — спросил Курыло, садясь.

— Садись, Виток, садись. Ты уж извиняй, что в такое несчастье мы встречаемся. И аккурат в такую минуту ты подгадал вернуться...

Курыло оглядел избу. Ведет себя, как нездешний. И никак не дает понять, с чем пришел.

— О чем ты говоришь? Выпьем? — И он уже достал бутылку и выбил пробку широкой ладонью.

Исидор покорно дал управлять собой. Начисто обалдел, послушно пододвинул кружки.

— Я о твоем отце и о том, что с ними...

— Ты один? — спросил Курыло.— А твоя где?..

— Жену я к родне отправил. Один с мальцом остался...

Курыло долго булькал из кружки, потом, выдохнув, мрачно сказал:

— О моем отце ты не вспоминай. За вас он тут погиб.

...Значит, суд чинить пришел. А ты думаешь, малый, мы в том виноваты? А что мы можем поделать? Ты там сидел, в городах, и тебе кажется, что вот, все уж сделано. Ты знаешь, что тут целый год происходило? Что здесь вытворяли твой старик, Ренкас и Лосюк? Сами они во всем виноваты, сами до этого довели. Соседей своих выдавали. Люди их так боялись, что Гетмана чуть ли не заступником считали. Все у него здесь было приготовлено. Ну, ясное дело, не так бы надо с людьми... но разве не известно, что этот Гетман обещал?..

— Вечный покой им,— пробурчал Исидор, но злость и сожаление, подхлестнутые водкой, начали уже пробиваться сквозь начальную робость.— Во веки веков. А если уж по правде, как перед богом, так знаешь, за кого он по правде-то погиб? За красных, да за евреев.

Прач возвращался в деревню, раздумывая, что бы еще ему за день сделать. На Курыло сегодня рассчитывать нечего. Это в какой-то мере, если по-человечески подходить, следовало предвидеть. По его прикидке, завтра эта трехдневка должна кончиться. Все было бы обыч-

но и естественно, если бы не положение, в каком они здесь находятся. Людей мы не знаем, думал он, одним нам тут не разобраться, если захотят, легко нас могут взять. Но пока что — ведь армия только-только ушла — будут сидеть тихо. Участок более или менее укреплен (он видел издалека флаг между деревьями), еще совесть у них неспокойна после недавнего налета, да и не знают, что их ждет. Банда, спугнутая, отошла к востоку, армейцы сидят у нее на хвосте. В наших руках инициатива, жалко время зря терять. Психологически момент тоже благоприятный, чтобы опереться на честных, потрясенных расправой людей. Теперь наверняка протрезвели и чувствуют что-то вроде раскаяния. Надо бы им дать прочувствовать это поглубже, собрать мужиков вокруг себя и нормализовать положение. Но что они могут сделать одни, тут нужны гражданские люди, нормальная местная власть. Один Курыло в этом разбирается, сумеет установить контроль, будет держать деревню под наблюдением и наладит какой-то контакт с повятом. Если только не одурел от этого несчастья, если только придет в себя... Прач посвистывал сквозь зубы, раздраженный и недовольный. Пока что приходится ждать. Натура его не выносила подобного состояния: ни войны, ни мира.

Он миновал хату Прокопюков и нос к носу столкнулся с девушкой, идущей с приречных лугов. Черные волосы, влажные от пота, облепили ее лоб и шею. Сорочка с мелким рисунком, низко расстегнутая, обнажала молочно-белые налитые шары грудей. В черных сросшихся бровях и матовых глазах мерцало какое-то сумрачное, бессознательное выражение, она что-то бормотала про себя с внезапными гримасами боли, точно вела с кем-то страшный разговор. «Ненормальная или что?» — промелькнуло у него, но девушка была красива, бледность и возбуждение подчеркивали ее цыганскую южную красоту. Почти коснувшись грудью солдата, она мигом вскинула на него глаза, два смоляных, как он сам позднее определил, бездонных колодца. Она неподвижно застыла в вершке от лица Прача, ощерив белые зубы, с капелькой пота на детском подбородке. Даже отпрянуть было уже поздно. Прач просто сомкнул руки, прижал ее, как звереныша, к груди и, не раздумывая ни минуты, чмокнул. Она пахла лугом и болотной кувшинкой, холодная и в то же время кипящая, точно пойманная птица,

какие-то токи переливались в этом округлом теле от плеч через грудь и живот к ногам. Он чувствовал это сквозь мундир, крепко держа ее. Она выдавила что-то по-украински с приглушенным поскуливанием, и он почувствовал жгучую боль — это ее ногти впились ему в ключицы. Мундир на нем был расстегнут, и мускулистая шея обнажена. Но он был «человеком из стали», сколько раз демонстрировал он это в полку. «Вот сделаю вдох и попробуй, братец, меня проколоть, я йогу изучал»,— заявлял он с таинственным видом. Мышцы шеи и плеч отвердели, как камень, ногти девушки побелели от напряжения. Она видела его неподвижный профиль на солнце и насмешливые зрачки вверху, полные разнеженности и решительности. Длилось это не более минуты.

— Черт,— прошипела она, резко опуская голову. Черные растрепанные волосы щекотали его ноздри.— Пусти! — буркнула она по-польски, рванувшись вперед.— Ты кто?

— Солдатик,— сказал он насмешливо.— Видишь это место, одиночная ячейка для стрельбы. Затвердел тут парень, как его приклад колотил. Понимаешь? Каждый раз, как на спуск нажмет, так ему отдает. Отбитое это место, русалочка.

Она смотрела на него исподлобья, молча, сотрясаемая неожиданной дрожью, губы ее поминутно шептали не то заклятия, не то обрывки фраз.

— Чего тебе от меня нужно? Это вы Грицька убили, поляки...

«Чокнулась девка,— подумал Прач,— а лакомый кусочек, ей-богу».

— Может, и мы,— тихо засмеялся он,— а может, он нас. Не могу этого в точности сказать. Но у тебя, маленькая Горпына, никто жизни не отберет. Только удовольствие для солдата...— Он крепче обнял ее.— Ну, пойдем со мной, чертенок, не сердись понапрасну.

Он потянул ее, о чудо, без всякого сопротивления, в нагретые луга, откуда она только что появилась.

...«Я не хочу погибать за жидов! Спасите, возьмите меня отсюда, товарищи!..» Этот хриплый крик доносился по низу из темноты, под небом, исчерченным линиями трассирующих пуль. Это ты так всхлипывал и выл в тем-

ноте. Не до тебя было, говнюк. Очереди «шмайссеров» с плотины заглушали твое вытье. Сырая сентябрьская ночь была ночью крутого испытания, а для тех — единственным и последним шансом спастись. Они знали, что мы придем к ним, и знали, что могут погибнуть в бою или прорвать лагерную проволоку. Так или этак, но произойти это могло только в ту ночь. Никаких «потом» уже не было. Целый день моросило, трава и кусты набухли дождем, темнота звучала журчанием потока. Когда в десять небо прояснилось, поля поседели, точно прихваченный инеем бархат, точно мокрая шерсть, прочесанная скребком. Мы были черные от сырости по пояс, а там, где мы шли, на склонах выпасов, темнели за нами черные полосы оставленных нами следов. Мы обошли пруды, матовые и полосатые от ветра, занимая позиции в ольховых зарослях и на плотинах, опушенных мехом аира. Пруды были топкие, заросшие в излуках лягушечником, кувшинкой и бородатым камышом, но воды всего по пояс, можно перейти человеку среднего роста. Узников предупредили, чтобы они бежали туда. Всю операцию мы обсуждали много раз, и разработана она была детально. Спорили долго, сначала мы одни, с Бартошем и с Ренкасом, потом с Коршуном и его аковской группой. Сколько же было споров и раздоров, пока все согласовали. Это была первая совместная операция, уже не оборонительная, не вынужденная, а заранее запланированное наступательное действие. Я участвовал в этих переговорах с Коршуном, всякого наслушался, много там было сказано. Ходил с Бартошем агитировать в расположение ваших в Ирене. «Ты их знаешь,— объяснял Бартош,— может, это и помешает, а может, и поможет». Я вас хорошо знал, у вас было много хороших ребят. Я же ходил с вами: с Зенеком Пайдой, со Стоберским, с Янусом. Коршун принял нас с фасоном, с армейским шиком, прислал бричку на пункт связи в Важехах, нас ожидали строем, салютовали, демонстрировали мундиры, оснащение и снаряжение. Ему льстило, что мы обратились за помощью. Но сначала он хотел меня там унизить. «Мы не будем разговаривать с дезертирами, которые покинули ряды...» Бартош придержал меня за рукав. «Это не дезертирство, когда из укрытия уходят в отряд, активно борющийся с врагом,— отрезал он,— в сражении настоящий солдат выбирает лучшую боевую пози-

цию». Коршун спорол глупость и сам понял это. Потом начались переговоры по-настоящему. «Вы считаете, что надо освободить этих людей, этих жидов. А дальше что? Что вы им можете предоставить?» — «Они обречены на смерть. Едят траву. Там даже нет газовых камер. Эти люди на свободе могут сражаться».— «Вы хотите взять их в свои ряды, пополнить свои боевые силы (он уже не пользовался словом «жиды»). И мы должны вам в этом помогать?..» Бартош терпеливо объяснял, какой резонанс получит совместная операция против человеконенавистнической деятельности врага. И здесь, и за границей. Какое это будет иметь моральное значение. Этих людей надо спасти. Что они будут делать, вырвавшись из-за проволоки,— это уже их дело... Следует отдать должное Коршуну, он дал себя убедить. Заметил только, что там есть и советские пленные, а он не хочет их видеть в польских отрядах... «У них есть свой отряд в Билгорайском повяте, отряд действует самостоятельно. Все это наши союзники, каждый по-своему борется с Гитлером. Что будет потом, история рассудит...» В конце концов удалось ваш отряд заполучить, дальнейшие разговоры касались самой операции. Объединенные силы — это уже было что-то. И никак нельзя недооценивать значения этой акции. Через охранников и через местных крестьян, живущих неподалеку, удалось установить контакт с узниками. С командой, вывозившей трупы, они смогли переслать нам записку. День и час были назначены. Рота Коршуна шла с прудов, мы должны были забросать гранатами караульные вышки, откуда слепили прожекторы и держали под пулеметным огнем полосу земли от проволоки до плотины, захватывая камыш на прудах. Помнишь, какие мы были мокрые, еще до того, как залегли в лугах? С каждого куста, чуть его заденешь, обрушивались дождевые потоки. Отвлекающую атаку на ворота с другой стороны вел наш взвод. Я лежал в густой траве, она была высокая, противно холодная. Немцы вопреки своей пресловутой практичности не позволяли ее ни косить, ни пасти там скот, мужикам запрещено было находиться подле лагеря. Вот я и лежал, меня колотило от пронзительного холода, штаны и пиджак промокли насквозь, тянулись минуты, челюсти лязгали, руки дрожали, да так, что я винтовку удержать не мог. Возбуждение от приближающейся стычки, которая сейчас

будет, от первого большого столкновения с сильным и уверенным в себе врагом никак не могло разогреть меня, я не мог сосредоточиться, собраться с мыслями. Все время у меня крутилось в голове: эти люди жрут траву, там, за проволокой, они одичали от голода и отчаяния. В этой сочной и мокрой траве я думал о том, как бы они могли здесь наесться, а главное, укрыться от глаз и пуль охраны, и мне было просто неприятно, что я вот лежу в этой траве да еще жалуюсь. С земли небо всегда выглядит более высоким, непроницаемым, полным таинственной жизни, всегда кажется, что оттуда кто-то смотрит, а за сто шагов уже все скрыто за линией горизонта, и хоть это небо было закрыто тучами, а земля, луга и камыши звездились от дождя, и все — будто перевернутая чаша черного озера. Ослепительно белая полоса прожектора захватывала пространство перед бараками, проволоку и мокрые луга. Первые очереди и взрывы наступательных гранат, самодельных, в больших банках из-под «сидоля», наконец-то согрели нас, заставили сосредоточиться. Вот ухнул противотанковый гранатомет, близко в темноте вспыхнули взрывы, и в зареве замаячили шестиугольники будок на ажурных вышках. Одно из этих угловых сооружений смялось, как вырезка из бумаги на пурпурном фоне. Горели бараки в спиралях просвечивающего дыма, и теперь мы лежали в траве, которая сверкала, точно ее кто-то опрыскал киноварной изморозью. Узники в это время были заперты в бараках, охрана всеми силами пыталась их там удержать. Охранники стояли у всех выходов и били по каждой появляющейся фигуре. А когда поняли, что атака не стихает, то полыхнули из огнеметов, чтобы поджечь бараки. Они хотели сжечь людей в запертых помещениях, чтобы нам некого было отбить. Однако их силуэты хорошо были видны в зареве пожара, на открытом пространстве, под огнем гранат, и охране пришлось отступить. И тогда я увидел, как бараки буквально лопнули. Толпа черных теней брызнула на порванную проволоку. Теперь мы прикрывали их огнем. Надо было все еще лежать в траве и прикрывать бегство заключенных. Они шли качаясь через эту полосу лугов, все ярче освещаемую пожаром, влетали в черную шубу камыша, с плеском брели по илистым прудам, переваливались через плотину, лишь бы только исчезнуть за черным контуром укрытия, исчезнуть из

красного зарева открытого неба, где их могли достать пули. Слова и выкрики смешались с глухим хлюпаньем в разных концах пруда, водная поверхность зарябила от живых существ — казалось, кто-то ночью купает табун лошадей. Камыши ожили, покрылись движущимися полосами, стелились под тяжестью заляпанных грязью людей. Первые беглецы уже вылезали на нашу сторону. Огонь охраны усилился, встать было невозможно. Ты был возле плотины, ваши позиции стыковались с нашими. Кто-то вырос перед тобой из болота, наверное раненый, он стонал, просил, чтобы ты подал ему руку. Ты вскочил, встал над щетиной тростника и протянул ему приклад. Когда ты вытаскивал его, в ногу тебе угодила пуля. Охрана пошла в контрнаступление, стало жарко, и наши начали отползать за плотину. Я слышал сзади, как ты выл у воды: «Я не хочу погибать за жидов! Спасите, возьмите меня отсюда, товарищи...» Ты не хотел погибать ни за евреев, ни за кого чужого. Ты был хотя бы искренен. Но ты хотел, чтобы за тебя погибали русские. Будто не бывает так, что, для того чтобы ты мог выжить, за тебя погибнет другой. Ты за евреев, а за тебя где-то там русский. Для того мы и пошли на это дело все вместе. Ваши, из отряда Коршуна, и наши, из отряда Бартоша. Я бы добил тебя за эти слова, паразит, я бы утопил тебя преспокойно. А ведь сейчас ты хорошо знаешь, что это ваши оставили тебя, а мы через час вернулись, чтобы тебя взять. Все-таки вы были нашими боевыми товарищами... И эти мысли еще и по сей день в тебе сидят?..

Курыло на минуту поднял взгляд на Исидора и сказал, подчеркивая, многозначительно:

— Это я от тебя уже раз слышал.

— Слышал, от меня? — удивился Стец.— Не помню, чтобы мы об этом говорили. Когда?

— Неважно,— буркнул Курыло.— Ну, дернем! Как бы то ни было, вместе ведь воевали.

— Помнишь все же об этом,— сказал Гранит-Исидор, а сам подумал: «Вспомнил о боевом братстве. Теперь по-другому разговариваешь, понимаешь, что здешний. Круто по тебе проехались. До чего дошло, господи!».— Ну и как теперь с тобой будет, Костек?

— Остаюсь здесь,— сказал Курыло.— Как теперь со мной, спрашиваешь? Скорей уж, как с вами будет? Я, как

видишь, снова здесь. А вы? До чего вы дошли? Взять на себя кровь честных людей...

Стец уклонился от обсуждения этой темы.

— Тут между людьми пропасть выкопана,— проворчал он спустя минуту, глядя в окно.— Все ее тут копали. Видать, так написано было. Разошлись людские дороги, Костек.

— Ты так считаешь? Ну а я по-другому. Я здесь остаюсь. Пока будет надо.

— Люди теперь тебя боятся. Пока ты с армией, с вашими... Тебе этого надо? Никто ведь долго не любит в страхе жить. Понимаешь? Ты не найдешь с ними общего языка.— Он все еще смотрел в окно, уклончивый и осторожный.— Что ты теперь хочешь здесь сделать? Как успокоить всех? Ведь тут же большинство невинных людей, которые ни в чем не замешаны. Кто их спрашивал, когда вы свои порядки устанавливали? А те сопротивление оказали...

Костек молча поставил стакан.

— Ты так думаешь, будто это конец,— продолжал Исидор.— А те стоят в лесу, видят, что тут, и завтра снова придут. Здесь ты вроде одна сторона, а другая, она ведь тоже действует. Неизвестно, кто верх возьмет. Ты уверен, что по-вашему будет?.. Зачем я тебе буду врать, Костек, не верю я в это. Ну и как же ты можешь тут суд вершить? Вы же в глазах людей также виноваты. Хотя до того, что здесь произошло, не должно было бы дойти... Вот этого-то большинство и опасалось...

— Да,— ответил Костек твердо,— я был уверен, что все будет по-нашему. А уж коль по-нашему стало, то так и останется. Мы выиграли, понял? Что они могут еще показать? Несколько покойников и убийств из-за угла? Что могут еще предложить? Отобрать землю, которую мы дали? Вернуть помещикам? Генерала Андерса[1] в Варшаву ввести? Вместе с Войтюком завоевать Украину? Польшу от моря и до моря... с кем? С Черчиллем? Брось, все это старые бредни. Тот мир умер. Показали паны, что они умеют.

Он поперхнулся и долго откашливался, вытирая глаза.

---

[1] Андерс, Владислав (1892—1970) — один из представителей реакционных эмигрантских кругов в Лондоне.

— Теперь Польша другая. Такая, какую мы обещали народу. Кто этого не видит, тот темный и слепой. Ты говоришь, что не знаешь, чей верх будет. А ты бы выбрался из этого леса да поглядел, что в стране делается...— Он махнул рукой, видно не хватало у него слов.— Ты же сам сказал, что большинство тут невинные люди. А те из леса хотят из них виноватых сделать. Хотят привязать их к себе страхом. Они же ничего людям не дадут. Ничего, кроме петли и топора... И как только деревня перестанет их бояться, так и будет им конец. Вот для этого я здесь и остался.

— Зачем?

— Не затем, чтобы мстить. А затем... чтобы снять с них страх.

И они выпили, каждый сам по себе.

— Твое дело,— сказал Стец.— Ты здесь один, хоть и с солдатами. Свою игру играешь, что я тебе могу...

Курыло здорово захмелел.

— Завтра назначу новых в милицию.

— Та-а-ак...

— ...Получат оружие, если надо будет... вызовем товарищей из Жолыни.

— Та-а-ак...

— ...Наши привезут сюда Гетмана на телеге... и тогда закончим следствие. Леса очистим... Но в этом все должны помочь. Все, кто хочет здесь покоя.

— Чего тебе от меня надо?

— Ты был в лесу,— бормотал Курыло.— Ты дрался с немцами. Теперь каждый человек нужен. Столько погибло... и столько сучьих висельников гадят...— Потом с жаром принялся втолковывать: — Ты живешь на краю, до леса несколько шагов. Поглядывай на дорогу из Жолыни. Если сюда заявятся «лесные»... они могут спрятаться и наблюдать... Так вот, если они явятся, дай сигнал на наш участок.

Исидор слушал не шелохнувшись. Он смотрел в окно на часовенку, на обочину дороги и на лес, который заглатывал ее желтую полосу, будто звериная пасть.

— У тебя на дворе колодец с журавлем,— шептал Костек.— Его от нас видно, из нашего окна... Немножко Иеронимов сад заслоняет, но видно. Если будут подходить эти из банды, три раза опусти ведро. Помни, три раза подряд. А если будет темно, три раза махнешь лам-

пой. Там, в чердачном окне, под крышей, с нашей стороны... Обещаешь?

— А что я тебе должен обещать? Ты же сам говорил, что они не придут. Если только удастся...

— На всякий случай, парень. Ты что, за ребенка меня считаешь? Ну вот, видишь, доверяю тебе, Гранит.

Исидор откинулся назад и хлопнул руками об стол. Водка разобрала его, и он залился издевательским смехом.

— Доверяешь мне, хо-хо! Доверие у тебя ко мне? Ты мне сегодня доверяешь!.. Спасибо, гражданин сержант. Покорно благодарю, товарищ Виток. Сдохнуть со смеху можно, ей-богу!..

Он отдышался и продолжал уже сдавленным, приглушенным голосом:

— Мне можно доверять, ты прав, Виток. И очень распрекрасно тут доверяют. Я, как честный поляк, сражался в лесу, а на меня орали, как на предателя... Это ты был в Берлине, меня там не было. Кто отобрал у меня победу, и почести, и гордость мою за то, что я сражался? Почему я должен прятаться и уступать дорогу? Что, моя кровь хуже твоей или тех, кто пришел? За что я должен каяться и просить прощения? Любой приблудный будет мою совесть отмывать? Не для меня, товарищ, такая справедливость. Не нужно мне твое доверие. Я никому не мстил.

Костек молчал, сморщив лоб гармошкой, и смотрел на него в полной растерянности...

«Несознательный еще,— думал он,— и пропитан их пропагандой. Колеблющийся, но вроде не с ними держится. Тут еще непаханая целина, всякие обиды да сорняки. Почему так трудно найти общий язык, когда самое плохое позади?» Все это были дела, которыми надлежало заняться не сегодня, когда-нибудь позже. Но тут же он вспомнил, что вчера их убили, что не когда-нибудь, а сегодня плачут на свежих могилах. Он чувствовал бессилие и огорчение из-за пустоты, которая возникла между их словами, пугало огромное расстояние, которое отделяло вчерашние лица от этих нынешних, живых людей. И одновременно он обнаружил в себе суровое упорство, неосознанное, инстинктивную потребность выжить. Не дать, чтобы тебя увлекли месть или сомнение,

неотступно делать свое и считаться только с фактами. Водка поможет, и он справится.

— Об этом можно долго говорить, Гранит. Когда-нибудь, пожалуй, и договоримся,— буркнул он.— Но не теперь, когда убивают наших. На этом, брат, точка.— Он нагнулся и выждал, чтобы дрожь сошла с его лица.— Брось, голова, два уха, выпьем за все, что позади.

Исидоров мальчишка стоял у порога, почесывая одной босой ножонкой другую, две голубые брошки его глаз были влеплены в пьяных мужчин у окна.

Они шли по лугу, заросшему осокой и хвощом, все ниже сходя в нагретую впадину, и непонятно было, кто кого ведет, кто кем управляет. Впадина скрыла их от деревни, они очутились как в глубине зеленого абажура, где трава бугристыми пуками мягко пружинила под сапогами. Тропинка не сочилась влагой, была сухая, как прах. За изгибами Гнилки тянулись все более песчаные и голые склоны, окаймляя высокой колоннадой лес. Все это Прач еле замечал, занятый девушкой и ее странным поведением. Надо ковать железо, пока горячо. Он был возбужден, этот мощный импульс заслонил все остальные области сознания. Спало бремя подавленности, горечь плотской страсти, наслаивавшейся вот уже много месяцев,— он жаждал женщины. Обнимая девушку одной рукой, он по-своему истолковывал ее уступчивость. «Ты молодая, полна жизни и не знала еще любви, никто тебе не дал этого испытать»,— шептал он ей в самое ухо, чувствуя под пальцами ее грудь. «Ты поляк, я тебя ненавижу»,— твердила девушка. «Все это слова одни,— убеждал он ее горячим дыханием, прижимая сильной рукой.— Ты же меня не знаешь, а говоришь, что ненавидишь. Научили тебя этим словам, а смысла их ты не понимаешь. Не умеешь любить, а тебе велят ненавидеть. Вранье все это, обман, из-за которого столько молодых в земле лежит. Надо узнать мужчину, прежде чем его любить или ненавидеть». Он брел с нею через речку, увлеченно и рассеянно, смотрел ей в глаза, ступая по воде, почти достигавшей колен; вода с журчанием омывала их, а когда они были на середине, он подхватил ее другой рукой под колени и понес, уставясь в черные обморочные зрачки. Он был сильный, решительный, она

видела только его улыбку и белые зубы на загорелом лице. Ее возбуждала эта близость, застилавшая все. Она не заметила перейденной реки, все разделяющие их преграды исчезли где-то за пределами сознания. Она даже не чувствовала, что он несет ее дальше по траве, никто с нею так не говорил, это было новое, неведомое доселе помрачение. Вдруг она вывернулась и встала на землю. «Ты меня боишься? — спросил он.— Ведь я же первый хочу, чтобы тебе было хорошо. Все это неважно, что ты думаешь. Те, кто не живет, пусть спокойно лежат. Теперь мы будем любить, и ты все увидишь по-иному. Мы ждали тебя, королевна».— «Ты хочешь меня взять? — спросила она вдруг, глядя на него сквозь приспущенные гребешки ресниц.— Меня еще никто не трогал». Смех с нотками истерии встряхнул ее черную голову. Смеялась она тихо, дразняще, часто дыша. «Пойдем,— вдруг прильнула она к нему.— Ты будешь моим первым. Лучше уж так, чем по-иному бы случилось...» Прач на секунду растерялся. Неожиданная перемена ее настроения сбила его с толку. Ненормальная, подумал он, а впрочем, так ли уж это помешает? Он постарался перехватить инициативу, чтобы не чувствовать неловкости... «Вот видишь, сама поняла. Я как раз такой, какого ты ждала. Тебя бандиты пугали, бандитов уже нету. Теперь мы будем жить, и ты узнаешь, что такое любовь».— «Хорошо. Я хочу. Ты будешь моим первым». Она потянула его к лесу, сверкая по косогору босыми ногами. Прач почти бежал за нею. А она шептала: «Ты будешь моим первым,— и тихо добавляла: — А я твоей последней...» Она часто дышала, стреляя вокруг глазами. Он чувствовал ее бурно бьющееся сердце. Когда он принялся целовать ее шею, она нетерпеливо потащила его вперед. Долго они брели сквозь лесную чащу. Девушка твердила все одни и те же слова, обращаясь то к себе, то к кому-то третьему. Он насторожился, они были уже в глубине леса, никто их не мог здесь видеть. Резкий прилив желания подступил к горлу. Он уже знал наверняка, что это случится. «Куда ты идешь? Зачем? Здесь хорошо...» — «Идем, совсем рядом есть место для нас». Она раздвигала кусты руками, увлекаемая решимостью. Лес стал редеть, перешел в перелесок, молодые сосенки тянулись к солнцу из покрывшей землю хвои и нагретого песка. Молчащий зной висел в воздухе, поляна была

уютная и безмолвная. Место действительно в самый раз для них. Здесь можно любить и замирать в ленивом изнеможении. Они перепрыгнули через какую-то старую проволоку, протянутую вдоль и поперек над самой землей, и девушка опустилась на песок, разметавшись, точно срезанный куст можжевельника. «Здесь, здесь,— лихорадочно твердила она.— Хорошо, пусть будет так, раз уж не может быть иначе, пусть и я на что-нибудь пригожусь, пусть и у меня будет хоть один...» Она полулежала, опершись на локти, юбка ее раскинулась широким полукругом, он смотрел на ее колени, широко расставленные, белые, шарообразные, точно из кости. Из-под вышитой распахнутой сорочки виднелись круглые юные груди. Но прежде всего он видел ее голову, гриву курчавых растрепанных кос, точно черный куст, торчащий из песка, и лицо, известково-белое, блестящее от слез или от пота, лицо с матовым фарфоровым отливом, напряженное от гримасы боли и экстаза. И ноздри, раздутые, точно в спазме, маленькие и острые, резные, словно птичий клюв, и прежде всего глаза. Он видел бурную жажду страсти, которая меняет черты, отмечая их той печатью, которая облагораживает такие минуты, лицо, предназначенное только ему, дар памяти, возвращающийся во снах. Он думал, как наслаждение смягчит ее, наделит сладостью, отяжеленностью насыщения. Он надвигался на нее тенью ястреба, теряя ощущение тяжести. Он видел перед собой песок, пучки вереска с хвоей, как бы в увеличительном стекле, в сильном приближении. И тут за ее спиной заметил железный прутик с проволокой, торчащей из земли. Вспышка сознания, пронзительная, как судорога. И ледяной пот на висках. То проволочное заграждение, которое они перепрыгнули... Он понял гримасу девушки, ее мстительное выражение, это безумство. Приняв его на себя, она собиралась раздвинуть локти и совместной тяжестью надавить на железную пуговку взрывателя. Уступая его объятиям, она почувствовала бы это место лопаткой. Выпрямившись, она упала бы в ту сторону... «Ах ты, змея! Подлюга!» Он рванул черные волосы рукой. Припав к земле, на корточках, он тащил ее по песку. Потом упал бессильно, сжимая ее узкие плечи. И долго со свистом дышал. «Ты знала, что тут мина? — спросил он с дико искаженным лицом.— Знала об этом? Говори! Хотела на небо со мной

попасть! У, скотина хитрая, кретинка!» Он долго не мог успокоиться. Только теперь охватил его страх. Через минуту он спросил тусклым голосом: «Зачем ты это хотела сделать?.. Скажи». Девушка вскочила. Она стояла над ним, широко расставив ноги, с изуродованным ненавистью лицом. «Чтоб тебя пекло поглотило, чтобы собаки твою могилу разрыли!.. Ненавижу вас, убийцы, поляки, за Грицька, за наших, за все...» И побежала, перепрыгивая через кусты можжевельника. Издалека среди деревьев слышал он ее истеричный поток проклятий. Потом все исчезло, стихло, он остался один, вслушиваясь в тишину леса, точно это было сном. Он встал, отряхнул песок и направился в деревню. Он знал, что о том, что здесь случилось, нельзя рассказывать никому.

В нагретом вечернем воздухе, среди серебряных обоев от восходящей луны, со звездой над лесом, в оливковом небе плыл Курыло по безлюдной дороге, мимо домов, каких-то ненастоящих и безмолвных. Он не чувствовал земли и слышал только сопение Бурлака у ноги. В участке просачивался свет сквозь щели, черная тень затаилась у порога. Это был Гралевский, возникший из неподвижного пятна.

— Наконец-то,— сказал он.— Я уж не знал, что с вами.

— Все в порядке,— проворчал Костек и громко икнул.— Нового ничего? Ну, тогда... выполняйте обязанности.

— Не ходили бы вы по ночам...

— Что? — буркнул Курыло, покачиваясь на расставленных ногах.— Спокойно, товарищ... Того... значит... у меня еще дела... Бурлак, пошли!

Гралевский в темноте затянулся сигаретой, красная вспышка осветила его профиль и насупленные брови. Молча он проводил взглядом сержанта.

У лесника горел свет. Костек облегченно вздохнул. Собаки привязаны. Маштеляж как раз стягивал сапоги и сматывал портянки. Курыло, насвистывая старый сигнал, предупредил его, что он тут. Несмотря на это, лесник появился за косяком с ружьем в руках. Забавно он выглядел в одних галифе с тянущимися за ним портянками.

— Это ты? — проворчал он неприязненно, словно чем-то раздраженный.

— Ты уже прибыл? Ну и я подгадал. Ты что? Не слышал моего сигнала?

— Ты... Этак кто угодно может свистнуть. Нынче это не то же самое.

— Ладно-ладно. Главное, что ты есть.

— Только что пришел.

Он морщился. У него болели ноги.

— Передал? — спросил Костек, тяжело опускаясь на лавку.

Лесник придвинул лампу.

— Вот тебе ответ.

— Ты все рассказал? Говорил с начальником? Был в комитете?

— А ты что думаешь? Читай.

Костек поглядел на него из-под набрякших век. «Прочитал,— установил он.— Интересно, показывал кому или нет». Бумага была от повятового начальника, всего несколько фраз: «Мы получили донесение обо всем (радиограмма от капитана Пашковского). Сообщили и крестьяне. Держитесь, собирайте сведения о виновниках. Никого пока что прислать не можем, все наши люди заняты в облаве. Попытайтесь починить линию. Искреннее соболезнование по поводу трагедии, которая Вас постигла. С революционным приветом. Майор Козуб, начальник повятового Управления безопасности Жолыни».

Он долго сидел, вглядываясь в этот клочок бумаги. Не хотел встречаться взглядом с лесником. В мозгу, отупелом, шумящем от спиртного, свистели обрывки фраз: «Держитесь...», «Никого прислать не можем...», «Держитесь». Даже здорово. «С революционным приветом...» — хороший парень, правильный. С революционным приветом... На Костека накатил смех, да такой, что он готов был корчиться, выть и колотить себя по коленям. Отлично. Вот же гадство, вот чего он ждал!.. Но потом пересилил себя, сознавая, что он пьян. И только бормотал что-то, вглядываясь в бумагу. Машталяж тем временем сновал по комнате, собирая перекусить.

— Вот и ладно,— громко заявил наконец Костек, зная, что тот не смотрит на него.— Присылают людей.

В тени у побеленной печи с закрытыми вьюшками он

видел две огненные точки собачьих зрачков,— зрачков умного животного, устремленных в его сторону с тревогой и болью.

— А он как будто ничуть ничего,— сказал Гралевский, отводя взгляд от солнечной щели, оставленной в окне на уровне глаз, там, где кончалась волнистая линия мешков, накрытая сверху закопченной нишей. Из-за этого в помещении царил полумрак и прохлада, напитанная сладковатой известкой. Караульная чисто выметена, бурые лоскуты плакатов вновь приколоты кнопками к стенам. Изрубленный, с открытым нутром шкаф выставил напоказ солдатские ранцы и накидки на гвоздях, под ними поставленные рядком каски и тут же котелки. И все же в помещении уже не было того порядка, который поддерживал покойный Бобжицкий. Пронесшийся здесь ураган придал этой комнате вид сурового бункера. В пустоте, без мебели, стояли только ящики с пулеметными лентами и на центральном месте разобранный пулемет, чем-то напоминавший насекомое. С плоским матовым диском из-за полумрака и пустоты он походил еще и на деревенский безмен или другую сельскую снасть. В потолке дыра на чердак, куда вела приставленная стремянка, запасной выход рядом с лестницей. Постели их находились в другой комнате, одеяла прямо на соломе. Узкую светящуюся щель в окне, одновременно амбразуру и смотровой люк с обзором в сорок пять градусов, сектор которого захватывал всю площадь, от дороги у костела до угла сгоревшей школы и разъезда возле усадьбы Курылы,— эту наполненную солнечным светом щель с одной стороны уже затянула свежая паутина, зыбкая и колышущаяся на сквозняке. Черная бусинка в центре неподвижно висела на концентрических лучиках. Это был как бы символ обжитости и покоя. Гралевский заметил его и отвернулся от окна.

— А может, до него ничего и не доходит,— уточнил он.— Когда он собрал этот митинг и влез на костельную ограду, до того он был под газом, что даже качался. Я боялся, как бы не слетел. Но это только пока говорить не начал. По голосу никак не скажешь...

Перед глазами его стояло вчерашнее утро. Нацарапанный углем плакат у костельной калитки сзывал жителей Липин к десяти часам на собрание. Два таких же

объявления висели на здании гмины и на заборе у дома Гущи. «Все жители созываются на собрание...» И подписано: «Курыло, комендант Народной милиции в Липинах». Прач настаивал, чтобы повесить объявления на заборах особенно подозрительных людей, таких, как Стоберский, Янус и Пайда. Пусть только попробуют сорвать. Афиши, по его мнению, должны были явиться проверкой лояльности. Но, во-первых, у них не было такого количества экземпляров, а во-вторых, Курыло потребовал, чтобы повесили их в наиболее людных местах. Ему важно было само оповещение: он хотел уведомить всех как можно быстрей. Колокол на костеле разбит, оставался только рельс, в который бьют по тревоге. Они шли по высверкам росы, играющим на утреннем солнце, точно золотые монеты. Все казалось омытым светом и свежестью, даже пепелища приобрели живописные цвета, проработанные углем и сажей, в них появилась абстракционистская деформация резких линий и пятен. Все вновь утопало в зелени, в цветах, то, что вчера полыхало огнем, сегодня торжествующе сверкало маскарадом палисадников, клумб, вьюнков и зарослей. Когда они шли между заборами, возвещая вновь слова местной власти, когда стучали в рельс, звучание которого должно было заменить треск выстрелов, они и сами верили в возвращающийся мир, созывая людей точно к обеду или на работу. Дома стояли в венцах серебристых тополей, акаций и каштанов, в обрамлении нежных лиственниц, в каскадах трепещущих осин, ясеней и осокорей. Окна утопали в георгинах, в светильниках мальв, в облаках каприфоли и горошка, в огне гладиолусов, роз и петуний, прятались, опутанные плющом, слепли от вьюнка и хмеля. У ног их созревали, точно в птичьих гнездах, тяжелые огурцы и бледные тыквы, бурели маковые головки и возвышались золотые лики подсолнухов, одурял упоительный запах гвоздики и табака, медуницы и левкоев, а с грядок тянуло резедой, полынью, тимьяном. В кронах лип гудели пчелы, сгибались под тяжестью плодов ренклоды, кусты смородины и крыжовника. Но людей не видно, точно они отдали дома одним краскам и тишине, укрывшись где-то в высоких зарослях кукурузы или в непроходимых зарослях ивняка. На площади у костельной стены все же собралось немного народу, преимущественно женщины и старики. Появился в мундире лесник.

Костек Курыло велел вынести стол, который накрыли красным сукном, он сел за него, торжественный, как ребе. Но для речи к народу он забрался на ограду, откуда глядел поверх голов; могло показаться, что слова его были обращены не только к собравшимся здесь, но и к близкой лесной опушке, а может быть, уходили куда-то за лес. То, о чем говорил Курыло, и что, по правде говоря, немного удивило Гралевского, не имело никакого отношения к недавнему налету банды, к операции их отряда, частицей которого они здесь были, и ко всему, что произошло в Липинах три дня назад, то есть не имело связи внешне. Курыло, будто с печи свалился, еще раз прочитал Манифест и, перечисляя пункт за пунктом, доказал, что все они проведены в жизнь.

— Этого мы долгие годы ждали, и лучшие из нас отдали свою жизнь, чтобы каждое слово действительностью стало,— сказал он.— Так есть, и так будет, и это так же истинно, как вы меня знаете, видите и слышите, что я вам говорю.

Тишина повисла вокруг, а люди смотрели на него, как на некое странное существо с того света, как на проповедника чужой, несерьезной веры, который расхваливает на ярмарке подозрительные вещи, чудодейственные лекарства или толкования Священного писания. Солнечные блики и тени, точно муравьи, бегали по его лицу в бесшумном трепете листвы тополей и вязов, а лицо у Курылы было заросшее, мертвое и набрякшее, будто из обожженной глины. Голос тоже бесстрастный и сухой, только слюна, белеющая в уголках губ, свидетельствовала, с каким усилием ему дается речь, да еще пот, стекающий по жилам на шее. Потому что дальше он уже ни словом не коснулся того, что было. Говорил только о будничных делах, которые надо уладить. Как будто он сидел здесь и действовал уже давно, а сегодня лишь решал очередные дела на завтра. Все это у Гралевского не умещалось в голове.

Взять хотя бы выборы в ОРМО — добровольный резерв гражданской милиции. Отмахиваясь от пчелы, которая упорно кружила вокруг его лица, Курыло указал на милицейские повязки, лежащие на столе. Те самые, снятые с убитых: со Щепанека, Пачесняка и Моленды, запятнанные кровью.

— Нам нужны будут три милиционера, добровольца, чтобы следили за порядком и чтобы участок хорошо действовал,— сказал Курыло, словно объяснил самоочевидную вещь.

Гралевский тогда не смотрел на людей, он смотрел на Курылу. Глухое молчание, которое было ответом на эти слова, не доходило, видимо, до сознания сержанта. А может быть, он заранее предвидел его, потому что долго не ждал, а спокойно продолжал, точно действуя по заранее разработанному плану. Рука его, сильная, загорелая, с толстыми пальцами, с черными окаемками вокруг ногтей, указывала в напряженном молчании на три повязки и, привлекая всеобщее внимание, чуть дрожала. Это был единственный признак похмелья. Никто не шелохнулся, и почти никто не дышал, только какая-то женщина громко вздохнула с внутренним всхлипом. Но Курыло не дал им ждать.

— Предлагаю в добровольцы граждан Шимулю Яна, Рахоня Винцентия и...— он огляделся: — Качмарчика Бенедикта. Граждан таковых я знаю и гарантирую их преданную позицию в отношении народной власти.— Говорил он так, словно кому-то объяснял, и было это почти комично.— Все они бедняки из бедняков, и народная власть может им доверять,— добавил он с решительностью в голосе, после чего спрыгнул с кладбищенской стены.

Теперь все смотрели на тех, кого он назвал по именам. Шимуля был в той же самой полотняной рубахе и жилетке, только на полинялой голове сдвинута на затылок старая лоснящаяся фуражка. В первый момент, когда Курыло произнес его имя и все глаза уставились на него, он инстинктивно подобрался и воскликнул:

— Так точно,— но через минуту понял, что́ сказал, и растерялся.

Рахонь, худой и напряженный, будто снедаемый чахоткой, только откашлялся и пошевелил торчащими усами. Брюхатая баба Шимули взвизгнула:

— Господи!

Сам он уже только потом опомнился и пробормотал:

— Моя на сносях...— но это уже когда быстро откликнулся Бендик, где-то с задов группы, на границе солнца и тени.

— Те, что носили эти повязки, в могилу легли...

Все смотрели на Курылу, и казалось, что уж в этот-то момент он очнется, после всего этого театра Бендик наконец-то вернул его к действительности. Но лицо Курылы не дрогнуло. Глаза у него были прищурены, никого он не видел. В чертах лица таилась страшная усталость. Он переждал минуту, пересохшие его губы со слюной в уголках задергались, и он глухо произнес в пространство:

— Это красно-белые повязки. Польские. А какие они должны быть? Польская народная власть наша.

Бендик попятился. Женщины и мужчины молча, но напряженно глядели на руку Курылы.

— Вы, Шимуля, и вы, Винцентий, согласны? — зазвучал его голос, все такой же тусклый и глухой.— Вот и порядок. Берите повязки.

Оба проворчали:

— Так точно,— и в тишине протолкались к столу.

Прач подскочил, перекинув автомат за спину, и пристегнул им милицейские повязки на рукава. Они стояли, глядя на свои руки, словно пойманные в какой-то капкан, изумленные этой неожиданной переменой и не веря собственным глазам, неужели это они согласились сами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сразу же после собрания у костела Курыло, который поспал в эту ночь подольше, надел на рукав красно-белую повязку с буквами МО и двинулся в обход по домам. В полдень он назначил на поляне за гминой учения свежеиспеченных милиционеров. Учения должны были проводить Прач с Гралевским.

— Не жалейте их. Это старые пеньки, пусть воинской выправки поднаберутся, молодых, как видишь, тут нет.— А я обойду усадьбы,— объяснил он.— Поговорю с теми, кто не пришел. К матери загляну.

О записке от майора Козуба он им не сказал, чтобы не пали духом. И вообще не очень был разговорчив.

...Безопасность, это само собой, а хлеб выколосился, сухой, осыпаться начнет. Скоро жнивье, а мужиков почти нет, голова чем угодно занята, только не хлебом, который придется есть ближайший год. Наделы, новой властью даденные, почти не обработаны. Это верно, да-

лековато они, под Бончей, за лесом, а здесь нечего было делить, песок и мочаги, точно островок среди лесов. Когда там проезжаешь, колосья тяжело к земле клонятся и воробьи тучами срываются. Все, о чем тут шла речь, забылось. Одни в лесу, другие за решеткой или в могиле, а еще одни, вот как я, по следам гоняются. Все не так, как должно быть, все вверх ногами. А не этого ли и надо тем, что в лесу? Терроризировать, мешать нормальной жизни, пусть земля, по реформе даденная, невспаханной лежит. Мало в войну играть, тут прежде всего хозяйствовать надо. Ну что ж, потолкуем еще, односельчане любезные, где непревиденные обстоятельства, а где неспособность, злая воля. Нечего ждать, никто за вас ничего не сделает. Саботаж и пассивность придется расценивать наравне с изменой... Надо будет вышколить милицию — это раз,— загибал он пальцы, задерживаясь, чтобы вытереть мокрый лоб; Бурлак останавливался, облизываясь, после каждого его движения.— Если что случится, найдется и для них оружие. Маштеляж и понятия не имеет, что я знаю, где оно спрятано. Два: привести в порядок пепелище, очистить все, особенно усадьбы, где одни вдовы остались. Общая помощь пострадавшим. Особенно пусть поработают те, у кого совесть нечиста. Это их отучит обижать других. Да и мы возьмемся за работу. Общая работа может на всех хорошо влиять, надо их связать друг с другом, пусть каждый за каждого отвечает. Так нас учили: народ с армией, армия с народом. Три: это жнивье. Приготовиться к косовице. Кто запустит работу на выделенных ему полях, с того спрашивать... Но сначала поглядим, как мать себя чувствует...

Мать лежала у Лосюков. Перенесли ее туда по просьбе Анели. В участке за нею не было бы ухода, только мешала бы, да и не очень безопасно в помещении гмины. Надо, чтобы женщины за ней ходили, свои, доброжелательные, тоже пострадавшие. Вот из семьи Лосюка после похорон сами и пришли к ней. «Перенеси мать к нам, Костек. С женщинами ей лучше будет. Нынче надежней под голым небом ночевать. И вы без крова, и мы...»

Не хватало у него смелости показаться там раньше, не хватало смелости заглянуть ей в глаза, если пришла в себя, не было сил сказать ей. Только водки одной хотел.

— Хвала господу нашему,— сказал он, перепрыгнув через обугленные бревна.

— Во веки веков. Здравствуй, Костек.

Они сидели, как четыре совы, роющиеся среди развалин, среди теней, почернелых от сажи и полос резкого солнца, стекающих в открытые дыры. Он смотрел на этот цыганский табор, целуя шершавые руки вдовы, измазанные пеплом. Лосюкова стиснула его голову, сквозь слезы ее сверкала радость — ведь он единственный близкий человек, который может ее понять. Анеля и Сташекова Пелася застенчиво протянули ему руки. В мундире и с повязкой, он казался им большим начальником и, несмотря на грустные события, представлял силу и справедливость. Из распахнутых сорочек девушек било тепло женского тела, живое и тем более ощутимое на фоне этого торжества смерти и уничтожения. Смущенно постреливали они в него глазами.

— Мать в саду,— сказала старуха, морщась от взбухших синяков.— Проведи, Франка. Мы там постель ей повесили.

Она спала в одеяле, точно в гамаке, подвешенном между двумя деревьями... Костек тихо, на носках приблизился.

...Лежишь тут, мама, в июльском тенистом садике, между стволами уцелевших черешен, и только сон и горячечное забытье спасают тебя от осознания беды, которая тебя постигла. Ни к чему оказалась твоя прозорливость, смелая бдительность женского предвидения. Страх и многотрудность долгих лет, все увертки и хитрости, покорная вера в то, что судьба защитит праведных. Столько опасений и испытаний прошла, столько бессонных ночей и счастливых возвращений, утверждающих веру в жизнь. В твоей слабой груди и в пределах твоего воображения разыгрывались бесконечные трагедии, вызванные минувшей борьбой без милосердия и жалости. Ты прятала своих мужчин, дрожала за них, вверяла их неведомой судьбе, веря в них, в провидение и в то, что они по велению своей совести делали. А когда самое страшное уже миновало, когда из страданий явились реальные факты, подтверждающие смысл принесенных жертв, когда дальнейшие шаги надо было делать по этой же дороге, не стала протестовать, чтобы я не уходил в неведомые края. Точно пошел получать неот-

данный долг. Ты читала мои скупые письма и ждала минуты, когда это кончится. Пусть и неведомый масштаб фронта, пусть и другой масштаб мира, а все равно это было то же самое. Я был для тебя судебным исполнителем, который должен довести дело до конца. До конца, добросовестно и неукоснительно. Это ты же, ты за меня беспокоилась, пока свистели пули, пока я там тревожился за вас. И все же не уберегла ты домашнего покоя, который был так близок. Не уберегла ты своих мужчин после стольких ночей и дней. Когда-то выходила ты перед домом, вглядываясь в эту лесную дорогу, которая приведет меня издалека, а старый отец возился на дворе, чтобы приготовить все к встрече, по-хозяйски, как положено,— и вот на него там, сзади, напали и зарубили на твоих глазах. Так это случилось, будто по законам природы и вопреки законам войны. На войне ведь гибнут молодые, а старики оплакивают могилы, тут же все пошло иначе, по иным законам. Молодой вернулся из-под пуль и снарядов, чтобы похоронить отца, которого пошел защищать. Так нормально ли это или тоже против порядка вещей?..

— Это ты, сынок? Пришел. Стань вон тут, чтобы я тебя лучше видела...

Он встретился с ее открытыми глазами, взгляд их был осмысленный и усталый.

— Я, мама. Вам лучше?

...Ты в сознании, значит, и это перенесла. О боже, как ей обо всем сказать? Не удастся дольше ничего скрывать, только и урвал я два дня твоего бредового состояния, страданий твоего немощного тела, которые отрезали тебя от мира. И ведь никак мне это не помогло, ни к чему меня не подготовило, не дало никакого средства, как смягчить тебе этот удар. Ты в сознании вопреки наивным надеждам, что это удастся как-то скрыть. Ужасно, но я предпочел бы, чтобы ты лежала в горячке...

Глаза ее из-под сморщенного лба внимательно вглядывались в него, полные мысли и грусти.

— Сыночек, я все знаю,— тихо сказала она.— Тебе не надо скрывать это от меня.

...Стало быть, выручили меня неудержимые бабьи языки. Сочли, несчастные, что так будет правильней. Мне бы облегченно вздохнуть, а я вот на них в ярости...

— Уже знаете?.. Обо всем?.. Кто вам сказал?..

— Они мне сказали. И про Бернарда... и про отца.

...Ты уже знаешь и будешь думать об этом всю жизнь. Всю жизнь будешь размышлять, должно ли было так случиться. И я тебе на это никогда не отвечу. Как переменить тему? Как заговорить о чем-то другом? О чем? Что мы еще можем друг другу сказать?..

— Сынок ты мой,— сказала она тихо.— А ты его видел? Привел его в порядок?

Костек молча кивнул головой. Он хотел бы что-то сказать, но не знал что.

— Он совсем о себе не думал,— шепнула она задумчиво, точно речь шла о простуде.— Не глядел за собой... Говорил, что как ты вернешься, то и займешься всем. Тогда он сможет о себе подумать.

...Он ждал меня. Считал, что это временная отлучка. Оба вы ждали. Хоть и объяснял я в письмах, что до возвращения еще далеко. И то, что я сейчас там делаю,— это моя новая жизнь. Трудно вам, пожалуй, было это понять... До сих пор отсюда люди часто не уезжали. Не довелось вам к этому привыкнуть...

— Не берегся он,— продолжала мать.— И не боялся ничего... «Что же ты хочешь,— говорил,— для того я выжил, чтобы теперь в собственном доме прятаться? Хватит уж, попрятались. Немцев больше нет...»

— Не успел я вернуться, мама. Армия, служба... Везде мы были нужны. Не только у нас такое сейчас творится, мама...

— Я знаю, Костусь,— прошептала она.— А ты зря из-за меня расстраиваешься. Я уж, что было выплакать, выплакала.— В ее осмысленных сухих глазах сверкнули капельки.— Так... стало быть... их уж похоронили?

Он отвернулся.

— Торжественные, воинские были похороны. С почетным караулом и залпом. И ксендз был... Вместе их всех несли. Славили его, как героя.

— И Ренкаса ксендз провожал?

— Всех семерых.

— Из родни никого не было...— вздохнула она.— Ни тетки Марины, ни дядиной жены, ни братьев. Ты писал, что видался с ними недавно. Все выжили, все здоровы. На западные земли уехали. Жалко, что тетки не было. И брата Клеменса. Он из всей родни его больше всех любил.

Теперь она уже могла мечтать и выбирать кого-то из живых.

— Стало быть, на западные земли поехали. Ну да, не успели бы приехать. Далеко. Всех по свету раскидало. А я и не думала, что на отцовых похоронах даже тетки Марины не будет... Если по-иному, так наверняка приехали бы...

Он оставил ее в гамаке, размечтавшуюся, блуждающую взором по веткам. И то легче, что хоть нашла тему для раздумий.

— Вот так,— говорил он, перепрыгивая через бревна и окидывая взглядом обугленные стропила, которые расчесывали солнечное сияние, и вглядывался прищуренными от пустоты и света глазами, точно снимал мерку с несуществующих глыб воздуха.— С той стороны новую крышу надо... Они торопились, у нас больше времени. Ущерб немалый,— продолжал он, обходя уцелевшие помещения, а свет и тень попеременно били в прищуренные глаза.— Завтра пришлю старого Гущу, пусть прикинет. Шурин у него вроде плотник, составим опись убытков. Маштеляж выделит лесу, надо бы поскорей покрыть...

Лосюковы бабы шли за ним след в след, наблюдая, как он мысленно снимает мерку и как деловито, спокойно скользят его глаза. Они согласно поддакивали, больше интересуясь им самим, Курылой, нежели тем, что он вслух произносит.

— А кто же работать будет? — фыркнула наконец Анеля, пряча волосы сзади под платок и заглядывая ему в глаза.— Ведь мы тут одни, без мужчин, остались.

Костек застыл.

— Все придут работать. Вся деревня.

Женщины отвели взгляды. Анеля пожала плечами.

— Уж коли на это рассчитывать...

Он не обратил на нее внимания.

— Завтра же беремся за дело. Жать пора. Ну а что там с вашим Сташеком? —обратился он вдруг к Пеласе, пожирающей его глазами.

Она улыбнулась, скорее вызывающе, чем смущенно:

— Уж будто не знаешь? Ваши его забрали. Мог бы что-нибудь и сделать. Тяжко одной...

Она стояла близко от него, не застегнув лифчика, с недвусмысленным призывом в глазах. Думала, что он побагровеет от смущения. Но улыбочка ее сникла от взгляда Анели.

— Ох, Костек, ты и понятия не имеешь, какая у нас теперь жизнь...

А он все что-то прикидывал, все мерил что-то бурой рукой на фоне этой лазури...

Есть там кто-нибудь?

Это я, Курыло. Узнаете меня, тетя Ренкасова? Слава господу нашему.

Боже, не узнает. Подумать только, одна, последняя из Ренкасов осталась.

Ну вот, видите, это я. Жив, и теперь здесь. Ну понятно, что с войском пришел.

Да ладно, ладно, не плачьте. Вот так, посидим тут а минуточку. Не надо, все знаю, знаю, родимые.

Надолго? Ну да, останусь, должен же я остаться. Это правда, надо было мне раньше прийти, хотя бы на месяц или на два раньше, я уже собирался, когда нас направили в эти края. Как только узнал, что здесь мы операцию проводим. Вот и случилось. Вот так, знаю, знаю, что поздно...

Почему не заглянул? Честно скажу, сил не было. Пришлось отойти от людей, продумать все для себя. Боялся к ним сразу выйти, чтобы не броситься на них, не натворить чего-нибудь. Вы это лучше поймете. Правду сказать, видел я вас там, на похоронах, хоть не очень уверен, кого я видел, а кого нет. Тогда еще не думал, что останусь тут. Хотел их догнать, пока близко, но, когда задумался, сами понимаете, когда подумал, что тут осталось теперь, сразу понял, что именно здесь я больше нужен, чем где-нибудь. Так ли, этак, все равно же до них доберутся и отплатят, а здесь той порой... Ну и опять же, мать больная, никого с нею нет...

Ясно, тетя. Эх, лучше ничего не говорить. Думаю, что и от них бы услышал то же самое, если бы еще были в живых.

Кто, вы спрашиваете? Ну, ваш и мой батя. Могу сейчас так с вами говорить, потому что ваш Ренкас был мне вторым отцом. Уж простите, что напоминаю, но

тяжело мне пока еще с этим справиться. Да уж простите, не умею еще...

Наверное, правда ваша, пока еще не время. И вы об этом тоже постоянно не думайте, не бередите себе сердце. Судьба, значит, так хотела, а почему, того, видать, уже не пойму.

Один господь бог, говорите... Не знаю. Не могу так на это дело смотреть. Вы же помните, тетя Ренкасова, что это ваш муж мне глаза открыл. Всякое уже испытали, давно меня знаете, ничего я не боялся, никаких у меня сомнений не было, и рвался я на немца так, что и отец не мог удержать. Да и удерживал ли он меня? Нет, только твердил, чтобы я всегда понимал, что хочу сделать, чтобы глаза у меня были открытые, знал чтобы, почему и зачем. Только это мне и говорил, понимал, что не удерживать меня надо, а скорей уж не допустить, чтобы где-то обманули, и направить по правильному пути. Просто чтобы с понятием действовал, а не вслепую. Вот ваш это знал, и потому я ему доверял. Только тогда против нас был враг в чужом мундире, с чужим языком, либо изменники, которые к нему переметнулись. И все было понятно. А если и не все, то теперь-то уж ясным кажется. Ваш это видел и умел объяснить. Ну а здесь... кто? Свои, из того же самого теста, почти родня. Зенек, Стоберский, Стец... сами знаете. Они тебе ни фольксдейчи, да и я не пришлый. Одно, что под началом лондонского правительства сражались. И потом, тогда это была необходимость, я могу это понять, думал я тогда: такая судьба народная. А теперь вот досталось от этих, здешних, взгляните вокруг, от своих. Одна хата сожжена, а рядом целая. Один другого поджигал. Господь бог, говорите, судьба... Если судьба велит убивать своих, если нет никакой разницы, вот так просто — человек человека, то, может, и тех не надо было убивать? Тоже люди были. Человек-гитлеровец, человек-эсэсовец. Если все дело в решении бога или судьбы, то какая же там разница между родичем и гестаповцем? Я всего этого понять не могу. И трудно мне с этим смириться, чтобы это было в с е р а в н о. Чтобы вчера немца, а сегодня поляка... Где-то должна проходить граница. И впрямь правда ваша, тетя, сейчас лучше об этом не думать. Уж никак не в эту минуту.

Вы спрашиваете, что начальство. Жалко, что вы этих людей не видели, когда мы их допрашивали. А как же,

пытались их допросить. Потому ведь никто из нас не ожидал, что и здесь... Страшные дела я по деревням видел. В Майдане мы через два часа после ухода тех оказались, Этого и рассказать нельзя: наших людей к бревнам привязали и под пилы на лесопилке пустили... Боже, чего я только не нагляделся!

Зачем об этом рассказываю? Ну, раз уж везде такие дела, то и здесь этого надо было ожидать.

Дозвольте, я уж закурю, во рту пересохло от одних воспоминаний.

Вот об этом-то и речь, что раз уж мы столько всего насмотрелись, то тем более можно было ожидать, что и здесь... Конечно. А человек никогда такого не подумает. Как будто везде это возможно, только не здесь, не дома. Об этом я и хотел сказать. Достаточно было поглядеть, как они врали, как пытались один от другого откреститься, будто никто из них ни к чему такому не причастен. Ну конечно, мы тут сразу сообразили. Ясно, что принимали участие...

Нет, доказательств никаких у нас нет, но эта враждебность, неприязнь, и знаете, что я читал в их глазах? Вот-вот: что делать, «сами доигрались», вот так, именно таким вот образом. И тогда солдаты бросились на них, хотели их на месте прикончить. Да майор не допустил до этого, еле их удержал. Что сказал? Хорошо помню, в ушах у меня сидит. Он сказал: «Мы должны здесь остаться со всем тем, что тут было... Им терять нечего, а нам есть — деревню...» Вот так, потому я и остался. Ведь что значит «мы»? В мой это было огород кинуто. Потому что «мы» — это первым делом я.

Нет, тетя Ренкасова, вам не надо, а мне надо. Эти могилы по ночам вопиют. И знаете что? Попробуйте меня понять.

Да, это так, согласен с вами, лучше сейчас об этом не думать. Но забыть я не смогу. И простить тоже не смогу. Я их вижу, тетя Ренкасова, хожу вот так от хаты к хате. Пусть знают, что я тут. И они у меня все как на ладони... Если кто-то вовремя не понял чего-то — это еще их дело. Но если руку поднял и опять в леса пошли и в этом видят свою роль, роль поляков... А ведь было у них время опомниться, когда стояли они на перепутье. Получили приказ от своего начальства, отряды распущены были. Помните, ездили мы с вашим к Коршуну, что-

бы законно сдал оружие. Они об этом должны были хорошо знать. Скрыли от своих людей. Имели возможность — в армию или в милицию. Но они нашим не хотели сдаться. Предпочитали ждать русских, думали, что те их признают. Потому что, если их разоружает советское командование, значит, они за героев могут сойти. Помните, что Зенек говорил, когда они поодиночке домой вернулись? Говорили, что и дальше хотели биться с врагом, «тактически совместно действовать» с советскими отрядами. Думали, что с ними будут переговоры вести. Кто с кем? Советской Армии не до них было. Фронт продвигался вперед, а в тылах должен быть порядок. Я спорил с ним, объяснял ему как человеку: ваше дело проиграно. Хотите стране помочь? Идите с народной властью. Хотите сражаться, вступайте в армию. Сейчас каждый человек нужен, а в особенности который партизанил. Только оставьте глупые иллюзии — ваша политика обанкротилась. У них это тогда называлось предательством. Стоберский, Янус вернулись домой. Почему же в новую жизнь не включились? Почему не пошли в армию, там где нужны были и могли показать себя? А когда пошли, так занялись диверсией, людей из отрядов уводили. И вновь снюхались. Прежнее свое оружие они сдали, так с нашим оружием людей в лес уводили. Целые части бунтовали. Стец Войтек с целым взводом дезертировал. Даже Лосюков Сташек вернулся домой. Ну а здесь плели, что им приходится от госбезопасности прятаться,— это все затем, чтобы других пугать. А когда пришлось их брать, то это как бы сигналом явилось, чтобы другие загодя скрывались. Гетман всех их подбирал, «пострадавших». Им все равно стало, УПА не УПА, Войтюк не Войтюк. Уже не Коршун, любой бандюга для них был хорош. И так теперь они запутались, что отрезали все пути к возврату. Война для них кончилась, но не они ее выиграли, и что ж, теперь они одни воюют. А что они могут отвоевать, кроме опустошения и убийств? И не понимают, что ничего им это не даст, только навсегда отрежет возвращение к жизни. А ведь имели возможность. Или уже знали, чего боятся? И теперь они по другую сторону, и теперь уже возврата нет. Не лучше ли им было стерпеть обиду, понять, что их в тупик загнали? Жалею, что меня тут не было все это время, хотя теперь вижу, чем это мне грозило. Наверное, и я

бы, тетя, сложил тут голову, а может, и удалось бы с ними договориться... Но теперь нет, теперь мы их выловим одного за другим — родич не родич, свой не свой. Спокойно погляжу на них, своего дождусь. Вы только скажите мне, как тут на самом деле все выглядит. Кто тут всем заправляет? Зенек Пайда у Гетмана? Правда? А старик с ними связь держит? Когда Зенек был тут последний раз? Может, видели его в отряде? А Стоберский? Янус выкручивался, будто не знает, что с его парнем. А он показывался последние месяцы? А что вы о Стецах думаете? Особенно об Innерониме. Его Войтек в банде? А Бендик что-нибудь знает? Как вы думаете, ксендз с ними заодно? Бывали у него, когда сюда приходили? По нему не видно.

Теперь уж ничего не поделаешь, каждый из них пулю себе заработал. Да, да, заработал. И нет для них пощады. Теперь уж нет. Я буду стоять и смотреть, как их повезут, Зенека, и Стоберского, и Янусова Зигмунта, под дулами, босиком и обросших, как вурдалаки лесные, и всю деревню выведу, пусть на них глядят, пусть проводят их к машинам, и никто их здесь не тронет, никто в них даже не плюнет, грозить им не будут, только матери пусть воют и проклинают в голос судьбу свою, потому что больше их уже не увидят. Велю послать свидетеля в Люблин, когда их будут перед взводом расстреливать, очевидца, чтобы всем подробно рассказал, как и что видел, и чтобы не было сомнений, да, чтобы не было ни сомнений, ни иллюзий. За наших отцов, за эти отрубленные руки, за эту живодерню, за эти замки, в живое мясо всаженные... Пусть навсегда знают, что такое справедливость.

Что вы, тетя? Я это хорошо про себя решил. Я уже знаю, как поступить, и ничто меня с этой дороги не собьет. Не ради мести я это говорю, о нет! А ради справедливости и чтобы впредь наука была. Будьте спокойны, тетя Ренкасова, я все знаю и все запомнил, чему меня ваш муж научил, и будто своего отца вижу, будто он на мои руки глядит. Я знаю, как мне поступать надо. И вы не беспокойтесь, мы до того еще наведем здесь порядок. На коленках к вам приползут и отстроят вам все, хату поставят, поля обрабатывать будут... Что вы?

Ренкасова встала перед ним, воздев руки. Ее сухие искривленные пальцы тряслись над головой, вот они упа-

ли до высоты глаз, светящихся сейчас нехорошей эмалью безумия. Словно она хотела вырвать их.

— Перестань! — сказала она и как-то страшно захлебнулась. И еще тряслась в молчании.— Перестань! — выдавила она со стоном, который его протрезвил.— Хватит этого! Слышишь! Хватит! Хватит...

Полдень уже минул, и солнце, запутавшееся, точно пылающий факел, среди листьев, медленно перекатилось за проплешины песков поверх костела с осколком кирпичной колоколенки, когда он снова появился на дороге, прямой и подтянутый, ступая неторопливым шагом. Возвращался от Пачесняковой, сознавая, что за ним следят: куда заходит и в какой последовательности, а также с какой целью. Ведь обходил он одних вдов. Лосюковы, Ренкасова, Пачеснякова — все это смешалось у него в памяти, слившись в одну, терзающую нервы картину. Ему было ясно, что в утешители он не годится. Он чувствовал беспомощность перед этим отчаянием, перед всем, с чем столкнулся, но про себя решил, что собственными глазами взглянет на каждую, это было как бы частью его плана, сам он установил этот ритуал, выполняя его шаг за шагом, час за часом. Таков был сейчас его долг, и такова очередность дел. И вот, обойдя вдов и пострадавших, он еще сильнее почувствовал, что теперь все ждут его, и при этом не забывал, что те видят это совсем иначе. И до них дойдет черед. Он не пропустит ни одного из них, все сочтет и оценит, на каждого посмотрит, теперь он в состоянии это сделать, и будет бдительный и спокойный, не будет прятаться или уклоняться, нет, бесстрастно выдержит каждый взгляд, пусть у них нервы сдают, пусть они в штаны себе делают, потому что только это их проймет. Давить на них без всякого перерыва, давить — и пусть страх перед тем, что он сделает, висит над ними, как туча. Только не много ли он берет на себя, не переоценил ли свои силы, справится ли один со всем? — угрюмо спрашивал он себя, медленно шагая, все время ощущая подрагивающую тень у ноги, раздвигая сильным плечом кусты, живую изгородь и неподвижные заросли, где одновременно с его продвижением пробегал какой-то шепот или сдавленный шорох, точно сопровождающая его скрытно эстафета, загодя

предупреждающая, что он идет. Это бесшумное течение его собственной тени было каким-то раздражающим и самостоятельным эхом где-то за пределами прикрытых глаз. Костек даже неожиданно остановился, чтобы убедиться, замрет ли и это движение, выдаст ли себя нервным сбоем. Нет, это не Бурлак, потому что Бурлак остался с матерью,— это и хорошо, а то он еще мог бы натравить собаку на свою собственную тень. И все-таки что-то отдельно от него сопровождает его, точно настойчивый, осязаемый взгляд. И он шел, слегка напоказ, длинным тяжелым шагом, непроницаемый и презрительно безразличный. И только на повороте дороги, когда он уже сделал вид, будто направляется вправо, на секунду разминулись доселе согласные его и чьи-то еще движения. Нарушив эту гармонию, невидимый до сих пор соглядатай даже не сумел вовремя остановиться — охваченный испугом, он шмыгнул к другой стороне изгороди. Мелькнула светлая головенка в поднятой ножонками пыли. Голубые глазенки видели Костека отчетливо, как он появился по-над кустами сирени и терновника, как он исчезал где-то вверху, и только сапоги его ступали уверенно среди пожелтевших стеблей, в этом экзотическом лесу из трав, огромных, если смотреть с земли; глазенки эти следили, как он двигался изгибами межи солдатским размеренным шагом. И вот тут, на повороте, ритм сбился. Мальчонка, обнаруженный на открытой дороге, присел на солнцепеке. Высокий военный бесстрастно остановился. Был он недосягаемой высоты, и лицо его терялось в тени козырька.

— Ты чего шпионишь? — спросил он тихо.

Малец стрельнул глазами, надеясь улизнуть.

— Сказали, что ты тут пройдешь,— прошептал он срывающимся от волнения голосом. И добавил, устремив на него искренний, невинный взгляд: — А потом сказали, что ты уже идешь...

Курыло неподвижно смотрел на мальчонку.

— Иду,— проворчал он и спросил: — Кто тебе сказал?

Мальчонка не спускал с него влажных глаз.

— Она,— прошептал он и тут же поправился: — Ребята...

— Вытри нос,— сказал Костек. Потом невольно спросил: — Боишься меня? Ну, свисти отсюда.

— А ты левольверт дашь? — спросил мальчонка.

— Ступай на поляну, там ученье идет. Учатся,— уточнил он.

— Маршируют.— Мальчонка убежал вприпрыжку. Послышался его тонкий голосок из-за кустов терновника: — Идет, идет! Пошел... с левольвертом!..

Этот топот босых ног и пискливое предупреждение преследовало его в ступенчатом туннеле теней, в то время как собственная тень продирала изгороди, точно клавиши, дергающиеся в беззвучном ритме. Внутри он был высохший, как стружка, по подбородку катились капли пота. Вот он прошел погруженную в трепетный зной усадьбу Прокопюка с безлюдным двором и крышей, замшелой, точно лисий хвост, потом краем ольшаника свернул к окнам Гущи, обведенным белыми очками рам. Слева старая, точно вспухшая, дорога, складчатая от гряд пыли и лепешек сухого навоза. Издалека доносится вонь от дохлой собаки, над которой гудят тучи мух, окаймляя металлическим звоном уходящие вдаль колеи. Извечные лужи спеклись от жары, будто выложенные плиткой, обнажив мусорные залежи дна. Иволга мелодично засвистела где-то вверху, прямо над его головой, будто окарина. Это уж просто невероятно. Ребячья эстафета добралась и сюда, потому что шурин Гущи, этот худой и небритый человек, уже неподвижно стоял на фоне серебристых бревен дома с павлиньими глазками сучьев. Он видел приближающегося Курылу, видел, как тот вырастает на фоне василькового неба, вел его на привязи взгляда, а по мере того, как тот заходил со стороны солнца, прикрывал ладонью глаза, не отрывая от него зрачков. Задник с далекими песками и лесом описывал дугу за этим медленным оборотом, заключая горизонт в тесные рамки, точно в зеркальце автомобиля. Он чувствовал себя спокойным здесь, в деревне, где приближающегося человека видно издалека и своевременно. С немецкой перекрашенной тужурки сыпались опилки, точно муравьиные яички. Даже в волосах у него были сухие стружки. Он вытер большим пальцем нос и затоптал цигарку. Для Курылы он как будто вышел из белого наличника окна.

— Привет,— буркнул Костек, кивнув головой. Он чувствовал на себе этот нарочито незаинтересованный взгляд. С минуту он разглядывал корявые руки и опил-

ки, сыплющиеся с рукава.— Ну, гражданин, работа для вас будет.

Человек склонил голову, равнодушно оглядывая деревню.

— Это что же... не всех, что ли, схоронили? — спросил он.

— Нет, парень. Погорельцев поднимать надо. Вы плотник?

— Ага. Не рановато ли?

Костек, не ответив, смерил его не очень доброжелательным взглядом. Тот подобрался. Курыло указал подбородком на окно.

— Старик дома?

И двинулся вперед, не дожидаясь ответа. Плотник пошел за ним. Старый Юзва появился в дверях, точно уже ожидал его. В этом полумраке на фоне побеленной печи он казался куда меньше, испуганный, с беспомощно свисающими руками.

— Господу нашему хвала. Боитесь меня?

— Это ты, Курыло? — И старик попятился.— Правду говоришь, боюсь. За тебя боюсь.

— Знаю. Боитесь меня. Та-ак,— проворчал Костек и уселся на лавку.— Вот и хорошо.— Он снял фуражку и огляделся.— Небогато тут у вас.

— А откуда же иначе быть? Ладно, голову уберег. Сам видишь, война тут еще не кончилась.

— Одни остались. А это шурин ваш? Чего не входит?

— Сестра в Сталёвой Воле. А он сюда наведался, с неделю назад, поглядеть, жив ли я еще, вот и влез в эту историю. Теперь только и думает, как ноги отсюда унести. Сестра, наверное, тревожится. Это честный человек. А мать как? — И добавил шепотом: — Дай ей бог сил...

— Как мать?..— переспросил глухо Костек, и лицо его вдруг перекосилось.— Зачем спрашиваете? Надо было ей тогда помочь, когда помощь требовалась. Дайте воды.

Старик зачерпнул из ведра липовым ковшом, и у Курылы долго ходил кадык, так медленно он пил. Потом вытер рот, расстегнул ремень, передвинул на живот пистолет и, вытянувшись, расслабил напряженные мышцы.

— Боитесь меня,— выдохнул он.— Хотелось бы вам,

чтобы я отсюда убрался. Один ваш глаз на меня, а другой на лес.

Юзва ощетинился было, потом угас и обмяк.

— Ты меня, старика, не хули. С отцом твоим мы почти что родня были. Бог простит. Он все видит...

— Ну да. Но мы отсюда не уйдем. Запомните это. Ихнее время уже кончается. Не я, так кто-нибудь другой здесь будет. А пока что я.— Он помолчал.— Вы мне нужны будете.

Старый Гуща придвинулся поближе.

— И что ты делать думаешь? Жениться собирался, помню, но в армию ушел. Не время было. Так что ты теперь думаешь?

Костек посмотрел на него стеклянными глазами. И наконец взорвался:

— Эх, вам бы только человека за язык тянуть. Я-то знаю, что думаю делать. Порядок тут наладить. Чтобы больше не косились на лес. И запомните: спрашивать я буду, а не вы.

Шурин Гущи стоял на пороге, привалившись к косяку. Он достал кисет и папиросную бумагу. Старик глазами дал понять, чтобы он угостил Курылу. Костек взял щепоть и свернул цигарку.

— Какой это? — спросил он, не поднимая головы.

— Наш, бакун,— объяснил плотник, сплюнув крошку.

Закурили, глубоко затянулись. Бумажка расклеилась, надо было ее вновь послюнить.

— На что я тебе нужен? — не выдержал старый.

Костек для видимости подумал.

— Вы, дед Юзеф, специалист. Произведите опись убытков. Сколько леса надо, чтобы погорельцев поставить. Шурин вам поможет. Осмотрите вместе, пройдитесь, представьте рапорт... Значит, так, сколько и на что надо. Маштеляж выдаст.

Он произнес это быстро, тоном, не терпящим возражения, не допуская никаких сомнений, давая понять, что вопрос уже решен.

Старик подумал с минуту, точно подыскивая слова, и переглянулся с шурином.

— Хочешь их поднять? Сразу? Та-ак. Что ж, ты тут власть.— И он покосился на повязку на рукаве Курылы.— Только знай: они запрет наложили — не трогать, что сожгли. Пригрозили, что повесят. Люди все слышали. Вот

я и думаю, что, может, рано, пока они еще на свободе. Сам же говоришь, недолго осталось. Может, подождем, пока люди бояться перестанут. Так-то никто не пойдет на работу.

Костек понял все, кровь прилила у него к лицу.

— Они! — фыркнул он.— А вы их слушаете! Ушли, а вам *приказ* оставили... Свои указы этот бандюга может себе на могиле писать. Хватит.— Он тяжело встал, скулы его блеснули фарфоровым бликом от залитого солнцем стекла.— Чтобы я больше о нем не слышал!

Седая всклокоченная голова Гущи слегка затряслась. Он провел ладонью по щетинистым щекам, точно стирая какой-то призрак, приставший к глазам.

— Но он есть,— сказал он с бессильным упрямством. Заросший шурин стоял за ним, молча выжидая.— Он есть.

Первым движением Костека было рвануться, схватить старика за рубаху и встряхнуть, чтобы у него глаза вылезли, чтобы он прозрел. Даже кулаки у него задрожали, глыбами уткнувшись в источенную столешницу. Хотел заорать ему в лицо, чтобы он не смел упоминать проклятое имя в деревне, где еще гарь и горький запах свежей земли, что он поклялся там, в пыли дороги перед костелом, колотясь головой о застылые колени отца, своим именем и именем их всех стереть из людской памяти всякий след того, что было, чтобы поняли они, что та ночь, озаренная рыжими спиралями огня, была смертным приговором не здешним, остолбенелым, в одном белье, трясущимся под прикладами, а тем безумцам, которые уже достигли пределов того, чем человек может поразить других, исчерпали все запасы страха, за которыми человек чувствует себя высвобожденным, что же еще может его удивить, если то, чего он страшился, уже случилось, так что же еще может иметь над ним власть? Ведь сила воображения и гнетущая тревога, то, что действовало на них как страшный гипноз, сгорело в пожаре, не оставив даже крохи, которая могла еще что-то значить, перечеркнув тем самым смысл всяких угроз, так же как злоупотребление властью перечеркивает ее авторитет, свобода дерзкого отчаяния высвобождает от ее могущества; совершив все, чем они могли еще грозить? Наступает минута, когда ничто уже не имеет зна-

чения, а для них эта минута уже позади; какой-то миг ему хотелось дать им это понять, этому старому запуганному кудлачу и этому молчаливому плотнику с дочерна заросшим лицом, который стоял тут, зловещий в своем глухом молчании, неприязненно равнодушный свидетель, хотел им все это втолковать, дать почувствовать возможность высвободиться отчаянным порывом, потому что достаточно на них взглянуть, чтобы поверить в смысл того, что произошло, поверить в страшную бессмысленность террора,— и все же заколебался, поняв всю зыбкость слов, не хватало у него ни заклятий, ни веры в возможность договориться; с отчаянием почувствовал он, что нет предела ни человеческому страху, ни глубине связанного с ним падения, уже знал, сидя в этой темной избе, в подкове лесов и под солнечным ливнем, что нет у него слов разогнать мрак, проломить стену между людьми, хотя бы калитку спасения в ней проделать. Уже не заполнит он той пустоты, которая возникла между ними, ни одно движение не будет общим движением, и любая речь будет монологом. Самое большее, что он может,— это метаться на своей маленькой сцене, границы которой не выходят за пределы его рук. Осталось только упрямство и последовательность, потому что только язык фактов начнет постепенно действовать; он может над ними пока что господствовать, но убедить — еще нет. Вот он и будет делать то, что надо, одинокий в глазах всех. Теперь он понял, что обходит этих людей не для того, чтобы договориться с ними. Он обходит эти островки страха и ненависти, потому что нужно, чтобы он тут был. Поэтому он пожал плечами, выразив этим лишь одно: безграничную усталость. Он не оторвал кулаков от стола, а только оперся на них. То, что он хотел выкрикнуть, не прозвучало. И он повторил, будто не слыша последних слов старика:

— Пойдете к Ренкасовой, к Лосюкам по очереди, все прикинете, а я вам людей подошлю.

Старый Гуща выждал с минуту.

— Как скажешь, Костек.

Курыло встал, заполнив проем дверей.

— Время идет. Хлеб пора убирать. Еще зайду к вам.

С плотником он разминулся грудь о грудь.

— Инструмент есть?

Тот кивнул, провожая его взглядом.

— Как хочешь,— сказал старик.

И в этом был приговор Курыле.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

А теперь пора к Прокопюку, под чужой, полный безмолвной угрозы кров — уж если есть в деревне змий, то нельзя его обойти. Не так представлял он себе это свидание. Не в пору великого подъема свиделись они, не в самое половодье сил и ненависти, а уже когда волна схлынула, оставив их, точно чудом уцелевших после крушения, ограбленных. Встретятся на могилах и говорить друг с другом будут только в прошедшем времени. Костек помнил одинокий гроб, украдкой уносимый на сломленных отцовских плечах, но ведь и тот должен был видеть их погребальное шествие среди сожженных дворов. Был ли Грицько с Гетманом? Этого Костек не знал. Может быть, он умер от ран в той же стычке, единственная жертва другой стороны? А потом Мыкола тайком похоронил его. Может быть, погиб от пули милиционеров, отчаянно защищающихся под горящей крышей гмины. Значит, он единственная отместка за их смерть? Может быть, погиб от пули его, Костека, отца, от руки старого Ренкаса или попал на мушку Бобжицкому. Костек вспомнил, что у отца не было оружия — знал подробности их мученического конца. Так вот тебе и будут лежать трупы с обеих сторон побоища, сродненные равной солдатской судьбой. Он же знает, что не так было. Нынче ни одна смерть не увенчана славой — каждая просто бессмысленна, жестока. Он предпочел бы встретиться с ним раньше, когда Грицько убегал от него, да и он сам прятал голову от его обреза. До этого не дошло. Их растащили в разные стороны две разные силы. Армия прошла, вобрав Костека, и тогда те вылезли из подполья. То, что они нападали на людей сзади, им не простится. А сейчас кто должен дать отчет и кто за это ответит? Он, мстящий за отца, должен встретиться с мстящим за сына. Оба связаны тем, чего ни один из них не мог предвидеть: свежей могилой, которая жжет сердце и глаза. Ну что ж, надо делать свое дело, делать вы-

воды и расплачиваться за пролитую кровь. Его охватило усталое раздражение. Что он скажет Прокопюку, если его сын погиб где-то в другом месте и за другое дело?

Стрехи бородатой крыши скрывали темные колодезные окна. Он осторожно огляделся посреди усадьбы, то ли они в доме, то ли снаружи, с этой семейкой глаз да глаз нужен, а то еще какой-нибудь дурацкий фокус выкинут. Неизвестно, есть ли у них кто-нибудь еще: здесь же, дьявол побери, никто не проверял, уж кому-кому, а им-то терять нечего. Усадьба Прокопюков стояла безлюдная и пустая, точно вымерла в чуму. Он видел это краем глаза, когда входил задом к двери, бедром нащупывая дверную скобу и повернув голову, чтобы видеть весь двор. Дверь под напором плеча заскрипела, солнце, хлынув в просветы между его телом и косяками, заполнило сени, осветило лестницу на чердак и вспыхнуло кораллами в двух пылающих глазах. Эти глаза, смотревшие сверху, с лестницы, напоминали отражающие стекла или зрачки серны в снопах фар. Что-то мягко зашуршало, скатываясь сверху, он увидел босые ноги, сбегающие со ступенек над ним, белое пятно кофточки. Черная коса мазнула его рывком воздуха. Зубы сверкнули отчетливо, как белки. Еще шлепок босых ног о пол. И он увидел перед собой девушку с горящими глазами. Почувствовал ее руки на своих. Она внимательно смотрела на него, стоящего у двери так, что лицо его покрывала тень.

— Пришел,— сказала она.— Вернулся все же.

Он услышал нервный смех, пронзивший его, точно током. И высвободился из ее рук.

— Пришел, поляк. Еще раз хочешь попробовать?

— Ты кто? — глухо спросил он и вгляделся.— Ты это, Дунька?

Девушка отпрыгнула, вжалась в стену и вонзила в него взгляд, когда он поворачивался к свету. Была она мягкая, точно без костей, и стекала по этой стене к земле. Потом почти танцевальным шагом перепрыгнула на другую сторону сеней, к противоположной стене.

Долго смотрела она на него, внимательно, с мрачной серьезностью в глазах.

— Это же ты, Курыло. Это ты убил Грицька.

Он стоял неподвижно — с четко обозначенным профилем, вытесанным в бликах солнца, вливающегося в дверь. Глаза его ничего не говорили.

— Опоздал ты,— тихо проговорила девушка.— Твои старики в могиле.— Она снова перепрыгнула к другой стене и припала там, извиваясь, нащупывая спиной доски.

— А я с одним поляком любилась...— быстро сказала она.— Они Грицька убили, а я с ними любилась. Но тот, с которым я была, уже мертвый. Хочешь, пойдем со мной любиться? — зашептала она из темноты.

— Мыкола дома? — спросил Курыло, точно не слыша ее лихорадочного шепота.

— Убить его хочешь? — спросила она, равнодушно откидывая волосы.— Смотри, а то он тебя ждет.

Костек повернулся и нажал на щеколду. В избе стоял желто-коричневый свет. Язычок лампадки перед иконой метался, как желтое насекомое. Через дверь в спальню он видел кровать с пирамидой подушек. У печки и у стола ни живой души.

— Эй, Мыкола,— громко окликнул он с порога.— Ты только дурака не валяй. Выходи!

Изба казалась пустой. А ведь Дунька сказала...

— Слышишь? Это я, Курыло. Говорю тебе, выходи!

И тут он увидел его. Прокопюк стоял на коленях перед иконой, потому он сразу его и не заметил. Теперь он поднялся, черный и заросший, обратив взгляд к окну. Лицо измятое и губы распухли от сдерживаемых рыданий. В глазах и в бороздах морщин поблескивали слезы. Он сделал шаг, словно медведь с низко свисающими лапами. Оба уставились друг на друга. Неужели он не узнает?

— Ты що?

— Не узнаешь? Это я, Курыло.

Лицо Мыколы дрогнуло.

— За Грицьком пришел,— буркнул он.— Вы его уже не возьмете.

— Дождался своего,— сказал Курыло, опуская взгляд.

— А ты? — спросил Прокопюк.

— А я жив, как видишь. И буду свидетелем, когда вас судить будут.

Прокопюк слегка пожал плечами. Казалось, он равнодушен ко всему; это привело Курылу в ярость и замешательство.

— Он уже не в ваших руках и не перед вашим судом,— повторил Мыкола, и голос его дрогнул. Но тут

же обрел прежнюю бесцветную, сухую мертвенность.— А ты своего добился? Откуда идешь, с кладбища?

Костек прикусил губы, прожевал какие-то слова.

— Стариков убивали, беззащитных,— хрипло сказал он.

— А вы на силу сильную шли, с войском, с пушками?!. При Гитлере ты где сидел? В лесу. Вот и они пошли в лес, к Бандере...

— То-то вы, как собаки, перед немцами выслуживались.

Мыкола взглянул исподлобья.

— Ты мне не говори. Сам-то не выслуживаешься? А те, что не хотят выслуживаться, они где? В лесу, с Гетманом. Вот они тебе и заплатили за верную службу.

Костек переступил с ноги на ногу. Стоя в дверях и широко расставив ноги, он смотрел сверху на заросшую голову Мыколы.

— Ты знаешь, кто там есть,— сказал он помолчав.— Знаешь, потому что видал. Твой-то должен был тебе рассказать. И полицаи там, и шуцманы, и разные беглые фольксдейчи. Вместе с патриотами, так сказать. С ними еще расплатятся. Убежали и все время будут убегать, пока не прижмут их, как скотину паршивую, к забору. А твой где погиб?

— Вон чего знать хочешь,— отвернулся Мыкола.— Не твое это дело. От меня не узнаешь.

— То же самое делал, что и эти здесь. Если не здесь, то где-то в другом месте. Видно было, что так и кончит,— проворчал Курыло.

Мыкола поднял на него глаза. Злости во взгляде его не было, только печаль и мука. И в горле и в груди у него клокотало, когда он говорил.

— Разговариваешь со мной так, будто ты выиграл. А что выиграл? Ты же пришел сюда как погорелец и чем хочешь испугать?

— Не думал ты, что мы так встретимся,— сказал задумчиво Курыло, крутя головой.

— А ты думал?

Курыло взглянул в окно, где солнце припорашивало золотой сечкой вымерший двор. Тишина в родной деревне была поразительная.

— Вот в какой час нам довелось свидеться. Ты, Мыкола, послушай, что я тебе скажу. Ни твое дело не за-

кончено, ни мое. Ни здесь, ни вообще. Помни, что власть народная здесь есть и будет. Я здесь сижу, и из участка тебя видно. Думаю, что голова у тебя остыла и будешь теперь тихо сидеть. Предостерегаю: никаких глупостей. Держись подальше от всего этого. Отвоевался ты. Семья у тебя еще есть...

Прокопюк стоял неподвижно.

— Ты пришел меня стращать? На що ты пришел? Оглянись-ка, ты...— А сам медленно лез за пазуху по черной волосатой груди, выползающей из-за рубахи.

Курыло стиснул руку на кобуре.

— Давай-ка без этих штучек, старик! Брось бритву...

Тишина сгустилась в хате. Только сверчок цыркал несмело за печкой.

— Брось, говорю! Вот так. А теперь хорошенько подумай.

Тихое звяканье металла как бы помогло вырваться другим словам из горла Мыколы.

— Ну что вы еще можете мне сделать? — тихо сказал он с надрывом.— Один только он у меня был, так из него ляшская пуля кровь выпустила. Нет уже больше солнца для меня. Можете судить. Мне все равно. А теперь ступай отсюда, щоб я тебе не видел...

Голос его замер, глаза остекленели. Он не смотрел на Курылу.

Костек стоял неподвижно.

— Так помни, держись подальше. Я за тобой присматривать буду. У тебя семья. Дочка у тебя скурвилась...

Сказал он это от бессильной злости и тут же пожалел о своих словах. Человека, у которого было такое выражение на лице, следовало бы щадить. Он повернулся и молча шагнул за порог. Мыкола только махнул рукой, а Курыле почему-то пришла в голову Регина.

Уходил он от Прокопюка успокоенный, с этой стороны ему ничего не грозит. Они нейтрализованы.

— Ничего тебе не сделал. И ни на что уж не годится. Грицька поляки убили, а он им ничего не сделал. Теперь только молится перед иконой... Мужчины...

Она стояла у калитки и покусывала кончик тяжелой черной косы. Солнце никелевыми искрами играло в ее волосах. Смотрела она на Костека с брезгливой агрес-

сивностью. Он прошел мимо нее на расстоянии вытянутой руки.

— Иди ты...— процедил он сквозь зубы.

— Иди к своей Регине,— закудахтала она презрительно.— Только не очень-то дивись. Она как раз тебя ждет.

— Может, он и прав, что так делает,— сказал Прач, закурив, закинув голову назад, вглядываясь в закопченные щербины на потолке, выпуская колечки дыма, по одному, через равные промежутки.— Если бы мы тут сидели, запершись, как в бункере, носа на двор не высовывая и не имея контактов с людьми, то уж точно бы все знали, что мы трусы. Быстрей бы навлекли на себя то, от чего прячемся. Если бы они увидели, что у нас полные штаны, так быстрей бы осмелели, не заставили бы долго ждать. А что ты думаешь,— воскликнул он, вновь возвращаясь в вертикальное положение и ставя локти на стол,— не следят они тут за каждым твоим чихом? И нет у них контакта с лесом?

Гралевский вновь повернулся к щели в окне.

— Тогда зачем арестованных выпустил? Так хоть заложники были.

Прач пожал плечами.

— Говорю тебе: или он стукнутый, или большой политик.— Он потянулся, так что суставы затрещали.— Кормил бы их тут, да? Ерунда все это. Опять же, как ты себе представляешь — держать в подвале своего будущего тестя? А девушка как на это взглянет? Кто же так с невестой обращается? Он знает, что делает.

— Думаешь, что такой согласится стать его тестем? Если Курыло на него рассчитывает, то может сегодня же в монастырь идти. Это тот еще упрямый бугай.

Прач не возражал.

— Я ему дал раз по лапам,— мрачно сказал Гралевский.— Лапот мне потом рассказывал, как он к майору с претензией полез...

— Ах, так это ты ему навесил? — насмешливо покосился Прач и вновь застыл, пуская колечки.— Я вижу, что и у тебя тут свои счеты. Не знаю, скажет ли тебе сержант за это спасибо.

— На мой взгляд, он как будто и прав,— продолжал Гралевский.— Нам же велели заменить местную власть, а не оккупировать помещение милицейского участка. Ничего не поделаешь, надо браться за работу, как будто ничего не было. Только... годимся ли мы для этого — после того, что здесь застали? Я не из тех, кто умеет забывать и день за днем прикидываться кем-то другим. Лучше бы уж чужих прислали, которые этого не видели. Может, у них не так бы руки зудели и им бы легче было с ними как с людьми разговаривать...

Прач молчал.

— А уж он сам после того, что было, меньше всех здесь подходит. Чего ему комедию ломать? Человек — он всего лишь человек и есть. Это ясно. Люди его тут боятся. Ведь отец у него, мать... Все его тут боятся, все без исключения. И те, которые руку приложили, и те, которые считают, что это не их дело. Говорю тебе, они бы хотели, чтобы его здесь не было. Даже эти наши новые милиционеры так считают. Для них это только лишняя морока. И на будущее тоже. Так уж мир устроен.

Прач рассеянно поерзал.

— Я только одному удивляюсь: что он не ушел с отрядом.— И строго добавил: — Преследовать банду. Отомстить.

— Вот именно,— покивал головой Гралевский.— Это для него было бы лучше всего. Не могу я его уразуметь... Глянь, глянь быстрее! Да иди сюда живей! Видишь этих щучьих сынов? — Он указал на щель в окне.

Это были свежеиспеченные милиционеры, Шимуля и Рахонь. Они вышли из-за угла школы и явно направлялись к участку, потому что, свернув к двери, на миг задержались. Их неодинаковые по росту фигуры, напоминавшие Пата и Паташона, Гралевский с Прачем видели прямо перед собой в самом центре озаренной солнцем амбразуры. Оба милиционера, украдкой оглянувшись по сторонам, достали из карманов бело-красные повязки и торопливо надели их на рукав. Единственный признак их служебного положения, потому что оружия у них не было.

Прач и Гралевский переглянулись.

— Ты посмотри на этих прохиндеев, а? Они только тут надевают служебные повязки. А так-то боятся их носить, чтобы не увидели...

Прач на минуту стиснул веки, точно устав от света, и устремил на товарища раскрытые, безо всякого выражения глаза.

— Хороши у нас помощнички?

Гралевский помолчал, разглядывая свою загорелую руку, крупную, с короткими пальцами, он растопырил их, точно изучал каждый в отдельности. А может, считал что-то в пределах пяти?

— Это ничего, друже,— сказал он с мрачной миной, пытаясь подражать чьему-то голосу.— Надо к ним по-хорошему относиться...— Умение пародировать было не его специальностью. Прач это знал — ведь Гралевский был человек-порох, белые пятна сразу же выступали у него возле носа.

Два добровольца вошли в помещение. Прач, не вставая, указал им рукой, чтобы они сели, но те остались у двери. Воистину комическая пара.

— Жарко? — спросил Прач.

— Да-а...— подтвердил Шимуля, а Рахонь только дернул торчащим кадыком. Потом прошел в угол и, нагнувшись над ведром, зачерпнул кружкой воды. Гулко проглотил ее и долго, заботливо вытирал усы, точно жук в тени ветвей. Наконец оба сели на лавку у стены, осторожно, точно пришли в учреждение, напряженные и зачарованные обстановкой.

— Коменданта где-нибудь видели, товарищи? — спросил Прач, угощая их сигаретами.

Шимуля кашлянул.

Предупреждаемый пронзительными голосами мальчишек, которые сновали по меже за завесой колосьев, он приближался к усадьбе Януса. «Теперь к этим,— повторял он про себя,— к этим бандитам и умникам, под самый конец, когда я уже всех обошел, они должны это знать, пусть поломают голову, о чем я говорил с остальными и до чего мы договорились, пусть видят, что их оставил напоследок и что к ним особый подход, будто уже все о них знаю, а ведь я не знаю ничего, могу только догадываться, капитан велел их посадить, а я их сразу же выпустил, вот они и видят, что я тут хозяин и что у меня своя политика. Только бы я как-нибудь с нею справился, вывернулся бы с этой своей политикой. А какая

тут политика? Просто не дать себя запугать и чтобы они не диктовали, что мне делать, а поглядывали, что я намерен делать. Пусть знают, что все это приостановлено только на время, пусть знают, что это только их касается, что они тут в меньшинстве. Пусть будут в растерянности, неуверенные, пусть выжидают. А прежде всего заставить их работать, поглядеть, что тут делать надо». Он ощущал движение в этом как будто вымершем доме и понимал, что своим приходом он его вызвал. «Не застану ли я там вдруг неожиданных гостей?» — подумал он, направившись прямо к двери, уже давно просматриваемый из окон. Стало быть, чувствовали себя довольно уверенно, если частенько наведывались. Алоиз отпирался, но ведь все знают. «Мало нас,— со злостью думал Костек,— всю деревню на виду не сможешь держать. Вот хоть бы и про Грицька, что он дома был, не знали». Но тем более он должен делать вид, будто знает обо всем. Этого только не хватает, чтобы они заметили, будто он боится. Зигмунт Янус, партизанская кличка Цапля, а может быть, уже иначе теперь зовется? Всегда был правой рукой Зенека, а при всем том падаль трусливая. «Я ведь тоже был правой рукой Зенека, но те времена давно миновали. Уверенно себя чувствуют, хотя уже год как война кончилась». Шел он медленно, зная, что за ним наблюдают. Тут дело не в том, чтобы застать врасплох. Он постоял возле улья, закурил, чтобы помедленнее время шло. Затянулся, лениво оглядываясь по сторонам, и наконец пересек двор. За дверью послышалось шуршание, когда он нажал ручку. Алоиз Янус лежал под большой периной в другой комнате, дверь в которую была открыта. До самых глаз укрылся, но в носках и даже края штанин торчат между прутьями кровати. Врасплох застал, прямо в одежде в постель сиганул. Лицо красное, усатое, сопит из-под одеяла. По всей избе денатуратом разит.

— Кто там? — проскрипел он с усилием.

— Будто не знаете? — буркнул Костек, медленно выпуская дым.

Он прислушался, желая установить, есть тут еще кто-нибудь. Открытое окно терлось о бутоны желтых лилий, пчела жужжала в углу рамы.

— Сюда дернул? — спросил он равнодушно, указав подбородком на открытое окно в глубине.

Янус повел взглядом в указанном направлении, сде-

лав оскорбленное и надутое лицо, но в глазах таилась неуверенность.

— Хворый я. Денатуратом натирался. Открыли, чтобы выветрилось.

Он громко икнул, крупные горошины пота катились по вискам.

— Когда прячетесь от меня, так хоть штаны снимайте. А ведь и правду скрючит, в крестец вступит.

— Не прячусь я от тебя,— проворчал Янус.— Меня же твои отпустили. Значит, ничего ко мне не имеют.

...Все же остался, никому не прощает. Правильно я сказал: сейчас надо сидеть тихо. Пусть шляется, много он пронюхает. Забоится шаг отсюда сделать, к Жолыне никто не пройдет, и оттуда тоже, как видно, никого не прислали. Нет дураков подставлять голову там, где Гетман правит. Заставит их удостоверение сжевать и в одних подштанниках, с дощечкой на спине, в Сан бросит. Одного офицера в муравейник зарыл. Ну ничего, даст кругаля и снова сюда вернется, вот-вот кого-нибудь на разведку пришлет. Уж он сумеет этих вояк ущучить. А этот паскудник так уверен в себе, будто на постоянно явился. Что он может выкинуть? Приехал и увидел отца зарубленного, а от родимой хаты один пепел — тут и умом можно тронуться. Покорить не покорит, а всякое натворит за эту пару дней. Дали ему власть, стало быть, хотят, чтобы он тут по-своему расправлялся. И это называется по закону? А потом скажут: «Потерял рассудок от тяжких переживаний, простите, дорогие товарищи...» Всегда это была паршивая овца в деревне, еще до войны в старом Курыле, упокой, господи, его душу, хорошо разобрались. Пан Пачоский, что управляющим был у Замойских,— ах, и умный был человек, образованный,— когда-то кнут об него обломал. «Чтобы мне этого висельника никогда на работы не присылать!» — всем говорил он в Хажевице. Маштеляжу и прочим лесникам было приказано палить по нему из дробовика без предупреждения, как только в панских лесах появится. Прав был Пайда, что держал этого молодого разбойника от своей девки подальше. Интересно, ради нее вернулся? Нет, не только поэтому, они же местных всегда используют. Не будь у них приспешников, следа бы от них не осталось. Стоит и смотрит. Чего ему надо? Держался бы, отщепенец, своих ребят, и ни к чему было бы все это, кровь эта про-

литая, народ побитый. Разве не был мой Зигмунт тебе дружком, а Зенек Пайда разве не водился с тобой? Бросил своих, вот и дождался наказания за свою службу красным. Из-за таких вот, как ты, приходится им по лесам бродить, в родной стране за партизанские заслуги им казнью грозят. Но сейчас это здесь не пройдет. Хотел круто действовать, вот и с тобой круто, с чем ты остался? Что ему от меня понадобилось? Наверное, насчет Зигмунта пришел выпытывать? Можешь вынюхивать, здесь ты его не поймаешь, да и они тебе долго ходить не дадут. Наверное, еще не знают, что ты сюда явился, незадачливый берлинский герой...

— Вы только со мной не играйте. Я вас знаю,— хмуро сказал Курыло.

Янус подул сквозь усы.

— Ты что, думаешь, я к этому причастен? — спросил он, помолчав, отворачиваясь от солнца, отблеск которого зайчиком бегал по перине.

— Это к чему? — небрежно бросил Курыло.

— Ко всему этому,— неуверенно продолжал Алоиз.

— Да-а-а... Дело ясное. Больной, значит.— Он настойчиво смотрел на распахнутое окно и крыши ульев в облаках черешен.— А Зигмусь, значит, за лекарством побежал.

...Там тоже были такие ульи. Обмотанные плетенками из соломы, будто чучела в разноцветных шляпках. Все казалось человекоподобным и подозрительным в этом побелевшем, пастельном освещении, в молочном и холодном сиянии, как фарфор или кость, источающем спокойствие, но с подсознательной опаской, которая проникала в глубины души; спокойствие, внимательно щурящее настороженные глаза. Мерцающий иней сыпался с ветвей невидимым и неощутимым трепетанием, собственным дыханием утра, где комковатый воздух незаметно превращался в летучие кристаллики, ломкие и хрупкие. На тонком рисунке стеклянных ветвей, на складчатом, задубеневшем тулупе снега глыбы служебных строений в Бонче голубовато вырисовывались под розовым небом, в звонком от мороза, как фаянс, воздухе. Было градусов тридцать, скованное, побелевшее небо, даже дым пригибало к земле. От мертвого розоватого пространства слезились глаза, такая окоченевшая была недвижность тишины. Они вышли еще до света, чтобы

прийти сюда утром, тяжело дыша, взмокшие от сугробов. Сговорились с девками, но один от другого это скрывал. Пьяная блажь погнала их после загульной ночи, и это имение, вплавленное взошедшим солнцем в радужную белизну мороза, дышало жестокой отчужденностью, было каким-то скелетом в игре хрустального солнца, от него тянуло ностальгией зимней пустоты, лишенной теплорода людских жилищ. Они остановились, утирая слезы, и почувствовали, как остывает возбуждение, а иней проникает в кровь. Под большим закоченелым небом утонувшие в снежных покровах имение и сараи, избы и хлева отливали позолотой первых лучей, чужие, строгие, нежилые. Тяжесть мороза приглушила их бдительность, и все же они ловили тревожную настороженность, и вся эта вылазка без разведки показалась идиотской выдумкой. Оставив за собой борозды в лиловых сугробах среди редких ветвей сада, они миновали ульи, полезли через жерди изгороди. Собака не залаяла, только ветки роняли в тишине тонкую ледяную пыльцу. Зигмунт всю дорогу намекал, какое ему тут предстоит «дело» провернуть, и притворялся злым, что и Костек идет с ним, хотя вовсе даже был доволен, что не один. Во-первых, еще не известно, пошел ли бы он один, а потом уж коли есть свидетель, то и пришлось пойти, поздно было увиливать. Жуть до чего глупый был этот сопляк. Он неуклюже перелезал через жерди, раскорячившись, как петрушка, одна нога по эту, другая — по другую сторону, на дворе было пусто и мертво, только снег синел полосами и желтело раскиданное сено, длинные конюшни с темными арками дверей и клети, вытянувшиеся линией, сутулились в зимней белизне единой полоской одинаковых крыш, заброшенные молотилки вздымали шапки снега, хрустальные и бородатые; какая-то девушка вышла из хлева, шустро топая по морозу с разрумяненным лицом и полоской пара у рта, вялый дым, тянущийся из трубы в центре высоких крыш под зеленым железом, обдутых от снега на изломах, говорил о том, что на кухне готовят первый завтрак, стекла отливали холодным золотом, и все как на белой тарелке, как по тюлю вышито, как в паутинке хрупкого льда, лиловое, как вереск, и бирюзовое, как вода, подернутое глазурью мороза, как слиток металла под безбрежным озером утреннего неба; картина эта въелась в его память, как холод в отмороженную

часть тела,— как раз Зигмунт перелазил через изгородь, когда в белой тишине раздалось это «хальт!» и он застыл, будто кукла на изгороди, несколько секунд так и просидел. Из-за осины посреди двора появилась фигура немца. Он был в белом полушубке со стоячим меховым воротником, голова под вороньей шапкой обмотана шерстяным шарфом. Он шел напряженно, придерживая сбоку автомат на ремне. Видимо, вышел отлить к дереву. Тут Зигмунт выбросил что-то в сугроб, и немец наверняка это заметил. Двинув локтем, он дал Костеку понять, чтобы тот следовал за ним. Их разделяла изгородь, с минуту Курыло колебался — не дать ли деру. Но деревья тут были редкие на фоне голого сада, бежал бы он медленно, увязая в снежных завалах. Немец взял их как дураков. Приказал отойти от изгороди и сапогом стал ковырять в сугробе. Длилось это изнурительно долго. Наконец приказал идти к строениям. Допрос проводился на кухне, и конца ему не было. Немец, когда раскутал шмотки, оказался молодым блондинистым красавчиком. Откуда здесь и куда шли? И опять — кто такие, что, кто, почему? Они придерживались все той же пьяной и верной версии. Девушки, женщины, Fräulein. Немец хлебал горячий кофе, и глаза у него посмеивались. Похоже, понимал их, можно было догадаться, что и самого его на эти дела тянет. Но это только теоретически. Он все крутил головой (Костек же смотрел на горячий кофе) — и вдруг начал кричать. Они ничего не понимали, уловили, что они бандиты из леса. Зачем же тогда подбирались рано утром со стороны голых полей? Панна Станишевская, вызванная для опознания, показала в их пользу. Знать их она не могла, и они ее видывали только со стороны, но она утверждала, что знает их обоих, что это спокойные и хорошие парни. Ведь партизаны не ходят без оружия, а эти давно уже здесь появляются, за девушками ухаживают. «Amour», говорила она, «liebe», и немец как будто все больше уступал. Сам, наверное, не раз пощупывал панну Стеню или которую-нибудь из многочисленных приживалок. Костек приободрился, но вдруг положение их резко ухудшилось. Другой немец, посланный, наверное, этим, весь с мороза, залопотал и показал на ладони пистолет. Было ясно — Зигмусь пошел с оружием и бросил его в снег, когда немец наскочил на него. Немец не смог найти пистолет в сугробе и по-

слал другого, который и пришел с доказательством. Курыло понял весь кретинизм Цапли и во что впутала их обоих мудрая голова товарища. Ох, и набил бы он ему сейчас морду, перепуганную и дурацкую, он даже бровью не мог шевельнуть под холодными, цвета бирюзы, глазами немца. «Чей это? — спросил сладко немец, и уже видно было, как он весь меняется.— Ну! — заорал он.— Кто из вас это обронил?» Они молчали, стараясь не видеть своих лиц. Грохот крови, бьющей в висках, слышно было, наверное, по всей кухне. «Ach so?» — сказал немец, и они поняли, что их ждет...

— Вот видишь, Костек,— произнес Янус, глядя стеклянными глазами в потолок.— Что нам зря сволочиться? У нас никогда общего языка не было. Ты на своем возу ехал, а мы на своем. С любого воза можно слететь. Я по-христиански подхожу. Тебя сейчас беда постигла. Так что я тебе буду в такую минуту...

«Вот как врежу в это хайло». Зуд в руке — просто мочи нет. Ах, набить бы тебе морду!

...Цепь причин и непредвиденных следствий. Из-за одного трусливого движения. Из-за минутного страха, который охватил этого говнюка. Из-за слепого, инстинктивного страусиного поступка. Они не могли знать, никогда ничего нельзя знать заранее, но они же могли туда не идти, не являться без резону в такую минуту; хотя, так рассуждая, никогда ничего не следовало бы делать. Прошло уже полчаса, первые полчаса, когда они стояли на морозе, переступая с ноги на ногу, и со страхом смотрели на свои белые, мертвеющие ступни. И вновь быстрое топтание, этот зловещий танец друг перед другом и перед затуманенным от холода плоским стволом из оксидированной стали, с пустой обоймой, перед этим куском металла, явившимся причиной всего. Солнце, розовое, как пеларгония, медленно вздымалось над серебристыми ветвями, утренняя гамма красок замутнилась, тучи туманным тулупом приглушали цвета, все синело, все набрякло, как опухоль на отмороженном месте. То ли мороз сжалился и отпустил, то ли тело перестало его чувствовать? Посыпались было ледяные иглы, и вновь все прояснилось от замерзшего солнца. Пистолет Цапли, найденный у изгороди, лежал между ними, а они огибали его, выплясывая со связанными за спиной руками, по радиусу отпущенной им веревки. Сторожививший их немец

тоже притопывал, но у него ноги были в толстых войлочных сапогах. Глазами они не сталкивались, но от пистолета взгляда не отрывали. Немец время от времени подходил и тыкал их локтем, ошалелых, подпрыгивающих на морозе. «Ну, признавайся. Ты его выбросил?» — и, встретив слезящиеся глаза, равнодушно отходил. «Признавайся, трус!» — мысленно кричал Курыло, чувствуя, как обжигает ледяная сосулька, застывшая под носом. Страх, вылазящий из глубины груди, подавлял мысли смятением, граничащим с безумием. Стиснутые зубы болели в деснах, он уже не владел собой, изредка встречая взгляд Зигмунта. «Хочешь на меня свалить, а чем тебе это поможет? Ты же знаешь, что и я знаю, что это ты струсил и бросил оружие, ты, дешевый сопляк. Хочешь, чтобы мы оба из-за тебя, негодяй, сдохли?» Он встретил глаза Зигмунта, жалобные, расплывшиеся от слез. Сопляк скулил — побитый, скулящий пес. «Это же твой, почему ты хочешь свалить на меня, думаешь, тебе это поможет?» Ноги перестало обжигать, он чувствовал, что слабеет от этого жуткого танца на морозе. Снег, точно холодное железо, проникал, клетка за клеткой, в тело...

Они ничего не знали о людях из отряда Утеса, которые как раз устроили засаду на этого немца-блондина. Весь прошлый день он был у них под наблюдением. Пришли они ночью, получив известие, что тот явился. Ожидали, когда рассветет. Уведомила их работница, некая Рожек, Магда ее звали, Костек знал ее по внешности. Те спокойно ждали, спрятавшись в сарае, в закромах, пятеро их было, действовали по плану. Немец показался перед завтраком, они уже спускались, когда все дело испортили Курыло с Зигмунтом. Для тех они были чужие, и те, что в закромах, решили обождать, Магда дала им знать, что немцы схватили двоих из леса. Те стали ломать голову, кто бы это мог быть. Сначала думали, что Утес кого-то послал, но эти были чужие, они видели их лица в щели сарая. Все это путало дело и затягивало операцию. Оба немца, блондин и водитель, были уже считай что «сделаны», риска никакого. На редкость удобный случай, пока они были одни. Зарывшись в сено, они смотрели сквозь щель под стрехой на двух парней, босиком выведенных на мороз. Еще подумали, что немцы собираются их расстрелять. Посоветовались, вмешиваться

ли. А тех держали связанными, будто решили заморозить насмерть. Все это идиотским образом путало карты, и самое главное — уходило время. И вот так, целиком уйдя в наблюдение за схваченными, они не заметили появления жандармов. Блондин, видимо, послал кого-то на пост у шоссе, потому что сам, это они хорошо видели, не покидал имения. Мотоцикл, белый «цюндапп» с коляской, все время стоял у газона. И было около десяти часов, когда фургоны на гусеницах и три пары саней появились в главной аллее. Труба дело! Немец привел людей. Костек первый услышал гортанное карканье немцев и гул моторов. Тут же он понял, что это связано с ними, и принял это как избавление. «Каюк,— подумал он,— из-за такой вот подлюги...» Но того, что произошло потом, он не мог уразуметь начисто. Слишком много столкнулось сразу неожиданностей, слишком мало знал каждый из участвующих в этих событиях в морозный, заиндевелый день под затуманенным солнцем, среди ослепительных сугробов, о присутствии других, о чужих намерениях, одновременных планах, о взаимном ошеломлении. Расстановка сил разом изменилась. Командир жандармов тут же приказал обыскать все строения и службы. Кому пришло в голову это безумное и отчаянное решение, долго нельзя было установить. Потом оказалось, что это именно та девушка, которая знала о них,— та самая Магда Рожек. Она была в контакте с парнями из отряда Утеса. Опять Костек услышал какое-то смятение, дворовые выбегали из людских помещений, послышался набат. Сараи и клети, выстроенные по обе стороны двора, занялись огнем. Дым появился сперва сзади, небо потемнело, и, не успели они глазом моргнуть, две первые коробки сараев пылали, будто факелы. Снег потемнел, потом заиграл отраженными огоньками, его быстро стала припорашивать куржавина сажи. Сразу началась сумятица. Кто-то лупил по железному рельсу, отозвался колокол в деревне. Если до этого все прятались, то теперь бежали на пожар. С пожарной трубой и колокольцем принеслась на санях пожарная команда, на немцев мало кто обращал внимания, все спешили тушить пожар. Жандармы тоже сперва опупели. Метались в сгущающемся людском кольце, а люди не понимали, чего те от них хотят. Потянули шланг к замерзшему колодцу, работники с баграми кинулись раздергивать

стропила: соприкасающиеся крышами амбары грозили заняться огнем. В одну минуту их окружила толпа. Помещица на коленях умоляла офицера, чтобы тот не препятствовал спасать добро, в шуме и гаме не слышно было приказов. Четверо пожарников бежали с длинной лестницей — это был тот момент, которого ожидали,— немца охранника оттолкнули, он очутился в толпе, кто-то перерезал веревки за их спиной, у них уже сил не было бежать на помертвевших ногах, но толпа уносила их, и они уже были далеко, вне пределов выстрела.

Что творилось в имении, они узнали уже позже. Они сидели у знакомого хмелевода, растирая обмороженные ноги спиртом и собачьим салом, а Магда рассказывала, заходясь рыданиями. У нее были черные курчавые волосы, как у цыганки, и спереди поблескивал золотой зуб. Лицо ее опухло от плача, по нему беспрерывно текли слезы. «Это ты подпалила?» — спросил хмелевод. «А что я, по-вашему, должна была делать, когда увидела, что побежали сараи обшаривать? О господи! Они бы стали стрелять. Они были в мундирах и с автоматами. Немцы их бы и так подожгли. Они отрезаны были, наверху сидели, на закромах. Если бы их нашли, ребятам выхода бы не было». Она размазывала кулаком слезы и в голос выла, качаясь взад и вперед. И вновь к ней возвращалась энергия, и опять она рассказывала, все заново, лихорадочно, давясь слезами, когда набирала воздуха. Жена хмелевода гладила ее по голове: «Не реви, дура, ведь никто же тебя не винит».— «Я это сделала, чтобы их спасти»,— объясняла Магда. Поджечь добро, которым все жили — там же был и их хлеб, дворовых,— это казалось ей тягчайшим грехом, которому она искала оправдания. Костек слушал и смотрел на нее с изумлением. «Я им сказала, что, как загорится, пусть приготовятся и бегут, суматоха начнется. Взяла фонарь в конюшне, сняла стекло и бросила так, чтобы керосин разлился,— рассказывала она, заламывая руки,— спасти их хотела, господи Иисусе, это не моя вина! И не получилось. Поймали их, и только вам удалось скрыться». Он понял это без дополнительных объяснений. У кого-то из этих ребят из отряда Утеса в огне стали рваться боеприпасы, жандармы окружили горящий амбар, те выскакивали поодиночке — прямо немцам в руки. Он понял, что не их она старалась спасти этим отчаянным поступком. Не могла она

это сказать прямо, они были чужие, а ей важно было спасти тех. Так что они получили избавление в кредит. Подвернулась возможность, не для них предназначенная. Просто воспользовались шансом, который другим светил. Они были в долгу у тех, пойманных, их это была свобода. Плач девушки, решившейся на такой отчаянный поступок, был укором им. И тут к нему пришло неожиданное решение. Это было веление совести, жажда искупления. «Пойдем следом за ними, чтобы увидеть, куда их везут,— сказал он твердо от своего и Зигмунта имени,— нельзя их след потерять. Если упустим, неизвестно будет, что с ними случилось». Девушка перестала плакать. «Вы же не можете идти»,— указала она взглядом на их опухшие ноги, обернутые толстыми портянками. «Можем».— «Виток!» — воскликнул Зигмунт в ужасе. «Можем. Нечего зря болтать. Дай знать Утесу, мы будем оставлять им донесения, куда ребят везут. Только быстрей, а то поздно будет».— «Виток, я не могу идти по снегу, погляди на ноги»,— застонал Зигмусь. «Можешь!» — «Не могу».— «Можешь, паскуда!» И началось это кошмарное неотступное следование за конвоем, ведущим пленных. И для них, очевидцев, это было не менее страшно, чем если бы вели их самих. Они участвовали в том, чему не могли помочь, где сам факт, что они там и видят все, был просто невыносим. За Бончей немцы угодили в заносы, в которых застрял их фургон. Тогда они решили вернуться кратчайшей дорогой к шоссе в Контах. Дали лопаты пленным и велели прорывать дорогу сквозь занос. Утес был предупрежден, куда они направились, каждая минута вынужденного простоя давала дополнительный шанс, что их догонят. Костек и Зигмунт пробирались на лошадях, взятых у лесничего. По брюхо в снегу тащились они параллельно дороге, скрываясь за кустами и следя сверху за немецким конвоем в глубоких снежных оврагах. Подползали к самому краю, так что видели внизу все. Это следование пассивных, бессильных очевидцев становилось все более чудовищным соучастием в чужом страдании, которое только по чистой случайности не было их собственным и тем не менее как-то было с ними связано; они уже не могли от этого оторваться, от сопереживания — всего снежком-то добросить, в пределах взгляда и голоса, в пределах каждого очередного этапа этого последнего пути, как бы вполне возможной

роекции их собственной судьбы, безжалостно реальной, потому что очевидной, творимой на их глазах. Длилось это бесконечно долго, они уже не считали часов, забыв обо всем на свете. Пленных гнали впереди транспортера, и перед каждым заносом они прорывали дорогу. Было глупо со стороны немцев пробираться по оврагам, которые в такую погоду становятся непроходимыми, потому что их до самых краев заносил снег. Они влезли в ловушку, где Утес в любой момент мог их настичь, легко с ними разделаться, но откуда и пленным было не убежать. Мороз усиливался, и пятеро пойманных в одних плащ-палатках орудовали лопатами. Один, видимо, был ранен, потому что вскоре упал, жандарм прикончил его выстрелом в затылок. Эхо выстрела отдалось в окрестных оврагах, как бы повторяя этот финал, и казалось, что повсюду в снежных заносах произошло одновременно такое же убийство, по всей шири скованной морозом и поросшей лесами страны, от горизонта до горизонта, и еще дальше, куда только проникает воображение. И тут они осознали, что жизнь, в которой они участвовали, имеет именно такой неизбежный исход. Четвертинка самогона, молодецкая вылазка на рассвете кончается выстрелом в затылок, и кровь обагряет снег. Они вздрагивали в ритм сердцебиения и отголосков очередных выстрелов, подтверждающих свершившееся и далеко разносящих весть. Он видел взгляд Зигмунта и его дрожащие губы. А люди из отряда Утеса не появлялись. Так что они присутствовали при этой казни, продвигаясь за нею, вглядываясь в нее, шаг за шагом. Они были безоружны — ведь Цапля выбросил пистолет — и не могли ничем помочь этим пойманным. Второго немцы застрелили через два километра. Трое оставшихся уже понимали, что их ждет. Они еще были нужны, чтобы пробиться сквозь заносы, а на последнем километре перед шоссе их жизнь прервется. «Они же в форме, военнопленные они,— всхлипывал Зигмунт, держа Костека за плечи,— ведь есть же статья о них».— «Теперь ты видишь, какая она, эта статья,— ответил Костек с посинелым лицом,— а ты пистолет бросил». Они шли за ними до конца, до самого шоссе. Один только и остался в живых, его втолкнули в машину. Через час они уже были в Контах. Об этом единственном парне из отряда Утеса не было потом никаких сведений.

Теперь Костек смотрел на отца Зигмунта и думал, рассказывал ли ему сынок об этой истории? И почему это ему припомнилось именно сейчас?..

— А теперь вот воюет,— сказал он, глядя в раскрытое окно.— Когда он был у вас последний раз?

— Ты про Зигмунта моего спрашиваешь? — сыграл догадку Алоиз.— Да я же говорил, что год уже его не видал.

— Вы только со мной дурочку не валяйте,— ответил Курыло, не двигаясь с места.— Слишком хорошо друг друга знаем. И я кое-что помню, и вы ведь знаете, что можно со мной позволять.

— Тебя же год не было,— начал Янус уже каким-то иным тоном, глубоко уходя под перину.— Ты же воевал. Никто тут ничего против тебя не имеет. Я тебя даже понять могу. Присягу новой власти дал, красным. Отбился от своих. Твое дело. Но ты же не знаешь, что тут год творилось. Как тут твои товарищи поступали. Они тоже только стращать приходили. Все про Зигмунта спрашивали. Но они, друзья твои, лесные солдаты, сразу смекнули, чем эти воззвания пахнут. Будь ты с ними, ты бы, может, лучше все понял. Вот видишь, чем это стращание кончилось.— Он устроился поудобнее, уже полусидя, еще больше покраснел и был весь мокрый.— Теперь ты тут один остался. И лучше меня знаешь, во что влез. И зачем тебе все это? Твои ушли, а тебя на гибель оставили. Армия сюда не раз приходила и всегда с пустыми руками уходила. А народ все переждет. Знаешь, как говорят: поживем — увидим. Только не так, как твои тут хорохорились, вроде того что «жить будешь, а курить не захочешь». Знаешь, что я тебе скажу, я ведь всякого уже повидал: убирайся-ка ты отсюда, раз уж тебе такое довелось перенести. Что ты тут можешь сделать? Будешь, будто волк, кружить и не изменишь того, что есть. Чего ты тут еще ждешь? — голос его стал доброжелательным.

— Ну хватит,— глухо сказал Курыло, и тень его передвинулась, заслонив потное лицо Януса. Говорил теперь он, темный, непроницаемый, возвышаясь над лежащим, будто исполин, в то время как на лице Алоиза появилась скорбная гримаса, выражающая только одну мысль: чурбан бесчувственный, ничего до него не доходит.— Хватит. О том, что тут произошло, говорить потом

будут. И не со мной, а с теми, кто для того поставлен. Теперь я вас только предупреждаю: никаких фокусов. Чтобы я о вас не слышал. Лучше мне вас второй раз под замком не видеть. Потому что тогда вас и охрана не спасет.

Он бросал слова веские, резкие, точно взмах кнута.

— Приедут из госбезопасности, из Жолыни, будете давать показания. А пока у нас тут поважнее дела есть. Вам участок отсюда виден, и вы оттуда видны. Ежедневно перед заходом солнца чтобы являться ко мне. Если узнаю, что к вам приходил кто-то чужой...— Он выдержал паузу, не сулившую ничего хорошего.— А если придет Зигмунт, пусть сам, первый, явится в гмину. И невеселая будет его судьба, если я от других, а не от него самого узнаю, что он тут. До особого распоряжения не имеете права покидать деревню. Если что случится,— официально заключил он,— уведомить меня или милиционеров, вы сами знаете, кого, гражданина Рахоня или Шимулю. Завтра явитесь на работу по разборке сожженных домов. И вы, и Стоберский, и Пайда, и Гуща — все мужчины. Придется восстановить все, что тут намастачили,— добавил он ехидно, двинувшись к выходу.— На собрании вас не было. Чтобы завтра были. Жать пора. В повяте с поставками ждать не станут.

Янус водил за ним взглядом, открыв рот. Несколько раз он пытался что-то сказать, но только челюсть отвисала у него все ниже, скулы потемнели, как свекла, и глаза тупо блестели.

— Больной я,— только и просипел он.

— К утру отлежитесь,— сухо сказал Курыло, поправив фуражку большой бронзовой от загара рукой.

— Значит, и впрямь остаешься? — с изумлением произнес Янус.— И что думаешь делать?..

Курыло у порога оглянулся. И прищурил глаза, точно от солнечного зноя.

— Никаких глупостей,— буркнул он.— И еще запомните: пока что вопросы задаю я.

Дверной проем проглотил его, точно колодец, беззвучно. Ноги в штанах выпрыгнули из-под откинутой перины.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

...И что я все хожу по этим людям, которые позакрывались и только глядят с надеждой, не пройду ли я мимо, что я все кружу, будто наживу какую вынюхиваю? Агитировать их, просвещать? А что я, ксендз или миссионер, городовой какой, не я тут к ним, а они ко мне должны приходить в черной одежде или на коленях просить прощения и слова сочувствия говорить, как после похорон положено. Кто из них пришел мою мать навестить, которая у креста на слабых ногах стояла, кто пришел с теплым словом, с надеждой или хоть бы с возмущением? Только те несчастные, что сами осиротели, только те, кого одна судьба связала, одна беда и одна скорбь. Ведь только те же самые раны могут объединить живых после всего, что пронеслось по их жизни, над их кровом, значит, только одна скрепа этого преступления, пережитого лично, может стать цементом, которым держится человеческое чувство общности. Так зачем я здесь? Чтобы они могли спать спокойно? Или наоборот, никому я не даю спать своим присутствием, сон от глаз отгоняю, не даю умыть рук, по-иудиному отворачивать голову, хожу тут среди бела дня, будто неуемная совесть, и это их раздражает, это их пугает, потому что, если бы я сидел там, укрывшись, они наверняка всадили бы мне пулю в спину, только бы покончить с этим мутным делом, а когда я хожу здесь, середкой дороги, им приходится ждать, ломая голову, с чем я к ним приду, из-за того, что я хожу от дома к дому, они прячутся за косяками; дурака валяет, так они говорят, или совсем тронулся умом, и это заставляет их раздумывать, заставляет выжидать. Стало быть, я тут только для того этот обход устраиваю, чтобы время выиграть? Неправда. Я хожу, потому что надо сделать следующий шаг на этом пути, который мы начали, потому что надо знать, на что я могу рассчитывать,— ведь без них же я не справлюсь. А им надо знать, что здесь ничто не случится, и то, что они пытались задержать, будет идти, как задумано, нет старого Курылы, есть молодой Курыло, не будет его, будут тысячи других, и врагам надо знать: их старания ничего не дадут; а того, что пришло, отменить уже нельзя. Потому все должно остаться, как было вчера, и надо им это видеть, беспрерывно. Надо, чтобы они чувствовали это и боялись. Кто

тут первый испугается, тот и проиграет... «Надо», «надо», вечно это слово выплывает, как «аминь». Не лучше ли хоть с минуту перестать себя обманывать и просто сказать, что не нужда тут, а принуждение. И я тут потому, что должен, хожу, потому что должен, другого выбора у меня нет. А ведь никто меня не заставлял оставаться, я сам вызвался и сам тут все налаживаю. Почему? На что я рассчитываю? А потому, что я не верил, будто за один этот единственный год пропасть образовалась, пока я там за них воевал. А они тут в это самое время моего отца убили! Ну, не в это самое, но почти. Вот я и хожу, потому что не верил, что я тут уже чужой, что люди, которых я знал как облупленных, уже не те самые люди, и то,— кто бы только подумал! — что нас навсегда связало,— только игра памяти. Не верил, а теперь вот хожу и вижу это и знаю. Хочу в этом убедиться, как когда-то в смерти товарищей. Ну и что, нужны мне еще доказательства пустоты, которая образовалась и поглотила прошлое? Или все же можно жить в этой пустоте, под давлением одного внешнего мира? Что меня тут ждет, даже если я выдержу? Если даже выиграю еще день, еще два, и что дальше? Об этом только что спрашивал Янус. Из повята сюда никого не пришлют, связи с ними никакой нет, мне отсюда не выбраться, в западне я. Осталось нас только трое, не считая тех, добровольцев. Гралевский, Прач — им-то что до этой деревни? И они не понимают, зачем я здесь остался, они со мной, потому что так уж пришлось, и уйдут, когда смогут. Что будет, если не майор первым сюда придет, а Гетман? Стоит только взглянуть на здешних, и прочтешь этот вопрос в их глазах. Какая же это сила, о которой я все думаю? Где у меня сила, которую я хочу им продемонстрировать, где она, если ее нет во мне? А ведь без них я не справлюсь, как и они без меня. Сейчас они послушны, кроткие и осторожные, потому что еще от пепелищ гарью тянет и страх будоражит нечистую совесть, еще пыль от отряда не осела и неизвестно, далеко ли армия. А что будет завтра-послезавтра, что будет, если тем удастся выскользнуть? Сила... Что такое сила?.. Правда, есть еще аковское оружие, о котором знает лесник, его спрятали в сорок четвертом, эти здесь не знают о нем, будет чем людей вооружить. Все распрекрасно, но каких людей? Какой смысл в оружии, если некому его держать? О господи, если бы я не был один,

если бы я знал, что могу на них рассчитывать, если бы те не лежали в могиле. Эта пустота, эта страшная пустота вокруг. Значит, так, скажем себе правду. Вот для этого хожу я тут как заведенный. Не потому, что вынужден, а потому, что мне это нужно...

— Я спрашиваю, коменданта не видали? — повторил Прач.

— Курылу? — уточнил Шимуля.— Час назад шел к ксендзу. Наверное, еще там сидит.

— А как мать? Был кто у нее? Лучше?

— Курылиха? — вопросом на вопрос ответил Шимуля.— Ну что ж, баба она жилистая, все вытерпит. Моя там была у нее утром. Говорит, что нисколько ей не лучше...

— Новенькое что-нибудь есть? О чем люди шепчутся? — спросил Гралевский спокойным голосом.

Милиционеры переглянулись. Рахонь поскреб в голове, потрогал усы.

— Недоброе слыхать,— проворчал он.— Все поговаривают, будто этот... Гетман из окружения выскользнул.

— Что вы говорите? Ну и что? — подался к ним Прач.

— Сказывают, будто где-то близко.

— А откуда им такое известно? — задумался вслух Гралевский.— Ведь мы же следим, выезжает кто из деревни, приходит ли кто-нибудь чужой.

— А вот знают,— повторил Шимуля.— Здесь знают. И стало быть, правда, раз говорят...

— А армейцы? — спросил Прач, глянув на Гралевского. Взгляд его говорил: «Вот видишь, сидим тут, как те лопухи».— Где наши сейчас? Это тоже знают?

Шимуля смотрел в заложенное мешками окно. Видно было, что он знает больше, чем говорит.

— Что же, армейские... они далеко...

Это паук на звезде паутины так привлекает его внимание. Амбразура заткана серебряной сеткой, как будто не один месяц прошел.

— А как там наши друзья-приятели...— Гралевский кивнул головой на окно.— Те, кого Курыло велел выпустить?..

Шимуля пожал плечами. Взгляд его все еще блуждал по комнате.

— Да сидят вроде, запершись по домам. Но встречаются.

— Сговариваются?

— А мне откуда знать? Свое думают. Ждут.

— Ждут,— невольно повторил Гралевский.

Прач медленно поерзал, с деланой ленью.

— Надо бы кого-нибудь в повят послать,— сказал он.— Связь установить. Чтобы знали, как тут дела.— Он указал на ящик в брезентовом чехле.— Телефон не работает. Надо бы найти, где кабель перерезан.

— В Жолыню? — шевельнулся Рахонь.— Пришлют кого?

— А я знаю? Лучше, чтобы знали.

— А как схватят? — встревожился мужик.

— Кто?

Рахонь пожал плечами. В их недоговоренностях скрывалось предостережение. Прач сказал громко и безразлично:

— Ну, товарищи, выучились вы, как положено.— Мужики смотрели на него без большой убежденности.— Учение учением, а надо бы и размяться. Один из вас поедет в повят. В случае чего никто на вас не обратит внимания. По дороге поищите, где провод порван.

Милиционерам этот проект явно был не по душе. Рахонь возразил:

— Да я не сумею. Тут разбираться надо. Вот Виток, он умеет...

Прач взглянул на Гралевского:

— Доложи коменданту.

— Слушаюсь. Установить связь с Жолыней.

Говорил он громко и уверенным голосом, но не мог отделаться от впечатления, что милиционеры сказали не все. Дальше он отдал распоряжение, чтобы они пригнали сюда телегу и отправились сразу после обеда. Мужики слушали внимательно, только время от времени переглядывались. Наконец это привело его в раздражение и он спросил напрямик:

— Это все или еще есть новости?

Те помялись. Наконец Шимуля сдался.

— Да вроде есть, гражданин, заходили мы к Иерониму Стецу... Вроде как поговорить. Там кто-то чужой есть...

— Что? Кто-то чужой? Кто?

— Да один там...— тянул мужик.— Сын.

— Что вы говорите? — Прач с подозрением посмотрел на них и придвинулся, поправляя ремень.— А раньше его не было?

— Скрывался,— сказал Шимуля,— его тоже тут искали.— Он замолк, как будто давая понять, что ни к чему объяснять все, что делается в Липинах.— Из лесу вернулся. Наверное, что-то знает.

Прач только тут уразумел, что именно с этим они и пришли.

— Вы же должны следить, не явится ли кто чужой. Особенно из местных. Это самое главное. Сидим тут, ля-ля-ля, а самое главное... Почему не задержали? Ведь ясно же сказано было...

Милиционеры снова переглянулись. Рахонь дернул кадыком.

— Неладно это, если мы, здешние... Все тут про нас знают... Вы бы зашли, будто так... телегу нарядить в Жолыню. И разведали бы, что он пришел...

— Ах так,— протянул Прач.— Хорошо. Возьмем этого типа. Только вы больше в кошки-мышки не играйте. Видели этого парня из лесу? — крикнул он.— Зачем пришел? Говорите без мороки!

И они уже вскочили, хватая автоматы и застегивая мундиры.

— Видели,— тихо сказал Шимуля, осторожно оглядываясь по сторонам,— видели, как он от леса крался. Он не знает, что мы в милиции. Мы его устерегли, когда он в хату нацелился, она с краю, вы знаете. Потолковали мимоходом, какие новости. Пришел предупредить, что вот-вот «лесные» придут.

Прач передвинул автомат на грудь, легонько пощелкал предохранителем и беззвучно посвистел, вытянув губы. Глаза его отливали голубым блеском.

— Пошли! — сухо кивнул он Гралевскому.— Надо этого типа сюда притащить и допросить.— Они уже не глядели на своих ошеломленных помощников.— Пошли.

...И еще один номер. Усадьба Стоберских... Ладно, попробуем и с этим. Поправился за этот год. Все чистенькое, гладенькое, прямо-таки сверкает. А впрочем, надо признать, хозяин он всегда был хороший. И моло-

дой Стоберский — крепкий малый, с характером, с холодной головой. Ну-ка, как сюда входят? Не частый я тут гость был. Ага, так. Все так же пусто, тихо, точно хозяева в поле. Даже собака не суматошная, греется возле конуры. Где же это он находился, что ничего не видел? Голову даю, что Игнац стоял на страже отцовского добра. А может быть, даже отсюда всей операцией руководил. И Бич, когда действовал, всегда подле командования держался. Так уж повелось. Есть люди, у которых это в крови. Жалко стервеца, смелый он и хитрый, хладнокровный в деле, как зубной врач. Ну-ну, а Игнац, наверное, то же самое обо мне говорит. За Улянов получил от своих Боевой крест. У них в чинах трудно было продвигаться. Панское войско, до черта было своих со звездочками. Но Игнац с Зенеком звездочки подхорунжего в лесу заработали. Уж кто чего добился, тому трудно отказаться. Вот этих, по-настоящему смелых, больше всего жалко. А что касаемо Бича, то не только смелый был, но и честолюбивый, упрямый. Потому я с самого начала знал, что с ним дело проиграно.

Пожалуй, устал уже я, обо всем думаю, только не о том, что предстоит. Хватит этих воспоминаний. Майор, пожалуй, прав был, что не хотел меня тут оставлять. А интересно, поддерживает Стоберский с Игнацем контакт? Дьявольщина, ничего толком не знаю, но наверняка так, потому что Бич не из тех, кто прячется, да и по отцу видно, что врет, я же помню, как он смотрел на допросе; такое в нем упрямство и одержимость человека, который все хорошо знает, что его касается, и взять себя врасплох не даст. Это ясно, в глазах его страха не было, только угроза. Особенно когда меня там видел, прямо на меня смотрел. Наверняка не ожидал. Ну ладно, вот и теперь удивится...

Во всей усадьбе и под этернитовой кровлей дома было тихо, пусто, чисто, ни следа беспорядка или запущенности. Из конюшни слышался глухой топот лошади и звяканье цепи об ясли. Просто не верится, что в пятидесяти метрах отсюда за обвислыми ветвями сада чернеют пепелища домов Ренкаса и Лосюка — как будто здесь другая страна, отграниченная лазурным амфитеатром леса. До леса близко, там сворачивает и пропадает дорога на Жечицу, затененная соснами. Стоберская с облепленными тестом руками промелькнула в сенях.

Она стояла и смотрела на него растерянно, когда он входил, возвышаясь в проеме дверей, как в устье светящейся печи.

— Ты? — тихо произнесла она изумленно.

«Наверное, только о нем сейчас и думает»,— понял Курыло и невольно огляделся, точно отыскивая какие-нибудь следы присутствия Игнаца.

— К мужу? — наконец-то уверовала она.— Сейчас скажу, что ты пришел.

Игнась был для них всем — их гордостью, авторитетом, образцом. О нем здесь говорили с особым пиететом, ведь все, что он сделал или что сказал, расценивалось как нечто окончательное. Слова его повторяли как цитату из писания или юридический аргумент. Упоминания о нем, впрочем редкие и завистливо неприязненные, позволяли Винцентию показывать свою высокую степень посвящения, что он нечто значительнее, чем просто Стоберский, обычный, не очень богатый мужик из Липин, с грубыми черными ручищами, в заношенной шляпе, нет, они позволяли ему выражать неприязнь к сегодняшнему дню, который всего лишь прозаическая оболочка, всего лишь неизбежное преддверие настоящего завтра, в котором уже давно живет Игнац. Вроде как бы старик заправлял кухней в генеральном штабе. Это раздражало Курылу, вот эти самые отношения между отцом и сыном. Как-то во время общих «переговоров», за бутылкой самогона, он сказал ему, глядя на нашивки подхорунжего и офицерские сапоги с высокими голенищами: «Откололся ты, Бич, от своих. Помни, что отец у тебя простой мужик с черными руками».— «А по-твоему, я должен этим гордиться? По вашему Марксу, кто совсем нищ и меньше всех значит, тот и святее прочих. Не можете ничего беднякам предложить, вот и внушаете им, что мир на них держится. Нет, малый, нищий он нищий и есть и простой мужик-навозник ничего в мире не значит, если только не выбился и не стал кем-то. Радуйся, что твой живет с коровами, зато у него пролетарское сознание. Ты рыбья цыцка. Я, как видишь, не горжусь, что мой отец простой мужепес, что всю жизнь ворочал, как скот, я этого стыжусь, и мне его жаль. Всю жизнь буду стараться, чтобы не быть таким, как он. Не был бы ты дураком, Виток, давно бы это понял. В жизни надо карабкаться. Я не стыжусь своего производства в чин — зна-

чит, в будущем мне повезет. Что, я должен жалеть, что навоз не вожу?» — «Если даже тебе одному повезет, у других-то что изменится? — вскипел Курыло.— Настоящее продвижение — это когда вся деревня продвинулась. Можешь прикидываться, что ты другой, можешь даже так чувствовать. Но в середке-то ты такой же мужик, как твой отец, как твоя мать, как сестра, хоть ты уже в другие перья вырядился. Ты мужик, только такой, который от своих отошел, потому что тебе повезло. И когда-нибудь, рано или поздно, тебе об этом напомнят. Спросят: а что ты для своих сделал? Они тебе помогли, вырастили и воспитали, а ты чем им помог?» — «Да что ты плетешь? Только тогда я и смогу помочь семье, да и всей стране, когда не буду жить так, как они. Чуть-чуть логики. Только тот и может дать, у кого есть. Так во всем мире. Меня никакой демагогией не проймешь. А моим детям не придется жалеть меня, как я своего старика жалею. Выпей, марксист, может, в голове прояснится». Костек до конца был принципиален и сказал, что не станет с ним пить...

Винцентий заставил себя ждать. А когда появился, был какой-то сухой, напряженный, в жилетке, сам не садился и сесть не предлагал, в выжидающей позе глядел мимо Курылы. Страх у него уже, видно, прошел.

— А, это ты. Мать сказала, будто хочешь меня видеть. Официально, вижу, явился.

...Все та же вызывающая повадка. Откуда она у него взялась, как не от сынка? Милицейская повязка тебя насторожила. Ведь тебе же говорили о собрании. И ты можешь так смотреть мне в глаза? Там, в гмине, в тот раз у тебя такой смелости не было. Сделал выводы из факта, что тебя выпустили. Не рано ли вздохнул свободно? А как же еще должно было быть? Может, так, как во сне? Этот убийца моего отца или отец его убийцы, этот себялюбец, ослепленный сыновней «карьерой», заулыбается, раскроет мне объятия, усадит, сливками угостит, начнет ойкать и цокать от удивления, что я из Берлина вернулся, может, еще всплакнем сообща над невинной жертвой, которой пали старые коммунисты, и геройством молодых парней, которые закладывали основы, отдавая свою жизнь?! По мне видно, что мне это нужно, как выжженной земле утренняя роса. Ну нет, сука, этого ты не дождешься! Официально, пан Стобер-

ский, только по службе, разве не ясно? А чего ради мне тебе еще визиты наносить? Ты бы хотел что-нибудь там про сочувствие свое пробубнить, тебя ведь так выучили, да поздно уже, похороны ты под замком просидел, трудно тебе было делать вид, будто твое дело сторона. Значит, что же остается, голубчик? Оскорбленная гордость, которая избавляет от натужной фальши. И тут-то еще вопрос, не слишком ли это дерзко, стоит ли так себя раскрывать? А на всякий случай гордое молчание...

Винцентий стоял молча, не глядя на гостя. Костек пропустил мимо ушей многозначительное замечание и выдержал еще паузу, разглядывая тарелки в буфете.

— В десять у костела было собрание. Почему вы не явились?

Стоберский молчал. Видимо, такого тона он не ожидал. Ах, заорать бы, затопать, свистнуть бы кнутом.

— Оно вас не интересует, но это вас касается...

...Сначала под замок, а потом голосовать. Быстро вы научились делать с людьми то, что до войны с вами делали. Сейчас спросит про Игнася, видно, хочет меня заложником сделать. Если станет кричать, значит, боится. А все-таки остался тут и ходит с повязкой. Мало ему еще. Да, неслыханное дело...

— ...и вас и вашего сына, Игнаца.

Стоберский бросил мимолетный взгляд на Курылу, но кожа у него на щеках и на кадыке, как у индюка, даже не дрогнула.

— Я же говорил, что не видел его больше года.

...Зато я видел и знаю, что он делает. Интересно, рассказывал Бич об этом отцу? Это были две встречи, в разное время и разрозненные, но как-то странно между собой связанные. Обе в поезде, на перегоне между Кемпой и Закликовом. В сорок третьем это был партизанский район, Лесная Республика, «streng gefährlich, Banditengebiet». Немцы боялись этого участка, проходящего через лес. На станциях разместили усиленные посты, летучий батальон стоял наготове в Розвадове. Перед паровозом пускали пустые платформы. И никогда никто не знал, кого, подъезжая, встретишь на перроне. Эта пилотка и матовые шишки гранат, оттягивающие ремень, в рыжем пламени огарка, который, прилепясь под потолком, мотается от тряски вагона в синеватой завесе махорочного дыма, обращая в беготню спугнутые тени раз-

мазанных голов и плеч, приводимых в движение каждым колебанием огонька, который замедляет и усиливает это действительное смятение людей, сдавленных в проходах и вскакивающих со скамей, неловких от того, что их застали врасплох, ошалелых от сна,— при звуке лающей немецкой речи или еще более зловещей тишины ожидания, десятки пар испуганных глаз, идущие следом за взглядом из-под горшка каски, за движением лица, зловещего и толстого, подсвеченного снизу фонариком на груди и от этого точно высеченного из света и ночи, а еще больше за движением пальца, который неожиданно указывает, точно смертный приговор, на выбранную жертву, тогда как два других жестяных робота уже отталкивают сбившихся у стены, пинают сапогами вырванные узлы, суют кеннкарты в фонарный круг, проверяют карманы и клюют стволом автомата, когда ты считаешь про себя, сколько еще впереди, сколько отделяет тебя от жандармской руки и от той минуты тишины, когда нащупают оружие, и все остальные почувствуют на секунду и замрут, отпрянув, как от зачумленного, потому что такую секунду сосед всегда улавливает, и ты будешь чувствовать, как у тебя стынут руки и холодный пот приклеивает на спине рубаху, ты почувствуешь свой желудок и диафрагму, не в силах нормально проглотить слюну, и будешь лихорадочно думать, что слишком далеко ты от двери с забитым фанерой окном и с брезентовым ремнем, что уже не сможешь туда протолкнуться, потому что каждое движение сейчас тебя выдаст, ты будешь высчитывать это расстояние в секундах, а то и в метрах, до ручки или до окна, в котором тусклый, мутный свет, точно невыспавшиеся глаза после ночной поездки, просачивается поверх голов, этот летний, ранний рассвет в овальном проеме рамы, подпертый верхушками елей, точно выступающих навстречу из однотонного мрака вокруг, а тишина такая, что ты не понимаешь, остановился, что ли, поезд,— и вот Костек чувствовал все это, осознавая с отчетливой ясностью, что по-дурацки погорел, чувствовал пистолет, как он становился все тяжелее, знал, что потные тела и узлы под сапогами сдавят его, схватят за ноги, а очереди из автоматов пройдут в этой толпе не только по нему, вот так он ощущал это железо в кармане, считая секунды, когда палец укажет на него, и тут вдруг рванула музыка, у дверей уборной стояла ихняя

троица: один на костылях с кларнетом, другой в военной фуражке с трубой и третий со скрипкой и слишком уж тяжелым футляром, и тут рванули в этой вибрирующей от напряжения тишине «Розамунду», видимо, это был сигнал, потому что, когда немцы с рычанием обернулись, тут-то и возникла эта пилотка и железные приклады «стенов» на ступеньках под окнами и в обоих концах вагона. Стало тесно, с треском открылись двери, поезд стоял на разъезде у семафора. И вот эта пилотка, будто ладья с орлом на носу, выплыла на волны суматохи и молчания — под нею сверкало от пота злое лицо Бича. Это было обычное прочесывание поезда, проходящего через партизанский район. «Ручки вверх!» — И толпа плотно сомкнулась вокруг жандармов. Костек присел на чьи-то бидоны и, чувствуя тошноту от слабости, вытирал пот. Кто-то рванул его, выхватывая пистолет вместе с подтяжками. «Господин подхорунжий! Тут фольксдейч, зараза, с пушкой при себе. Еще один!..» Бич вгляделся в Курылу и вдруг разразился смехом. «Надо же!.. Нет! — крикнул он мастаку, который сквозь пиджак разглядел у Костека пистолет.— Это из другого прихода. Этих мы еще не разоружаем».

А потом другая картина, зимой, которая накладывалась, как фотопластинка той же самой сцены, уже совсем вроде бы в другое время. Белый, искрящийся снег на ватных деревьях, взгляд, ослепленный сиянием дня, хлещущим на поворотах в окна вагона, отчетливый ритм на стыках, рывки и наклоны на перепадах извилистого пути, который то нырял в лесную тишину и обильные снегом ельники, то вновь выскакивал в проясняющиеся поля с разболтанной гармошкой старомодных вагонов, черных от копоти, грязи, ободранных, в седых прядях замерзающего пара, под сводом угольного дыма, то и дело заслоняющим вид, замерзшие мужики, притоптывающие в такт, та же толпа, те же самые лица, хотя голоса громче и глаза не такие испуганные, и все же какая-то тревога, несмотря на свежесть и посверкивание санного пути, инстинктивное прислушивание к визгу тормозов, прикрываемое умышленно тусклым разговором, перекрашенные шинели и много повидавший взгляд, напряженная готовность, почти неусыпная, эти нехотя бросаемые словечки, вся эта щетинистость людей, прошедших ох какую школу, столь характерная для переломных моментов,— и

вдруг: словно воплотившееся предчувствие, свист паровоза и лязг тормозов, звон каких-то бидонов, валящихся с полки под сухую автоматную очередь. Крики вдоль насыпи, морозный скрип снега, чужой гвалт, ворвавшийся откуда-то с белых полей, в проемах открытых дверей заросшие лица в шапках. «А ну, вылезайте, «товарищи»! На полусогнутых да поживей!» А потом это необычное сборище на снежном поле, черные запятые людских фигур, согнанных в бесформенное стадо, вверху на насыпи опустевшая вереница вагонов, протяжный, унылый свист паровоза, призывающего на помощь под вертикальной колонной неподвижного дыма, словно это кулак бессильного протеста, вознесенный в морозное небо, крики людей, подгоняемых прикладами и зверски волочимых по снегу, объяснения, мольбы, детский плач и пронзительные команды. «Товарища» отвести налево, как положено,— услышал он этот знакомый голос, полный истерии и издевки.— Подписывал мне приговор, уважаемый секретарь? Но случилось-то по-другому...» Весь уже заснеженный человек на четвереньках покатился от удара сверху. Они стояли и смотрели друг другу в лицо. Игнац снял шапку, вытер пот и обмахнулся ею. К счастью, Курыло был не в форме. «А, это ты, сорвиголова, куда?» — последовал несколько растерянный вопрос.— «Мог бы и не говорить, но скажу. На фронт».— «Бумаги есть? Спрячь. Скажу, что проверил». Они посмотрели друг на друга. Им было, о чем подумать. «Ну да,— сказал Курыло бесстрастно,— ты все здесь по-старому орудуешь?» — «По-старому,— резко ответил Бич,— я все так же.— Потом добавил, поведя взглядом по заснеженным полям: — Видал ты меня здесь и теперь видишь. А теперь ступай. Лучше бы нам не встречаться...»

Он наморщил брови, глядя на Винцентия, который все еще стоял посреди кухни, точно ожидая, когда непрошеный гость уйдет. «Сказать ему, что у меня есть доказательства? — думал Курыло.— Может, сразу тон сбавит. Не будет мне комедию играть. Лучше чтоб ясно было, тогда уж известно, на что можно рассчитывать. Но это значит, сжечь мосты навсегда. Разоблаченным нет возврата. И ты еще раздумываешь,— произнес в нем какой-то голос,— после того, что тут произошло?» Он как будто читал их скрытые мысли, вот этого, что стоит тут, в полумраке комнаты, и того, что пока отсутствует. Вдруг

он вспомнил туманный взгляд Маштеляжа и мысль, которую прочел в этом взгляде. «Если они поймут, что я могу показать против них, тогда для них только один выход». Он шел сюда, чтобы как-то поладить с ними, но, видит бог, ладить тут не с кем. Они не уступили отцу, и уж тем более не уступят мне. Я для них в сто раз опаснее — слишком много знаю о них. Нечего обманывать себя, никогда Стоберский со мной не пойдет. Тогда что же? Найти контакт, преодолеть это пространство, отделяющее от других, пробить пролом в стене? Значит, их может сблизить только вражда, только ненависть и страх, который ее питает, только это позволит им сойтись, и только тогда они почувствуют, что существуют друг для друга. Значит, только это может заполнить пустоту?..

— Вы его не видели,— бросил он.— Зато я видел его за работой...— Он заметил взгляд Винцентия, впившийся в его губы, с тем проблеском напряженного внимания, которое снимает маску высокомерия, наконец-то засветился человеческий страх, искренний, не дающий скрыть себя. И в этом прояснении, возвращающем лицу человеческие черты, точно искоркой отразившемся в орле на фуражке Курылы, в многоточии пуговиц на мундире, в квадратных скобках пряжки на ремне, в бликах пистолета, точно знак вопроса, они должны были выявиться друг другу, снова отчетливо найденные.

— Брали наших из поездов,— продолжал Костек.— Так же, как до этого с немцами делали. Как три дня назад здесь себя показали. Я достаточно о нем знаю.— И он смолк. Казалось, он поднимается, возвышается, вырастает куда выше тени.— Мне свидетелей не надо. Этого достаточно.

Зрачки, горящие, как у кота, тяжелые, упорные. Что-то неуловимо изменилось в глубине этого дома. Точно вот уже несколько минут их стало больше, чем двое. В доме царила тишина. Теперь он понял, что прекратился шум хлопотавшей где-то рядом хозяйки. Подслушивает. Третье дыхание пульсировало поблизости напряженной тревогой.

— Советую не ждать,— выбрасывал он громче, чем нужно, свои сурово отмеренные фразы.— Если появится в деревне, должен прибыть в милицейский участок. И чтобы пришел сам, до того, как мне скажут, что его тут видели. Что касается вас, то не советую покидать

Липины. До приезда прокурора ежедневно отмечайтесь в гмине. И без всяких штучек, из участка вас видно...

На лице Винцентия, обращенном к окну и перерезанном светом пополам, точно лунный лик, с оспинами и резьбой запутанных морщин, поднимался морской прилив или надвигающаяся волна темноты. Наплывала темная кровь, смывая прежнее выражение. Казалось, вот-вот его хватит удар. Он даже судорожно замахал руками. Но все кончилось тем, что он облизал сухие губы. Курыло шпарил дальше и каждой следующей фразой, точно кнутом, отсекал всякую возможность ответа.

— Завтра утром явитесь на работу — ставить дома для погорельцев. С подводой. Лес надо привезти. И жать пора... В повяте с поставками ждать не будут...— добавил он с мстительным блеском в глазах, чувствуя, что каждым словом усиливает и наращивает уже произведенный эффект и тем самым лишает Стоберского возможности как-то возразить. Не ожидая ответа, он повернул к двери, оставив его, оглушенного, багрового, не сказавшего ни единого слова.

— О, Курыло, привет, давай-давай входи, а вообще-то как с тобой разговаривать? Пан комендант? Ты же теперь тут власть, вот и ходишь с милицейской повязкой, обход делаешь, а? Я понимаю, жарко, а? Уф-ф, и печет же нынче солнышко, язви его, дождя ни капельки, все сохнет и горит, рожь колосится, будто природа поклялась крепко людей допечь бедой и горем, давно я такой жары не помню, может, хоть от этого гроза какая-нибудь приключится и хлестнет этот дождик долгожданный, помнится, зной такой же был в тридцать девятом, да-да, жарко в этом году, да что я, не о погоде ты пришел говорить, это я так, лишь бы что-нибудь сказать, входи сюда, посиди в сенях. Хеля! Хелька! Да где эта девка опять запропастилась? Хоть бы попить дала, наверное, притомился уже с утра? Дам сыворотки холодной, вон глаза у тебя кровью налились, того, что ты тут застал, трезвый человек не выдержит; наконец-то ты, девка, явилась, совсем уж одичала, поздоровайся, Костек это, Курыло, и сбегай принести сыворотки, а может, и огуречного рассолу найдешь, выросла, правда, крестница бедная твоего отца, прими, господи, душу его, ну вот, зашел ты все-таки к Бендику, а то я уж думал, в обиде

на меня, нет, не подумай плохого, только прости, я тебя не могу понять, ты же военный, у тебя свой приказ есть, а я это так пережил, что у меня все в голове помешалось, и вот когда я вижу, как ты с этой повязкой ходишь от дома к дому, и никого-то не минуешь, и у тех даже был, что тебе наверняка добра не желают и, как знать, может, даже и радуются несчастью твоему, то вижу я: характерный ты парень, твердый орешек, не позволишь себя сломать, и они еще не знают, пожалуй, на кого наткнулись; о, наконец, давай сюда, да не стыдись, дура, что зубы-то скалишь? Ну ладно, от нужды приходится в такие времена девушку прятать, вот так, а что бишь я говорил? Ну да, знаю, что ты не боишься, я тоже не то, чтобы чего-то еще боялся, только сам пойми, после того, что я тут видел, понять не могу, чтобы так можно было снова здорово, и как бы ничего, а ты им опять эти повязки надел. Костек, пойми меня правильно, здесь же все так свежо, и как раз, господи, ты тут и никого не минуешь, я же видел, что и у Януса был, и у Стоберского, наверняка и Прокопюка не обошел, а? Да, служба это служба, только как я подумаю, что ты с этой повязкой идешь один прямо к ним, то, как бы это сказать, страшно мне за тебя, твой отец тоже был такой, прости, что напомнил, но ты же сам видишь, можно ли тут что сделать? Говоришь, что этого Гетмана схватят, но разве не говорили это не раз, пока что все еще не взяли, а он местный и у него тут свои люди, ты не гляди на меня так, Костек, ты же много всякого видал и знаешь, как в лесу бывает; упаси боже, не то чтобы я что-то знал, как раз я-то ничего не знаю, а ты что знаешь? Вот видишь, никто ничего не знает, ты понимаешь, я бы и сам с радостью пришел наконец плюнуть на его могилу и господа бога поблагодарил бы за справедливость, это я тебе могу сказать, ты же меня знаешь, но ведь еще ничего не известно, а ты тут, бедняга, почти один остался, ты знаешь, Костек, я не из тех, кто пугать думает или советовать лезет, но ты ведь знаешь наши края, до повята далеко, вроде как за горами, подмоги тебе не дали, сегодня ты есть, а завтра... Говоришь, обещали, что дадут, это уж наверное, вот лучше и подождать. Говоришь: нечего ждать, но ты сам подумай, я ведь понимаю, ты хочешь, чтобы все шло нормально, чтобы не оглядываться на них, но ведь ты знаешь, не каждый такой лихой, огля-

дываются, приходится оглядываться, потому как за все тут приходится отвечать, то перед вашими, то перед теми. Ладно, парень, только погоди, когда придут тебе помочь из повята, а кто у тебя тут еще есть? Я своим глупым умом так понимаю: пока лесных не разобьют или пока войско не вернется, лучше не задираться. Зачем тебе людей под удар подводить, ведь и твои прежде чувствовали себя спокойно, а теперь все знают, чем это грозит. Переждать надо, пока все минует, ведь правильно скажут, что ты их под удар ставишь, конечно, порядок надо наладить, как время придет, выводы сделаем, но не выскакивать очертя голову, чтобы беды не накликать, да и зачем? Мало того, что было? Люди-то выжить хотят, каждый тут кого-то потерял, вот и я тебе говорю, Костек, потому что знаю тебя, зачем тебе еще невиновным вред чинить?..

...Значит, вред от меня, вот до чего уже дошло. Мешаю им одним своим присутствием, они хотели бы только избежать всего, чтобы ничего не делалось и чтобы от них ничего не хотели; не давать повода, даже видимости, что у них есть собственное мнение, что чего-то хотят и против чего-то выступают, не горько им и не больно, только бы драки не было, и никто бы ни на что не понуждал, не чувствуют себя виноватыми, что здесь, среди них, поубивали братьев, а они стояли и смотрели, а теперь говорят, что это не они, вот они какие, так и на меня смотрят, источник тревог и только неприятность большая; я всегда был источником тревог, я один тут чего-то хотел, если я их прижму — пойдут, а отвернусь — по домам расползутся, потому что одно только точно: не верят они, не доверяют, так чего же я могу от них хотеть, чтобы все было сделано не под угрозой... страха? Ведь неправда, что они ничего не хотят, разве Янус или Стоберский ничего не хотят? Будут сидеть тихо? О, я-то хорошо знаю, чего им надо, знаю и ясно вижу, и потому не могу сидеть сложа руки. Пока у них еще есть надежда, будет предательством перед несчастными жертвами оставить этим людям надежду и не перечеркнуть ее раз и навсегда. На кого я могу тут рассчитывать? Этот вот будет крутиться и извиваться до конца...

— Я же ничего не говорю, Костек, ты на меня всегда можешь положиться, ты и сам знаешь, что я тебе буду

голову морочить, ты пока что приглядывайся и соображай, надо вдовам несчастным помочь, может, и ксендз их навестит, только поменьше этих повязок и воинских учений, зачем глаза мозолить, ведь придет этому время, в повяте знают, что мы тут люди бедные, одни, ты же видел, это ты всегда объяснишь...

...Как бы ему втолковать, чтобы он сам понял, он же сам не свой от горя и самогонки, чего они не взяли его с собой? Бедолага еле на ногах держится, что он тут может сделать и кто тут за ним пойдет? Видно, не было у них уже никого, будь это чужой, можно бы все объяснить, предупредить в случае чего, послать, дать знать в участок, чтобы вовремя спрятались, а случись что, так ведь это люди чужие — никак не скажешь, что мы с ними что-то имели, а он здешний и будет своего добиваться. Кто перед ним двери закроет? Совесть не позволяет, всегда скажут, что это родич. А придет войско, он первый будет решать, потому что, может, уже ничего тут не будет, и тогда все от него будет зависеть: надо с ним ладить, чтобы за тебя слово замолвил, тут голова нужна политическая. Все это хорошо, но сейчас-то как? Есть он, двое там в гмине, ну, всего трое их, потому что на тех придурков, Шимулю или Рахоня, никак нельзя рассчитывать. Ну и что? Три человека в развалюхе, тех было куда больше, а долго ли отбивались? Правда, пулемет у них — стало быть, шуму будет больше. Из Жолыни, видать, никого они не получат, даже предупредить никак не смогут. Войско далеко ушло. Хочет погибнуть тут, отомстить за своих, господи, да пусть гибнет, а деревня-то чем виновата? Может, втолкую ему как-нибудь, ведь, если явятся из повята, все же от него будет зависеть...

— Сам видишь, Костек, что я тебе буду говорить, ты Бендика знаешь и знаешь, что он всегда тебе поможет, так что давай рассчитывай... вот и говорю... говорю... подумай... прикинь... я всегда... хорошо... если получше...

— Попей еще,— услышал он отчетливо, точно в перерыве между этим монотонным шелестом слов.— Хеля! Подлей еще сыворотки, Костек устал от этой жары. Эй, Хелька, слышишь?..

Это движение спугнутого зверя, выданного колыханием малинника, присутствие живое и немое, первый отзвук тихого вопроса, дрожь тростника следом за брошенным

камнем, ушедшим в воду мягко и бесшумно. Только дыхание и шелест выпрямляющихся стеблей. Хриплый голос Курылы все еще висел над зноем зелени. И когда голос впитывался в замершую пропасть листвы, в нем звучала необычная нота уговора и мольбы. Частые ряды кустов малины, точно свечки, усыпанные рубиновыми сережками, двинулись на него, освобожденные от привязей, выплевывая изнутри эту фигуру, чем-то сродни растениям, в прожилках света, который стекал с лица по рукам трепетом мушиных крыл. Голубые глаза в сеточке боли и грязных полосах от слез. Когда с него сплыла изощренно сотканная пелена бликов, он запах болотом, липовым цветом и застыл худенькой фигуркой, явно материальной, потому что была она подперта тенью. Мундир привел его в состояние крайнего беспокойства, но вновь притянул этот тихий голос. Между пальцами ног присохли забившиеся пучки травы. Руки все в клеймах ягод, точно искусаны муравьями. И только синий рубец на щеке не был пятном от ягод.

— Юзек, что с тобой? От меня прячешься?

Тот стоял неподвижно, заячьим столбиком, под косым ливнем солнечного света, густого, как глицерин. Головой он достигал орденской ленточки на мундире Курылы. И вдруг этот задранный подбородок, точно Юзек захлебнулся небом. Все лицо ожило в морщинах вокруг глазниц, красных теперь, словно бы из них выковыряли глаза. Два слова выдавил он трясущимися губами, тяжелее приговора этому миру:

— Умирает дитё...

Тяжесть двух рук сперва придавила его, потом подняла в воздух. Тень возвышающейся фигуры Курылы заполнила радужную оболочку зрачков.

— Говори яснее.

Дзида съежился и сник. Голос его был мягкий, тихий.

— Катажинин малыш,— прошептал он.— Разве нельзя его спасти?

Большая фигура перед ним вновь открыла для него свет. Вновь он был один на один с ожидающей в пяти шагах дверью дома.

Курыло чувствовал, как приходит в себя, вынужденный теперь думать о чем-то другом. Эта новая забота разогнала его апатию. Он вдруг почувствовал себя нуж-

ным, а значит, и способным действовать. Говорил он медленно, точно оправдываясь перед этим преждевременно постаревшим человечком, который никогда ранее не привлекал его внимания:

— Вспомни, Юзек, что меня здесь не было. Сирота у тебя? Что с малышом? — А потом добавил, глядя в сторону леса: — Это люди Гетмана?

Дзида молча кивнул головой. Скрытое, беззвучное рыдание булькало где-то в его тонкой шее. Каждое из этих редких слов перемежалось паузой страдания.

— Один на лошади наехал на ребенка на дороге. Он испугался, упал... и сразу без чувств... Красный с позавчерашнего дня... Теперь даже не кричит...

Курыло внимательно вгляделся в него, пытаясь мысленно воспроизвести все, что ему не довелось видеть. Солнечный свет переламывался на синей полосе рубца, разделившего худое лицо наискось. Так выглядят склеенные обломки статуи.

— Это они сделали? — указал он рукой.

Подтверждающий, равнодушный кивок. Внезапная напряженность этого тщедушного тела, точно оно хотело оказать сопротивление самой тишине и молчанию уходящих часов, проведенных один на один с чем-то неотвратимым, в душераздирающей беспомощности.

— Курыло, скажи, разве он должен умереть?

Необычное волнение, растапливающее панцирь в груди, скорее из свинца, чем изо льда. Это было именно то, этот тон голоса, который он подсознательно жаждал услышать, которого искал, как утерянную вещь. Призыв о спасении, о помощи. И не ради себя, а ради невинного. Неужели он тот, кто может изменить предназначение судьбы?

Вопрос этот выглядел для него куда конкретнее, чем босой бедняк с рубцом на лице. И теперь, если уж вопрос прозвучал, он и за это в ответе.

— Не знаю,— сказал он, точно про себя. И тут же понял, что это не может быть последним словом, что это именно тот шанс снова быть среди людей, существовать для них, понимать их и сочувствовать с ними. И одновременно прикидка: этот, если он ему объяснит, сделает все.

— Покажи,— сказал он.— Поглядим на малыша.

Больше он не сказал ничего такого, что могло быть воспринято как обещание. Он не имел права дать ему даже тени надежды. Когда он закрывал глаза, на дне радужной оболочки запечатлевалось рыжее небо и выцветший негатив кустов. Пылающие солнца медленно вращались в пурпуре крови, прежде чем погасла оглушенность нервных волокон. Язычки пота лизали за ушами шею. Открыть веки — это снова скачок в пылающую пасть. Плетеница света стекала по нему, точно вышитая сорочка, стягиваемая через голову. Седой лопух и спутанный сердечник кипели вокруг сапог, серых от пыли. В вышине стеклянная нить паутины трещинами изрезала глубину неба, точно царапины на зеркале. Он увидел Дзиду в метре от себя, преображенного вернувшейся верой, напряженно ожидающего, и взгляд этого человечка, измененный, засветившийся доверием. Он осознал всю абсурдность обещания, которое источалось из его крупной фигуры и решительных движений. Должно быть, он выглядит для него архистратигом, победителем смерти, способным изменять судьбу. «Вот оно,— подумал он сокрушенно,— чудотворная икона выискалась, берусь за то, где я уж подлинно бессилен».

Ребенок лежал в полумраке от прикрытых окон. Сухой, пылающий в горячке череп с капельками синеватых век и дырочкой дышащего рта. Они стояли по обе стороны его, точно торгуясь за эту жизнь, еле слышную в приглушенном хрипе. Маленький Дзида, застывший, загипнотизированно уставившийся в него, от боли и ужаса даже посолиднел.

— Никаких ушибов не было, говоришь? Тогда, наверное, воспаление мозга. У детей это бывает от большого испуга,— сказал Костек, больше про себя, и почувствовал деланность своего голоса, всей роли, которую он невольно играл, и положения, в котором он здесь очутился, особенно же того, которое приписывал ему беспомощный человечек по ту сторону кровати.

— И он должен умереть? — спросил тот еще раз бесцветным голосом и выпрямился, уронив глаза на губы Курылы. Был он какой-то страшный и напряженный в своем стремлении дознаться решения судьбы. Мухи с жужжанием бились о стекло. С икон над кроватью глядели византийские лики. Дыхание ребенка было еле

слышно. Тяжелый запах кожи и тряпья висел под накатом.

— Кто знает? — глухо ответил Курыло.— Почему не позвал кого-нибудь из женщин? Мало молиться и ждать.

Дзида вновь уменьшился. И беспомощно пожал плечами.

— Разве тут кто думает о других, все о своем. Был я у ксендза. Только облика его испугался. Говорят, что он исповедовал тех...

Курыло выпрямился, точно выше поднимая закопченный потолок...

— Пойду к Лосюкам. Пусть возьмут ребенка к себе, на воздух. Женщины сделают, что надо.

Он кивнул Дзиде, и они вышли за порог. Лес и поймы за деревьями сада проплывали перед их глазами. Зной покрыл их лица горячим рушником. Курыло говорил медленно, вглядываясь в синий ошейник леса, над которым вздымались коричные полосы полудня.

— Видал теперь, чья это работа,— сказал он серьезно.— Женщины сделают все, что только можно. Судьба ребенка в руках божьих. Если будет у него покой, то, может, и выживет. Если не повторится еще такая ночь...— Он помолчал, взвешивая слова.— Они убежали,— решился он,— люди Гетмана. Но ты же сам понимаешь, что могут вернуться. Надо их вовремя уследить. Юзек, в деревне есть войско, которое мне подчиняется. Мы будем вас защищать, но, если они снова придут, нас надо вовремя предупредить. Пообещай мне, что будешь караулить день и ночь. Кто бы ни шел из леса, дай знать в участок.

Он видел по губам этого человека, повторявшим каждое его слово, что может ему доверять. Он обретал верность этого человека — взамен чего?

— Они виноваты в том, что стряслось с ребенком. И только этим ты можешь им отплатить. Помни, это из-за них.

Синие, полубесчувственные глаза Дзиды застеклենились от слез.

— Понимаю тебя, Курыло. Все понимаю. Буду глядеть день и ночь. Даже... если не выживет...

Последние слова, проглоченные вместе со слюной, заглушенные мазнувшим по носу рукавом, предназначались уже не для Костека.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

И вот наконец пришло время пойти туда. Нельзя уже дольше обходить тот дом, который должен был быть первым, куда ноги сами должны были понести его — подсознательно, непроизвольно; как только обнимет своих стариков, когда умытый, ослабив ремень, встанет, гася сигарету, провожаемый нежным взглядом матери, взором ее, всевидящим и всепонимающим. Она уже смирилась с этой чередой действий, благодарная ему за одно то, что он сознает меру и понимает что зачем. Таким уж Костек всегда был, всегда чувствовал и поступал, как положено. Вот и смотрела бы, наверное, с теплой озабоченностью, которую всегда испытывает мать, замечая начало иного, собственного пути, уходящего за пределы ее времени, за пределы ее неуверенного взгляда. А вот отец, тот бы надулся, сознавая все, что их разделяет с Пайдой. Но, пожалуй, махнул бы рукой, будто не видит. Так бы все было с первого часа, в том воздухе, полном ожидания, которым он мог бы играть, легко растягивая его, поскольку ожидание это было бы так же ощутимо, как вездесущий дневной свет, как касание ветра, и так же несомненно, как само их присутствие здесь. Сам факт появления отряда стал бы в ту минуту важнее всего. Теперь же он был настолько иным по своей сути, что стал противоположностью всего, на что Костек рассчитывал. Поэтому он был почти рад, что с момента прибытия сюда, в этой издевательской пустоте, на пепелище надежды, ему удавалось обходить стороной тот дом. Но дольше избегать его казалось немыслимым. Он мог не замечать их существования, пока ждали все остальные, но сейчас, когда всем известно, что он побывал всюду и навестил всех, обойти эту единственную молчаливую усадьбу — значит придать своим действиям совершенно иной смысл: это походило чуть ли не на демонстрацию, как будто он придавал ее обитателям большее значение, чем Стоберскому или Янусу. А они ничем не заслужили даже минутного его колебания. И должны это знать. Он обходил их стороной, откладывал напоследок, как обычно откладывают что-то неприятное. А может, боялся, что в этом не вся правда? Так или иначе, а идти туда надо. Тут-то он и понял, что раньше не мог бы, а сейчас просто должен, и что это вовсе не то же самое, что с

Янусом или Прокопюком. Вот теперь-то и приходит момент, который в мечтах его был первым и единственным, потом ему уже, думал он, не бывать там никогда, хоть и под конец, но приближается это, как приговор — отвратительный, болезненный, неизбежный.

Слава богу, он был спокоен.

Та же дорога от развилки на площади перед гминой, бегущая в сторону Ленга и моста на Гнилке, по которой он столько раз прошел и вчера, и ночью при свете луны, и сегодня. От испепеленной хаты Курылы не больше пятисот шагов. Мимо вела эта дорога и сужалась на бревнах прогнившего моста, порошившего нитями песка, еще недавно сотрясавшегося под тяжестью военных грузовиков. Внизу речка, поблескивающая темной спиралью, а за ней гладь прудов среди усатых плотин, вон дотуда, до самой стены леса. С одной стороны этот лес, с другой — закопченные трубы. Все это они всегда видят из обоих торцовых окон. Но окна так тускло блестят, будто стекла вставлены в непроницаемую стену, будто забили их изнутри прочными надежными ставнями.

И сейчас они тоже должны видеть его, как он идет от развилки, грузный и темный, не может того быть, чтобы не видели, думал он. Еще раз пройдет он мимо с бесстрастной и зловещей выдержкой, провожаемый ее скрытым взглядом, так как убежден был под коркой отупения, что должна она за ним наблюдать. И вот он вырастает, этот ладный дом на каменном фундаменте, целехонький, с обшитым, точно на зиму, крыльцом, с крышей, покрытой толем, сверкающим, как смола, растопленная жарой. Вот его уже обступили чистенькие службы, выскребленный двор и колодец с навесом, на манер часовенки. И тут он услышал одышливое сопение Бурлака, словно единственное эхо своих шагов в этой тишине. «Хочешь быть свидетелем? — с горечью подумал он.— Зачем тебе это? Ведь ты уже все видел».

Он громко затопал сапогами в сенях, и дверь со скрипом отворилась. Регина все видела из глубины другой комнаты. И это расстояние приглушало звучание слов, отодвигало изображение, как перевернутый бинокль, в туннеле двух дверей и двух косяков, обрубающих свет падающими внахлест завесами сияния и матовой тени. Что-то было в этом от объемной скульптуры, несколько плоскостей, наложенных друг на друга, несколько силуэ-

тов различной глубины: красноватый отсвет пеларгоний, густой, как масло, полуденный солнечный свет, коричневые, грубые дверные рамы и сепия домашних полутеней. В конце этого туннеля фигура отца, стоящего спиной, черная, почти синяя. Она заслоняла лицо пришедшего, который стоял, освещенный сбоку, из сеней, как будто одно очертание без глаз, заполненное движущимися пятнами. Эти пятна глазных впадин и выпуклостей оплыли от неподвижности, и осталась лишь глыба, какой-то мертвый манекен без черт, пугающий. И тут до ее ушей дошел шорох каких-то слов, чей-то другой голос, как будто и тот же и не тот.

С минуту она оставалась неподвижной, подавшись к двери; застывшая от неуверенности и колебания, а затем вскочила с необыкновенной живостью. Пригладила тяжелые косы, пропустив их тяжело через руку, словно шарфы, взбила волосы надо лбом, стрельнув взглядом в темную бездну зеркала на шкафу, быстро послюнила ресницы и снова замерла, полная сомнений, касаясь пальцами пылающих щек. Глаза ее светились, как у совы.

Тем временем отец продолжал стоять в дверях и загораживал Костека. Курыло почти касался грудью Пайды, который был чуть ниже его, и, не отступая, казалось, заполнил собой весь проем двери. Глаза его посверкивали прямо перед Костеком, большая раненая рука, обмотанная кофтой, как младенец в свивальнике, разделяла их, словно щит. Если бы Костек шевельнулся, он не мог не задеть его.

— Это ты,— сказал отец Регины тусклым голосом.— Что там еще? — бросил он тут же. Он явно был не склонен приглашать его в дом.

На лице Курылы, напряженном и набрякшем, с маслянистым блеском между крупными морщинами, шевельнулись только глаза. Глаза эти были холодные, тяжелые, с некоторой рассеянностью во взгляде. Он не сказал «Господу нашему», даже не прикоснулся пальцами к фуражке, пробормотал только что-то вроде «Да-а-а...», потом:

— Войдем.

Это был не вопрос, а скорее предложение. В горящих глазах Регины вся эта сцена выглядела так, как будто они вышли из рамы, оторвавшись от плоскости картины, и встали перед ней. Их еще разделял только один

прямоугольник двери. И одновременно они неожиданно выросли в ее зрачках, вторглись этим туннелем в непосредственную близость к ней. Инстинктивно она отпрянула за косяк и впилась ногтями в твердое суковатое дерево. В глубине, за Костеком, у порога появился Бурлак, внимательно вглядывающийся, с настороженными ушами. Пайда повел подбородком и незаметно поднял брови.

— Собак мне здесь не надо,— подчеркнул он двусмысленность своих слов. Костек повернулся и махнул рукой.

— Бурлак, ступай на двор...

Собака опустила голову, шевельнула хвостом и послушно вышла. Обоим им необходимо было отвлечь на миг внимание. Только сейчас Курыло увидел мать Регины. Она сидела у стола, в тени, спиной к окну. Строгое, стянутое морщинками вокруг глаз и узких, закушенных губ лицо. Такая торжественная, будто на поздней обедне, суровая и подавленная. От всей ее неподвижной фигуры, расположенной между цветами пеларгонии, исходила отчужденность, небывалая доселе.

— Слава господу нашему,— буркнул Курыло, касаясь пальцами орла на фуражке. Он стоял посреди комнаты, высокий и грузный, будто столб, которым подпирают свод. От неожиданного движения блеснула орденская ленточка на пропотевшем мундире. Пайда непроизвольно припал к ней глазами. Само как-то получилось, как рассказывал он потом с обидой и влажным блеском в глазах, готов был побожиться, что Курыло сделал это демонстративно, чтобы его уязвить. Он вглядывался в эту цветную ленточку, когда хозяйка все с тем же подавленным лицом показала Курыле место на скамье у стола. Пайда шагу не сделал. Костек тоже стоял бесстрастный, невозмутимый, вырвав тем самым из груди Регины болезненный вздох. Так вот он теперь какой, Костек-Костуха, так-то он приходит в их дом... Она видела, как крупные губы Курылы расклеились, а в блуждающих зрачках снова появился блеск деловитости и внимания.

— Было собрание на площади у костела,— сухо и отрывисто произнес он.— Всех вас известили. Почему не пришли?

...«Почти два дня было тихо». Пайда помнил этот лихорадочный шепот Зенека. постоянно видел его глаза,

всматривающиеся в одну точку, где-то за окном или в углу возле шкафа, точно они буравили взглядом невидимый туман, далеко где-то отсюда, точно парень видел привидение, призрак, телесный облик принявший, который и он, отец, должен был увидеть, а если и не замечал доселе, то почуял сейчас его присутствие, как будто третьего кого, даже не по себе ему было, что кто-то еще их видит в этот момент и, значит, свидетель тому, как Зенек сдал, потому что сын его впервые за много лет, почитай что с детства, готов был заплакать, несчастный, совершенно расклеившийся, вот он и видел эти глаза своего сына, блестевшие слезами стыда и отчаяния, смуглые руки его, сжатые в кулаки, не смирившиеся; Зенек боролся с этим горьким воспоминанием, подбородок его дрожал, и голос горестно срывался: «Вот уже два дня стояла эта тишина...» Стало быть, необычной она была, как до этого протяженность первых часов перед их глазами, среди небритых лиц, этих часов, которые приобрели форму танков и орудий в колоннах чужих армий. Это была не немецкая армия, танки были без черных крестов, после долгих лет столкновения двух сторон они были знаком чего-то третьего, пока еще непонятного, неизвестного. В эту игру не на жизнь, а на смерть с уже почти усвоенными правилами включался непредвиденный ими фактор, доселе лишь чисто теоретический, а теперь уже приобретший форму, теперь уже реальный в обличии этой тишины. «Два дня назад они шли по шоссе от Закликова. Пробивались на Аннополь, мы это ясно слышали. Немцы, должно быть, сопротивлялись изо всех сил. До нас доходила несмолкаемая канонада, а затем лязг танковых орудий, продвигавшихся вдоль шоссе. «Прошли Лисник... Уже из Гостирадова слышно»,— комментировали мы каждый час, каждые полчаса. Мы стояли перед усадьбой лесника, а головы наши поворачивались как по команде, ловя перемещающиеся на запад отголоски выстрелов». Одиночные подвижные взрывы блуждали вдоль горизонта, там, на самой границе лесов, ощутимые и близкие и все же проплывающие мимо. Иногда взрывался нарастающий гул свалки и отчетливая пробежка разрывов как бы застывала на месте, она набегала, ясная и близкая, тогда они уже могли различать составные ее части; звуки эти успевали приобрести образную форму, воздействовали на обостренное вооб-

ражение. И когда они вот так вслушивались, сбитые с толку, но возбужденные, орудия танков прорыва снова загремели где-то не то ближе, не то дальше, но вовсе не там, где они предполагали, а это значит, что фронт в течение этих нескольких минут уже продвинулся вперед. Ночью вспышки пробегали по небу, опережая доносящийся грохот. Коршун расставил усиленные посты. Люди ругались, глушили самогон: из-за игры нервов, раздерганного воображения, галлюцинации слуха это пассивное созерцание событий, которые, как говорилось в приказе командования, «их не касаются», было особенно мучительно. Это было за два дня до т о г о, а потом наступила тишина. Тишина жуткая и осязаемая, как туман. Они, конечно, ждали чего-то, что должно было наступить, понимали: то, что до сих пор было чуть ли не единственной реальностью, это дикое мотание, эта неустанная травля, это животное отупение чувств — все это должно когда-нибудь кончиться (хотя, может, и в этом они уже разуверились — слишком уж были молоды, войной выращены), хоть смутно и предчувствовали, что должно что-то наступить, однако иначе воображали себе это в беспокойных снах. И вдруг они поняли, что это уже произошло. Эта тишина, будто внезапная остановка машины, вибрирующей постоянно, еще с незапамятных времен. А в тишине этой повеяло чем-то чужим, не столько страшным, сколько непонятным... Проявления кризиса, естественно, существовали, хотя и не казались особенно тревожными. Они должны были быть, это совершенно ясно. Но большого значения не имели. Когда на одном из очередных «разъяснений» Коршуна кто-то прореагировал по-новому, хотя теперь-то уже вполне ожидаемым образом, то есть выкрикнул с горечью просто два слова: «С... и мы на это...» И вот, хотя он выразил вслух мысли, сверлящие уже многих, все вдруг испугались, словно была нарушена какая-то граница. Слова эти неожиданно приобрели горечь чего-то необратимого. И все почувствовали смятение из-за того, что это проявилось. Однако лишь реакция самого Коршуна была настоящим сигналом тревоги, доказательством серьезности положения. Лицо командира потемнело от прилива крови, усы дрогнули, как всегда в приступе бешенства, вот-вот он готов был взорваться, они же хорошо его знали, такого он не спускал, должен был взорваться — офицер, если

он хочет управлять отрядом в игре, где головы двухсот человек ставятся на карту каждый день, каждую секунду, не должен позволять, чтобы подобные слова оставались без эха выстрела,— и он должен был взорваться, как вдруг, все это заметили, неожиданно побледнел и погрустнел. Секунду он молчал, а когда заговорил, в его голосе слышалась озабоченность и неимоверная усталость. «Я должен тебя расстрелять, Синица,— сказал он тихо, но подчеркнуто отчетливо,— ты знаешь, хотя, быть может, сам и не сознаешь, что́ ты своим языком сказал в такую минуту. Но я не сделаю этого. Положение слишком серьезное,— продолжал он, по-прежнему не повышая тона и все с той же убийственной озабоченностью в голосе. Все были потрясены и его реакцией и его голосом.— Очень серьезное,— продолжал он задумчиво,— и очень тяжелое. Я понимаю, что сначала вы должны с ним освоиться. Только из-за необычайной серьезности положения я прощаю твой проступок, Синица. Да-да, только по этой причине...» Голос его обрел прежнее звучание. И тогда они поняли, что́ эта тишина означает для них, для него, для всего дела, за которое они боролись. Каким ужасом она чревата. Если уж Коршун, которого все хорошо знали, оказался совсем другим человеком... «Было, впрочем, и другое объяснение,— с иронией добавил Зенек.— Командир уже тогда испугался, пытаясь при новом порядке вещей надеть на себя овечью шкуру. Но ребята никогда так не думали». Ах, это необычное поведение Коршуна, и эта невыносимая тишина... Вначале они долгое время не сознавали, что произошло. Привыкшие к решениям, принимаемым там, наверху, они пассивно ожидали не столько дальнейших событий, сколько приказов. Они долго жили двойной жизнью, когда события шли своим чередом, а распоряжения сваливались независимо от этого, и до чего же парадоксальными казались они иной раз на фоне того внешнего порядка, который медлительно, вяло, несмотря на все пароксизмы беззакония, формировал бытовой уклад деревень вне защитной стены лесной чащи, определял работу повятов, там, среди сутолоки на шоссе и фырчания машин, и даже жизнь всей оккупированной Польши, ее месяцами не виденных городов. Их же отряд, они, были подпольным государством в государстве и уже привыкли к этому не совсем обычному осознанию. Хотя столько

лет говорилось о временном характере немецкого порядка, хотя это было их единственной надеждой и смыслом существования, тем не менее — такова уж человеческая природа — они уже боями обеспечили себе какую-то форму бытования или, вернее, избежания смерти, и эта жизнь загнанного зверя, умеющего постоять за себя,— положение человека, который сам для себя создает законы и сам творит нечеловеческое правосудие; и вот это существование среди смерти и ужаса постепенно становилось единственно возможной жизнью. Они знали ее правила и ее терпкий, удушливый привкус. Они разработали технику борьбы, вошли в нее, суть же заключалась в том, что у нее не было никаких правил. А для того, что надвигалось сейчас, у них не было выработанных решений. Им невразумительно внушали, что это будет т о ж е с а м о е, но ведь они другого ждали, в настойчивых мечтах о том, что будет «после победы», когда, как в песне, «вырастет Польша из нашей крови». И только вот этот вариант, который приближался в действительности, не прошел испытаний в сновидениях и совместных ночных разговорах, и, несмотря на все слова, они понимали, что это никак не будет т о ж е с а м о е. А то, что это не просто продолжение оккупационной ночи, они знали хотя бы по собственному беспокойству, по растерянному виду людей и по неуверенному поведению самого командования. Слова, произносимые до сих пор, превратились вдруг в напыщенные фразы, за их пустым звучанием чувствовалась раздерганность сомнений. При этом они сознавали, что, собственно, они последние, на ком это настроение начало сказываться. Там, вне армии и военной дисциплины, этот процесс уже давно развивался и назревал. И дело не только в быстром продвижении польских коммунистов и не в отдельных признаках, суть которых объяснялась положением на фронтах, нет, это был процесс глубокий, всеобщий и лишь для них непонятный. Слишком разных людей он касался. Такие простые слова, как «патриотизм» и «предательство», как «непоколебимость» и «коллаборационизм», становились многозначными. Во второй раз, как тогда, после сентября 1939 года, нужно было с самого начала, самостоятельно определить предмет своей верности, заново сформулировать его в туманности возникающих и рушащихся явлений. С каких позиций пересмотреть старые, незыбле-

мые понятия, что является первопричиной и основным значением слов? Ведь сколько лет именно они с их лихим вызовом, брошенным оккупанту, были воплощением дерзких мечтаний, символом этого мышления, категориями тайных стремлений. И, как квинтэссенция смелых надежд, они являлись наиболее выдвинутой точкой соприкосновения с людскими чаяниями. Что ж тут удивительного, если они почувствовали себя вдруг слишком вырвавшимся авангардом? Они были персонификацией мифа и остались его воплощением, когда сам он начал звучать фальшиво. А жизнь, горькая и компромиссная, как же она часто насмехается над ярко выписанными ею же идеалами. И вот они расположились в усадьбе лесника, выставив дозоры, в состоянии полуготовности, без какого-либо четкого плана действий. Первый раз они почувствовали, что попали впросак, отстав от событий, и, что тут говорить, оказались в глупом и смешном положении. Точно актеры, которые пришли в костюмах и увидели театр закрытым, а публику в другом зрелищном заведении. Бесплодность недавних инструкций проявилась теперь со всей очевидностью. «Быть в готовности, под ружьем...», «Перенимать местный аппарат власти с момента бегства оккупантов...» Но как это сделать между двумя махинами передвигающихся армий, между клиньями сцепляющихся, точно зубчатками, танковых колонн? Где же для них свободное место, где та ничейная земля, на которой они могли бы выполнить приказы сверху? А ведь они были боевой группой, созданной для борьбы, и прежде всего для вооруженной борьбы, вовсе не для того, чтобы брать в свои руки местные звенья власти. Что это означало и в чем это должно было проявляться? Что могли они знать, все еще сидя в лесу? А выйти из леса было некуда. С кем бороться, если на них никто, как раньше, не нападал? Сломленная мощь эсэсовских дивизий в течение ночи оказалась вне зоны их действий. Этих же, новых, они до сих пор не видели и не имели о них никаких данных. Коршун ходил пьяный и какой-то потерянный, они видели его смятение, так как носили в себе то же самое. Вначале он все притворялся невозмутимым, как будто о чем-то знал, чего-то ждал или что-то пережидал. Но это была только игра. Дозоры ничего не доносили, и состояние готовности не могло продолжаться вечно. Готовые действовать, не могли же

они ждать без конца? Нельзя было допустить, чтобы состояние тревожной готовности перешло в состояние распада, это был бы конец дисциплины, никто бы их уже потом не собрал.

Под утро он сам разослал патрули в близлежащие деревни, к шоссе, к железной дороге, на пересечение главных путей. Разумеется, строго запретил открывать огонь. Сведения, которые приносила разведка, были противоречивы и не давали никакого представления о том, что творилось вне леса. Залп докладывал о положении в Важехах. «Подошли мы рощей и по дороге к мельнице. Уж Сенницкий-то, думаю, знает...» До самых помещичьих выгонов не видать ничего такого. Постепенно рассвело, и, когда вышли на открытое место, было уже так светло, что живого человека за сто метров можно увидеть. Только живых-то и следа не было. То здесь, то там торчали деревья, сожженные, покореженные снарядами, значит, хорошая драчка здесь была. Помещичья пшеница, еще не убранная, выглядела так, будто ее градом побило. От поворота перед Важехами танки, чтобы сократить дорогу, пошли напрямик через поля. Широкая развороченная полоса легла через пшеницу и дальше, через картофельное поле. За танками передвигалась пехота, следы сапог, один подле другого, глубоко ушли в чернозем. И только когда приблизились, увидели трупы. Их присыпала пыль, и были они серые, как пепел, лишь вблизи и можно их заметить, да и то нелегко разобрать: русский или немец. Многие лежали лицом в землю, раздавленные гусеницами танков. «Светало, и, по мере того как из серого рассвета выступали отдельные предметы, нас охватывал страх, потому что везде мы доискивались чего-то неизвестного, даже того, чего там вовсе не было, и, видит бог, мы не знали толком, что именно должны были увидеть, и каждую минуту ожидали бог весть чего, а в действительности ничего особенно так и не удалось заметить. Да и, господи боже ты мой, что там могло быть? Мы не знали. И отсюда страх. Как раз этой тишины, этой пустоты и боялись. И еще того, что мы не знали, чего бояться надо. Так всегда бывает, когда четких приказов нет». Было видно, что здесь шел бой и что прошли здесь крупные части. По полям — танки, а по дороге в долине — пехота. Дорога выглядела так, будто по ней прогнали с выгона большие стада ко-

ров. Вся изрыта тысячью ног. Вижу, ребята останавливаются и на что-то поглядывают, а потом наклоняются и украдкой поднимают. «Что ты там нашел?» — спрашиваю. «Лимонки, пан капрал. И бинокль мировой...» Смотрю, а это гранаты, оборонительные, такие же, как наши. «Бросьте»,— говорю я, только неуверенно. А ребята смотрят на меня. «Да вы что, пан капрал? Бросить? Оружие?..» Идем, и глаза на лоб лезут, сердце бьется. Такие сокровища, оружия там, оружия!.. На каждом шагу гранаты, обоймы, ракетницы. Значит, быстро им пришлось идти, и давно шли, выдохлись уже. Стало быть, тайком выбрасывали все самое тяжелое, чтобы сил хватило. Для них-то это не имело большого значения, не им считаться с каждым грошом. А в канаве — фаустпатроны, новенькие, даже не запыленные. «Пан командир,— захлебывался Сова,— прямо скажу, в голове не умещается. Как мы за оружием охотились, из-за какой-нибудь берданки столько ребят гибло, а сейчас не разбери поймешь — вон сколько оружия...» Собрали самое лучшее, остальное пришлось оставить, хоть сердце кровью обливалось, и еще долго потом оглядывались. Ведь если их ожидает то же самое, то уж теперь они получше будут вооружены. Они были уже возле мельницы, возле первых, скрытых холмами крыш деревни, когда слева, со стороны поля, громко застрочил автомат. Они затаились в можжевельнике, в любой момент готовые к действиям. В первых ярких лучах солнца, брызнувших из-за крыш поселка (а из труб вился дым, значит, бабы спокойно готовят завтрак), они увидели советского солдата в промокшей накидке, с автоматом в руках. «Ну и как? Что получилось?» — спросил кто-то. Красноармеец нагнулся. «Есть,— сказал он, поднимая что-то серое и длинное.— Заяц...» — Из автоматов они палили по зайцам. Иисусе милостивый, их можно было бы убрать, даже пикнуть бы не успели. Но что делать — приказа не было. Русские ушли. Залп со своими подкрался к мельнице. Движения в деревне не видать. Вышел наконец Сенницкий, когда уже несколько раз повторили вызов условным знаком. Как всегда пьяный, значит, удачный случай подвернулся выпить. Удивился при виде их, будто они покойники. «Да вы что, ребята, с ума посходили? Смывайтесь отсюда, а то вас пристукнут». Такого они от него еще не слышали. Самогону с русскими выпил и уже переметнулся? Похва-

лился, что пить с ними хорошо. Тут же в нем брат-славянин проснулся, мать его... Пайда запомнил одну подробность из этого рассказа, которая особенно потрясла Зенека. Когда Зенек рассказывал ему об этом, губы его дрожали, и, хотя сын повторял только факты, которые узнал от Залпа, в голосе его, в голосе своего сына, он, отец, почувствовал искреннюю боль оскорбленного и какой-то страх, смешанный с изумлением. Должно быть, это их особенно поразило, если Залп не преминул об этом сообщить. «Меня больше всего озадачило,— доложил командир патруля,— что Сенницкий так на нас смотрел». Докладывал он явно ошарашенный. «Он на нас смотрел, будто привидения встретил.— Потом уточнил: — Будто мы принадлежали к давно минувшему прошлому... А ведь прошел только один день. Один день прошел и одна ночь, не больше. Еще вчера он бы встретил нас самым обычным образом». «Значит,— жаловался Зенек,— мы за один день стали бесповоротно минувшим. Стали призраком, который неожиданно встал из могилы. Отец, значит, они мысленно уже похоронили нас...» Они могли себе представить, что происходило здесь ночью. И как мельник разливал водку, набиваясь в друзья-товарищи... «Русский хороший,— ломал он, наверное, язык,— германцы капут». Кто-то из людей Залпа сплюнул, глядя на мельника, кто-то начал пощелкивать затвором автомата, и в глазах стоял недвусмысленный вопрос. Залп удержал их — не за тем они сюда пришли. Сенницкий подробно обрисовал положение. Первая волна советских войск прошла ночью. Шли и шли без конца. Потом подтягивались отставшие. Сейчас их здесь немного. Будут организовывать этапные пункты и тыловые службы. В доме ксендза что-то вроде склада, оставили там несколько подвод и машин. В школе контрольный пункт — указывают дорогу. Еще остались телефонисты, тянут провода. Но каждую минуту могут подойти новые части. Они наблюдали через смотровое оконце за одинокими фигурами, сновавшими в свете низкого, молодого солнца возле дома ксендза. А так на дороге между хатами было пусто и тихо. Отношение солдат к населению очень хорошее, Сенницкий знал это от Секулы. Когда они шли и шли в ночной пыли и вспышках орудийных выстрелов вслед за танками, пешие и конные, а у лошадей на голове были чехлы, из которых торчали уши, эти белые го-

ловы было видно издалека, над морем штыков, будто ряженые с турьими рогами, и, когда редкие мужики смотрели на них из-за палисадников, русские махали им руками и призывали: «Давай, союзники, с нами, на Берлин... Смерть Гитлеру!» Тут некоторые бабы тянули мужиков, чтобы не стояли на виду, а то и вправду могут забрать. Секула нарезал цветов и велел девчонкам бросать. То же самое сделали дочери причетника по распоряжению ксендза. Действительно, на дороге перед хатами лежало много георгинов...

Зенек возглавлял другой патруль, в сторону имения Бонча. Там русских еще не было. Клин прорыва прошел стороной. Прячась за стогами, они пробирались по мокрой от росы ржаной стерне, хрустящей под сапогами, как хрупкие косточки, здесь везде хлеб был уже убран, и каждый сноп напоминал им солдата в накидке.

И вот они шли и шли по этой колючей, жемчужной от росы равнине, между фиолетовыми тенями от снопов, залитые золотисто-розовым заревом утра, и пытались определиться перед лицом дня. И снова окрестная земля была для них тайной, белым пятном на карте полей и лесов, снова ее надо было открывать и исследовать — им, кто уже тысячу раз отвоевывал ее за долгие годы единоборства с оккупантом, опять надо изучать ее сначала, все опасности и вероломства, которые она таит, хотя последние месяцы, несмотря на усилившиеся удары немцев, они, ощущая агонию Гитлера, чувствовали себя победителями, законодателями отвоеванной страны. Снова было так же, как во времена зарождения подпольной борьбы, когда они уходили на свои первые операции. Только они уже не были теми самыми людьми. Между первой клятвой в лесу, на могилах солдат, павших в сентябре 1939 года, между той благоговейной экзальтацией и впечатлительностью только что проснувшихся к подвигам детей, и сегодняшним запекшимся от усталости бременем опыта пролегла кровавая полоса времени, целый век утраты человеческого облика и презрения. А ведь это была их молодость и зрелость, самое прекрасное достояние жизни. Деревня казалась тихой и пустой, оттуда до слуха их долетали вновь чужие звуки повседневного труда. Они напряженно вслушивались в них, скользя взглядом по просторам родной земли, по складчатому покрову полей, золотых, как монета в утреннем солнце,—

полей, изрезанных прожилками межей, заплатанных щетками лесов, запятнанных тенями облаков, проплывающих в бескрайней тишине.

Помещичья усадьба казалась покинутой, как будто хозяева бежали с немцами, кукареканье петухов, мычание коров звучало привычно, раздавались чьи-то громкие возгласы — на родном языке. Один из патруля не в форме пошел раздобыть языка. Вернулся он с конторщиком из имения. Помещица с братом-адвокатом и с панной Станишевской, сказал им конторщик, на всякий случай уехали в соседнее имение к родным — всем вместе всегда безопасней. Буквально час назад адвокат возвратился взглянуть, не пострадала ли Бонча. В деревне пока тихо, проехало только несколько грузовиков, возможно какой-нибудь обоз. Понаставили дорожных указателей, стало быть, и здесь будут двигаться части. Возможно, пойдут окольными путями, потому что шоссе, говорят, забито. Но в деревне, сказал, показываться не стоит — батраки создали какой-то комитет, пепээровские отряды выходят из лесов, русских всюду встречают, как братьев... «А наши? — спросил Зенек.— Ничего не слышали?» И вот тут-то и было самое интересное. Утес, как утверждал конторщик, установил связь с советским командованием в Аннополе — якобы будут взаимодействовать против отступающих немцев,— и это вроде не единственный случай, везде отряды выходят в местечки, формируют польские комендатуры, какую-то вооруженную охрану, налаживают контакт с русскими, договариваются с ними о совместных действиях... «Это,— заметил Зенек,— противоречит полученным нами инструкциям». И тем не менее, продолжал конторщик, так оно есть. Русские ничего не имеют против совместных действий, только ни о каком «перенятии администрации» даже и слушать не хотят, это все, говорит, фронтовое командование, их интересуют только действия против немцев. «Смерть Гитлеру, вперед на Берлин... польские партизаны? Давай вместе...» Когда разговор заходит о создании местной власти, смотрят недоверчиво, говорят про какой-то комитет в Люблине. Сами мало что об этом знают... Вот это, по мнению Зенека, была настоящая информация. Ну а то, что противоречивая? Господи, да где же в такой неразберихе все сразу будет ладно и складно — важно то, что происходит на самом деле. Они поспешно

возвратились в отряд. Уже были возле своего родного леса, когда столбы пыли поплыли над полями. Поток людей, лошадей и машин двинулся кратчайшим путем. Один из его ручьев преградил им дорогу. Значит, они уже оказались за линией фронта, колонны следуют обычным походным строем, без всякого охранения. «Мы сидели за можжевельником, а под нами, у излучины оврага, дымилась туча пыли, поднятая лавиной советских частей. Мы будто парад принимали. Первый раз я, батя, увидел их так близко и в таком количестве. Не забуду этой картины. На всех нас это подействовало». Спереди, в клубах пыли подскакивали спины верховых и лошадиные головы в белых солнцезащитных чехлах с черными отверстиями для ушей. Вроде как лошади древних рыцарей. Лихая песня вилась над ними диким фальцетом:

Эй вы, поля,
зеленые поля,
наша кавалерия
садится на коня...

Но это была лишь небольшая группа. Потом тяжелым шагом плыли извилистые цепи штыков, касок и пилоток. Угрюмая, торжественная песня рвалась из тысячи глоток:

...пусть ярость благородная
вскипает, как волна-а-а,
идет война народная,
священная война.

Это была напряженная, упорная песня, поражающая своей крайней решимостью, торжественностью и серьезностью. С суровым пафосом пели ее в молочной пыли, в лучах солнца сотни голосов. Это было что-то вроде «Богородицы», которую перед битвой пели древние рыцари. Сравнение это невольно пришло Зенеку в голову. Именно тогда все поняли величие этой силы, которая подхватывала и несла их за собой. «Это нужно было видеть, батя,— шептал он, нервно стискивая кулаки и беспомощно размахивая ими в воздухе,— это могучее русское море. Танки танками, но эти люди... С ними Гитлер не мог справиться. Они шли посчитаться с ним. Это проняло нас, батя,— продолжал он, как будто всматриваясь в ту картину,— мы подумали, что есть тут какое-то общее дело, по-иному стали смотреть, после того что нам сказали об Утесе и о совместных действиях. Такие же

вести приносили и другие разведгруппы. Это был трудный день для Коршуна и всех нас: какое принять решение, что теперь делать?.. Ты понимаешь? В такую минуту...»

Положение отряда было очень трудное. В эти первые часы, когда рядом прокатывались войска прорыва, занятые преследованием неприятеля, совершенно не имея времени на прочесывание местности и создание администрации на местах, никто их отряд пока не тревожил,— возможно, в силу случайного стечения обстоятельств, нежели по четкому плану, им предоставили некоторую свободу, к тому же усадьба лесника стояла в стороне от дороги; понятно, долго так продолжаться не могло. Нужно было решать, пока возможно: законспирироваться и укрыться или начать действовать? Только вот, как действовать? Коршун, кажется, пытался выторговать еще один день для размышлений, так как это был уже последний и единственный день. Как трудно, как чертовски трудно было тогда на что-то решиться. А ведь могло случиться, что колебался он из-за этого одного дня слишком долго. В конце концов, он и вправду, помимо всего прочего, чувствовал себя ответственным за этих парней. Направо и налево посылал он людей в разведку, и наконец, одевшись в гражданское, сам направился в Бончу. Вернулся до наступления темноты, и все уже знали, что он принял решение. Речь его длилась час. Трудно поверить, но Зенек клялся, что именно так. Говорил с ними уже совершенно иной человек — но ведь он и не переставал удивлять их все эти последние часы. Он напомнил им всю историю отряда («нам, ты представляешь себе? Нашел кому напоминать...»), подробно перечислил все операции, как на каком-нибудь торжественном построении («нам, кто все это проводил и с ним и без него....»), указал потери неприятеля и наши собственные («настоящий доклад, ей-богу...»), подсчитал, сколько раз они упоминались в приказах командования, вспомнил все производства в чинах, полученные звания и награды, особенно ордена: все Кресты за отвагу и Виртути Милитари («заплакать можно было от умиления...»), потом перешел к обсуждению политического положения и еще кратко пересказал историю Польши, особенно после тридцать девятого года. Отсюда следовало, что ничего не изменилось, что это не мы им, а они имеют возможность

помочь нам в этой борьбе, которую мы до них вели. Затем он пришел к последним приказам из Лондона, и было похоже на то, что все о'кей... Длинная это была речь, обо всем было в ней сказано. Вывод для нас, солдат, был один: пришло время, когда мы можем гнать немцев в более благоприятной обстановке, вместе с теми, кто сильнее, стало быть не одни. И все время на амбицию нашу жал, что мы здесь полноправные хозяева, а не бедные родственники, не в канаве валялись. Не знаю, верил ли он в это сам, но я начинал понимать его. Сейчас-то я думаю, что он и впрямь так чувствовал. И наконец перешел он к конкретным делам. Наше дело — бороться до победы, никто у нас этого права отобрать не может. Мы солдаты, и никто не смеет нас учить, в чем наш солдатский долг и какая перед солдатом задача. В тот момент это казалось таким очевидным, что нам чуть не стыдно было: зачем он столько болтает? И тогда он сказал, что уже сделал первые шаги и установил предварительный контакт с командованием. Потом некоторые говорили, что больно уж он хитрил, за нашей спиной все сделал. Для него будто коммунисты могли быть опасными, но не тогда, когда приведет им отряд. Как там ни думай, а упрекнуть его было не в чем. Он командир, имел право приказывать. А он даже речь перед нами произнес... «Хотел как лучше, батя,— повторял Зенек, упрямо крутя головой, как будто все еще борясь с теми сомнениями,— он хотел вызвать у нас гордость, утвердить собственное достоинство. А без этого чем были бы все наши совместные действия...» Итак, вопрос был решен еще тогда, когда они в неведении ожидали его возвращения из Бончи. Отданные им приказы были предельно ясные и четкие. Он велел приготовиться к походу в полной боевой готовности. Взять все оружие, особенно трофейное и польское, надеть мундиры со знаками различия и со всеми орденами. Когда он сам вышел из землянки, грудь его звенела от орденов и медалей. И вот они стояли вытянувшись, готовые к выступлению, а Коршун в последний раз обходил строй. Он уже успокоился после скандала с Гранитом-Исидором, который посоветовал ему самому не идти с отрядом. Теперь было поздно колебаться. За полдень, в теплых лучах низкого солнца, вышли они к месту встречи у часовенки, между Бараками и Иреной. Два человека, оставленные

там, ждали связных от советского командования. «И вот, батя, когда мы подошли, рядом с нашими в канаве сидело пятеро русских во главе со старшиной, а шестой дремал под тенью дуба в коляске мотоцикла. Курили самокрутки из газеты и угощали друг друга. Когда мы подошли ближе, мотоцикл, наверное, по знаку старшины, затарахтел и исчез в пыли. Не так вроде бы, как положено, подумали мы, даже лейтенанта с их стороны нет, а ведь Коршун в чине майора, но решили, что это только связные, посланные, чтобы привести нас к командованию, посыльный на мотоцикле подтверждал наши предположения. Лицо у русского старшины было сожженное солнцем, серое от пыли, и вид очень усталый. Коршун умел говорить по-русски, но велел переводить одному из наших, родом из Львова. Отрекомендовался и попросил, чтобы его отряд препроводили к командованию ближайшей части, к старшему по чину командиру на данной территории. Русские поднялись с земли, и мы двинулись в направлении Здзеховиц. Шли мы спокойно, не спеша, в полном молчании. Никто не заводил разговоров, потому что обстановка была не из обычных, а тут еще жара, неуверенность и пыль. Будет еще время поговорить, когда дойдем до какой-нибудь части. Но хотя с виду шли мы преспокойно — нас ведь было шестьдесят парней, а их всего пятеро, ни о какой опасности для нас и речи не было, это уж скорей им надо было нас бояться: этакая сила и в полном вооружении — и хоть непосредственно нам ничто не грозило, но все-таки, сам понимаешь, мы же не знали, что нас ждет. Надо только хорошо все обставить, держаться, стоять на своем. Ты же знаешь, батя, мы за эти годы уже отвыкли кому-либо доверять и надеяться на что-нибудь, кроме самопала, что в руках. Но так уж сложилось положение, и надо было справляться. Вот мы и молчали. На душе у нас было не очень весело. Мы ждали, что каждую минуту нам выйдут навстречу. Но никто не появлялся, на все длиннее становившихся отрезках дороги было все так же пусто, лишь свежие следы боев, сожженные машины да редкие трупы. Так шли мы окольными путями до сумерек, в стороне от деревень, в направлении, противоположном движению войск. Мы все шли, не спеша, километр за километром, и все еще нас никто не встречал. Отдалились от железной дороги, Здзеховицы остались

справа. Уже совсем стемнело, когда Коршун объявил короткий привал. Русские не протестовали. Мы тоже ничего не говорили, мучительная тишина стояла между нами. Когда мы поднимались с земли, Гранит-Исидор тронул меня за руку. Рядом с нашей колонной шло уже около двадцати советских солдат. На вопрос майора старшина спокойно кивнул головой: «Да, правильно. Они ждали нас здесь. Это эскорт. Не беспокойтесь...» Какие-то претензии предъявлять было глупо — ведь мы же за тем и шли, чтобы их встретить. В конце концов, черт побери, мы ни в чем не могли их обвинить — наверное, так им было приказано. Они также думали, что осторожность не помешает. Пожалуй, как раз из-за нашего вооружения нас так эскортировали. Мы стороной обходили поселки, и неизвестно нам было, куда же мы идем. Деревни и села, наверное, потому, что там разместились советские войска, снова казались нам чужими; с какой-то растроганностью и облегчением смотрели мы на темные пятна лесов, преграждающих нам дорогу, на березы, белеющие при свете луны, на знакомую спасительную сень. Лес снова казался нам безопасным и родным домом. Привели нас в какую-то деревню, где полно было обозов и машин. Эскорт молча сменился. Из какого-то дома вышел офицер в кожаной куртке и вполголоса перекинулся несколькими словами со старшиной. Лицо у него от света луны и зажженной спички казалось плоским, уставшим, лишенным жизни. Коршун тихо начал с ним о чем-то договариваться. Разговор у них был недолгий, и Коршун обратился к нам: «Он говорит, что нас ведут к месту сосредоточения, где собираются другие наши отряды. Идти еще порядочно. Предлагает нам ночлег здесь, в большом сарае. Я сказал ему, что нам не нравится, когда мы замкнуты. Ночь теплая, можем поспать и под открытым небом». Мы переглядывались, подталкивая друг друга. Старик у нас дока, знает, что делать. Советский офицер кивнул головой. Мы разместились на небольшом лугу за деревней, на каком-то выгоне, огороженном жердями. О том, чтобы удрать, нечего было и думать, луна прямо тебе фонарь. Спать мы не могли, все думали и вслух и про себя, что из всего этого выйдет. Я думаю, батя, для Коршуна эта ночь была самой трудной. Никто еще пока не пытался убежать: то, что сказал русский, может, правда, а может, и нет. В конце концов,

уж если мы решились, то какой смысл отступать с полдороги. Что-то нам во всем этом не нравилось, но что поделаешь — они выполняли приказ. Мы лежали на мокрой траве, курили и перешептывались, а взгляды наши устремлялись в сторону леса, который молчал, покинутый нами,— единственное, как нам казалось, убежище. «Неправда,— шептали мы друг другу,— теперь не надо. Теперь уже все изменилось...» «А что изменилось-то батя»,— прохрипел Зенек.

На следующий день, рано утром, с первыми лучами солнца, которое блестело на тюлевом небе, как разлитое растительное масло, отряд Коршуна был готов к выступлению. На мундирах влажные пятна, глаза красные от бессонницы. Сразу же выстроился эскорт — молчаливые солдаты, пожилые и совсем молодые парнишки, пахнувшие потом, бензином и махоркой. Откуда-то с запада, от Вислы, доходила приглушенная канонада, и только это и поддерживало, придавало какой-то смысл их положению. Эхо пульсирующего фронта, от которого они шаг за шагом отдалялись, оправдывало наличие у них оружия, которое они сжимали побелевшими пальцами. Ведь они же боролись и хотели бороться дальше, пока земля, там, за горизонтом, исходит в неволе кровью. Около полудня вошли в деревню, по дороге в Красник. На небольшой площади напротив школы вытянулся двойной ряд машин с прицепленными к ним пушками. На транспарантах и флагах что-то написано русскими буквами, на капотах газиков и студебеккеров сидят водители. В тенистом саду, под побеленными ветками, отдыхают танки. Отряд остановили посреди деревни. Офицер в кожаной куртке, командир охранения, сопровождающего их, что-то говорил Коршуну и близстоящим. Другой советский офицер следовал вдоль шеренги эскорта, делая короткие и неторопливые знаки рукой. «Ну молодцы, надо сдать оружие, с автоматом в машину нельзя...» Они не могли, они не хотели этого понимать. «Я смотрел на ребят,— рассказывал Зенек. Он бегал тогда по избе как зверь, но с этими словами встал перед ним, перед отцом, стиснув обеими руками столешницу, ноздри раздуты, подбородок трясется, как у ребенка.— Они побледнели, на глазах у некоторых я видел слезы, другие отводили взгляд». Коршун протестовал — это же нарушение договоренности. Мы объявились добровольно, чтобы вместе

бороться с немецкими оккупантами. Не имеют они права разоружать нас. Мы не пленные, мы воевали здесь и до них. Советский офицер сказал, что, согласно приказу командования, в тылу фронта не должно быть никаких вооруженных групп, не подчиненных штабу фронта. Организацией польских военных частей занимается Польский Комитет Национального Освобождения в Люблине. И мы будем переданы в его распоряжение. «Я не забуду этой минуты,— клятвенно заверял Зенек.— Неужели мы, как и они, не были победителями? Русский офицер повторил приказ. Я видел, как несколько наших невольно сделали шаг назад, сжимая автоматы. Эскорт, стоящий напротив нас, выставил штыки. С чем мы пришли к ним,— шептал Зенек в отцовское ухо,— и с чем они к нам? Коршун видел, к чему дело клонится, и не хотел до этого допустить. Он сделал два шага вперед, отстегнул кобуру, поцеловал свой «вис» и бросил его на землю. Затем приложил два пальца к козырьку фуражки и неподвижно замер, отдавая честь оружию, которому они молились в длинные ночи оккупации. Только ордена его тихо звякнули в тишине, когда он вскинул руку. После минутного молчания ребята последовали его примеру. Один за другим выходили они вперед, снимали с плеча «стен» или «шмайссер», опорожняли кобуру или отстегивали гранаты, целовали оружие и клали его на землю. Иногда Крест за отвагу, свисающий на ленточке возле кармана, брякал о пуговицу гимнастерки в тот момент, когда парень наклонялся, а потом выпрямлялся, держа руку у козырька. Возле меня Омела, совсем еще сосунок, два года назад в отряд пришел, но принимал участие во всех последних операциях, расплакался, как ребенок, у которого отбирают заслуженную награду. Тут на меня накатило, прямо в глазах темно стало, и, снимая автомат, я размахнулся слишком сильно, будто хотел огреть им стоящего передо мной русского, тот заслонился прикладом, заехав мне в ухо. Этот удар отрезвил меня, солдат вроде тоже сообразил, что я сделал это нечаянно. Я почувствовал шершавую ткань его гимнастерки — это он вытер мне рукавом кровь с лица. «Извините,— добродушно улыбнулся он,— это случайно...» Когда мы шли к машинам, я слышал, как советский солдат утешал Омелу: «Почему ты начинал с ними, они обманули тебя. Не

плачь, мальчишка, все будет хорошо...» Вот и все. Они выполнили приказ — разоружили наш отряд. А мы мало их интересовали, одна обуза. Они даже не очень нас и охраняли...»

Зенек сбежал в ту же самую ночь во время привала. Многие другие — молодой Стец, сыновья Януса и Стоберского смотались по дороге в Люблин. Вот такой получилась первая встреча с народной властью. Сейчас, глядя на ненавистную фигуру Курылы, Пайда еще раз вновь пережил все это, почувствовал, как раненую свою руку, которая болела так же, как оскорбленная честь...

— Ты что,— исторг он наконец из себя, все еще глядя на орденские ленточки на мундире Костека,— причетник или полицейский? Штраф тебе заплатить или курицу дать?

Курыло уперся в него коротким молчаливым взглядом. Пайда сердито фыркнул:

— Болен я, не видишь? Руку мне поранили.

Курыло все помнил, но подыграл, прикинувшись, что не знает.

— И кто же это вам руку покалечил?

Пайда дал себя спровоцировать, а может, тоже подыграл.

— Да твои народные воины.

— И за что же это они вас так покалечили?

— А за то, видишь ли, что запугать не дался. Да ты их спросить можешь, это ведь твои подчиненные?

Костек не двинулся, лицо его ничуть не изменилось.

— А может, за то, что досок пожалели?

Тут уж старик умолк. Разговор сразу перестал его интересовать.

— А на что нужны были эти доски?

Видно, что вот так и будет он тянуть со зловеще-безразличным выражением лица. Нет-нет — так не может продолжаться...

— Костек!..

Обернулись только Пайда и мать. Этот голос пронзил напряженную тишину, точно вспышка яркого света, точно пожар или короткое замыкание раскололо застывший мрак. В этом вскрике Регины бились боль, упрек, возмущение, просьба. Звучала в нем и проникновенная свежесть, как в пении птицы, в вое собаки. Она стояла, подавшись вперед, так как отошла от двери с вытянутыми

руками, которые потом прижала ко рту. Глаза ее, пронзительно голубые в серебре слез и темной оправе ресниц, отмеченные напряженным детским испугом, казались такими огромными, как будто ничего, кроме них, на лице больше не было. Потому что лоб и щеки закрывали пряди падающих волос. Верхними зубами с голубоватым отливом она закусила губу над сведенным болью подбородком. Всей своей позой, выражавшей мольбу, она, как бы по контрасту, казалась удивительно твердой, статной, почти мужественной. На мгновение она съежилась, шагнув вперед, откинула ржаво-льняные в этом полумраке косы, точно лисий хвост. Глаза ее засверкали еще ярче, еще ярче стали эмалево-голубыми.

— Перестаньте...

— Может, на гробы? — прозвучал хриплый голос Курылы.

Лицо его чуть потемнело, но он стоял спиной к окну, и никто этого не заметил.

— Иди-ка лучше отсюда,— глухо сказал Пайда дочери. Она бросила на него такой взгляд, который его ошеломил.

— И кого же в этих гробах должны были похоронить?..

— Хватит!

Было в ее движениях нечто резкое, что бывает в переменах света или прыжках. Так мгновенно преобразилось ее лицо. Сейчас глаза Регины были темными, теплыми. Губы расцвели в улыбке. Она сделала еще шаг и неожиданно зарделась в приливе робости и волнения.

— Здравствуй, Костек,— сказала она просто, протягивая руку.

И тут наконец встретились их глаза. У него они были холодные и пустые на черном лице, во всей его сумрачной фигуре, придавившей комнату, будто внезапно наступившая ночь. Он медленно поднял пальцы к козырьку. Машинально отдал честь, а у нее рука упала. Она боролась за свою любовь. Прежде чем отец, прежде чем сам Костек успели прийти в себя, она сделала еще шаг, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку, совсем как сестра.

— Храни тебя бог. И дарует он тебе мир и милосердие... Все-таки вернулся,— сказала она, вновь изменив голос и отступив на середину комнаты. Все это произо-

шло так быстро и ошеломительно, что старики не успели спохватиться.

А он все молчал. В груди ее билось смятение, но она не сдавалась.

— Не вовремя пришел,— мужественно продолжала она.— А может, даже лучше, что хоть в последнюю минуту. Может, потом уж даже никогда бы не воротился. Остаешься?

— Остаюсь,— сказал он хрипло, вопреки себе самому.

Как она все ускоряла...

— Остается. Мы это знаем,— сказал от окна Пайда.— Остается начальником милиции. Не видишь? Даже повязка есть. С надписью. Жить ему надоело...— Он отошел за прикрытие стола и сел возле жены, словно приглядываясь к зрелищу, которое являла пара по другую сторону столешницы.

Костек продолжал стоять вытянутый и неподвижный.

— Я велел вас выпустить,— начал он, как будто отказываясь от чего-то иного, что само рвалось с языка.— Это не значит, что ваше дело закончилось. Тут другой нужен, не я. Тут уж вами прокуратура займется. Когда время придет.— Он помолчал немного и затем твердо продолжал: — А до тех пор не смеете покидать деревню. Ежедневно в двенадцать являться в гмину. Если не ко мне, то к кому-нибудь из милиционеров. Ясно?

В комнате стояла тишина. На оконном стекле монотонно жужжала оса. Слышно было, как она бьется о стеклянную поверхность.

— Я вас, Пайда, за умного человека держал,— продолжал Курыло бесстрастным тоном.— Что вы черная реакция, так это не новость. Но только попробуйте связь установить с лесом! — Он облизнул засохшие губы, понимая, что уже не говорит того, что хотел бы.— Где ваш сын? Где Зенек?

— Меня уже спрашивали об этом.

— И не раз еще спросят,— перебил он.— И сами вы себе еще зададите этот вопрос: где мой сын? Во что я парня втравил? — потом добавил: — Если поддерживаете с ним контакт, то предостерегите его, как появится в деревне, пусть придет, пусть явится в участок. Придется ему ответ держать. Расхлебывать кашу, которую заварил. Не дай бог, если я услышу, что он был здесь, а в гмине не показался. Остерегите его, а то поздно будет...

— А тебя,— тихо спросил Пайда,— кто предостерег, прежде чем ты здесь остался?

— Вы,— ответил он глухим, сдавленным шепотом.— И ваши топоры освященные. И Лосюкова, и Пачеснякова. И сгоревший мой дом.

— Господи Иисусе,— прошептала Регина. Мать торопливо перекрестилась.

— Я тоже думал, что ты умнее... И что уйдешь со своими,— продолжал Пайда от окна.— Помни, что не у тебя одного сила в повяте. Ты вынес когда-то моего парня из-под пуль. А кто тебя теперь вынесет? Ты тут один. И новый...

Регина одним прыжком снова очутилась между ними. От смятения и страха губы ее свело, все так же блестели глаза, как бирюза, и белые зубы.

— Ради бога, отец...

Курыло уже собирался уходить, но последние слова задержали его.

— Да... Я новый. А старое показало, что́ оно может.— И, шагнув в сторону двери, добавил: — Вас предупредили при свидетелях. Ежедневно в двенадцать. Чтобы мне вас опять не держать под замком. И... советую: подальше от леса.

И он одернул мундир, направляясь к выходу. Во рту словно пепел набился, веки задергались. Но в этот момент пальцы Регины сжали его руку.

— Отец, мама! Костек не может так уйти отсюда... После таких слов...

Пайда уже не мог совладать с собой. Едва сдерживаемая ярость овладела им. Он так треснул по столу здоровым кулаком, что посуда зазвенела в буфете.

— Марш в комнату, ты-ы-ы!..

Но Регина поразила всех. Она стояла лицом к окну, так что он мог видеть ее взгляд, и побледнела, но не от страха. Губы ее сжались, ноздри раздулись, как у идущей по следу собаки. Глаз этих, холодных, как спиртовое пламя, он не мог забыть. Никто не видал ее такой с детства, всегда она была мягкая — ведь такая красивая...

— О нет...— выдавила она свистящим шепотом, но так исступленно, что все вздрогнули.— Пусть и минуты не думает, что он один...

Какое-то время она поводила загнанным взглядом направо и налево, точно отталкиваясь им от стен, которые выросли вокруг нее, лихорадочно откинула назад пряди волос и выбежала за ним в зловещий солнечный свет, в который он, сгорбившись, погружался.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Что-то накапливалось в этом перегретом, тяжелом воздухе, который уж несколько дней висел между хатами и лесом, заполняя впадину поймы, лениво размазываясь над переливами воды, четко очерчивая каждое живое дерево или закопченную балку, насыщенный и зловонием гари, и душным запахом люпина и мальвы, и горьким дыханием топи, и близким ароматом смолы. Впитав в себя все эти благовония, воздух застыл, блестя, как лак в изгибах картины. И одновременно с этим свет незаметно мутнел, становился густым. Небо, слепящее доселе неизменной голубизной, представало все более побелелым, выцветшим, как будто затянутым тонким бинтом или простыней. Сияние солнца казалось уже не таким отчетливым, а как бы отраженным от туманного балдахина в белом душном шатре. Жара не уменьшилась, она стала лишь приятнее, почти осязаемой. Все так же не было ни одной тучки, только эта хмарь, заволакивающая небо. Пот выступал сразу по всему телу, а у пыли был металлический привкус — привкус меди. Люди выходили из тени на солнце, как под струи водопада. Ничего ощутимого в воздухе еще не происходило, только менялось давление. Бурлак, ощущая это раньше всех, высунул язык, тяжело дыша. Костек чувствовал щекочущие капли на ушах, на подбородке, на ресницах, на кончике носа. Было в этом что-то пугающее — происходило оно помимо его воли, как кровотечение. Полная автономия и отчужденность собственного тела. Только спустя какое-то время, вытирая глаза (а это был всего лишь пот, хотя похожий на слезы), он заметил, что рядом с ним идет Регина. И остановился.

— Что тебе нужно?

Остановилась и она, с трудом сдерживая учащенное дыхание. Ей хотелось вновь быть спокойной, во что бы то ни стало быть спокойной. Хотелось говорить с ним не

так, как все остальные, хотелось обрести прежнее выражение лица и прежний взгляд.

— Я так старалась тебя увидеть. Искала тебя.

Он, не говоря ни слова, пошел дальше. Она шла чуть позади него.

— Костек, что с тобой? Почему ты не посмотришь на меня?

— Похорошела ты,— сказал он, не поднимая глаз.

Это было именно то, чего она ждала. Он давал ей возможность найти себя. На миг забыть все. Их уже не могли видеть из окон ее дома. Костек бессознательно шел в сторону моста, без всякой цели.

— Какой ты хороший, Костек,— сказала она,— и не похож на всех других людей.

Наконец он остановился. Посмотрел на нее. На лице его не было ничего, кроме усталости. Она не могла дольше сдерживаться. Подбежала к нему, встала на цыпочки. Очень она подросла за эти два года, и доставала лбом до его шеи. Обняла его. Сильными, округлыми и горячими руками женщины. Прижалась к нему, словно все еще была ребенком. Подбородком он почувствовал, как орошает она его слезами. Мокрое лицо было как будто полито водой, все отекало влагой, как ведро, вынутое из колодца. Он вспомнил, что так когда-то уже было, очень давно, в детстве, когда он напоролся на доску в телеге. Возле самых губ были ее толстые и пышные косы. Они пахли волосами и ромашкой. Бурлак встревоженно брехнул дважды.

Несколько секунд он позволил орошать себя слезами. Потом осторожно отодвинул ее на расстояние руки.

— Я люблю тебя, Костек,— быстро говорила Регина, торопливо вытирая глаза тыльной стороной ладони. И уже из-под этих пальцев светилась в них улыбка. Светилась, потому что глаза снова были голубыми, как бирюза.— Люблю тебя, как тогда. Даже больше, потому что сейчас повзрослей стала...

— А они? — спросил он, двинув лишь глазами.

— У меня только одно слово, Костек... О господи, как же ты изменился!

И, словно не веря еще, что это действительно он, все разглядывала его с метрового расстояния, машинально заплетая растрепавшиеся косы.

— Они все с ума посходили,— зашептала она.— Ох, хоть сейчас не будем об этом думать.

Он молчал и смотрел на нее.

— Никаких вестей от тебя не было. Даже не знала, жив ли ты. Сначала еще твоя мать рассказывала. Да, тогда ты и мне раз или два написал. У меня при себе твои письма. Это было до того, как вас на фронт послали. Эти письма у меня, я их наизусть знаю. А потом, когда вас направили в Германию, я уже ничего не знала. Твоя мама немного мне рассказывала, ты ей писал, а потом она ничего не говорила, и я видела, что ей не по нраву мои расспросы. Тогда я подумала, что, может, ты написал ей, будто у тебя другая девушка... Ну скажи, потому, да?

— Нет.

— Вот-вот. Я знала, что не потому. Раз не писал, стало быть, не мог. Я знала, почему твоя мать так изменилась ко мне. Это все из-за того, что здесь между людьми творилось. Твоя мать это чувствовала и хотела, чтобы ты от меня отошел. Она знала, что так для тебя будет лучше. Она хотела избавить тебя от всех этих хлопот и волнений. Но ведь ты не перестал меня любить, скажи, не перестал?

Она припадала к нему всем телом, возбужденная, охваченная страхом. Только одно это она и хотела знать, только это ее по-настоящему интересовало, только это было важно. Все остальное зависело от ответа на этот единственный вопрос. Она сумела подойти так, чтобы отбросить все второстепенное, уловить самую суть, найти главный и конечный смысл. Она была прямолинейная и искренняя, проницательная, как мудрец. И достаточно смелая, чтобы бороться за то, что было первопричиной ее существования. Да, она была настоящая.

Костек сдался под этим напором ее чувства, под этим натиском правды, в которой было усомнился. Это слишком невероятно после всего, что он пережил. Что-то в нем оборвалось, то, что сдерживалось ожесточенной силой воли, он ослаб, почувствовал, что у него темнеет в глазах. Ноги под ним подкосились, и он сел, просто шлепнулся на землю. Ох, надо посидеть немного.

— Нет, я не перестал тебя любить,— сказал он бесцветным голосом, и лицо у него было серое, как гранит на изломе, который так же искрится крупинками кварца, как его лоб капельками пота.— И что из того?

— Ох, Костек, да если это так... если мы об этом знаем... и ты подтвердил это, то не все ли равно...

Она присела подле него... Ее стройные загорелые ноги, сильные бедра и круглые колени натягивали тонкую ткань юбки. Жадная и ненасытная, она уже ничего не соображала, то ли в панике, то ли охваченная отчаянной поспешностью. Сбивчиво дыша, она целовала его глаза, нос и губы. Дрожа, припадала к его рукам, покрывая их горячими поцелуями. И снова ее лицо и шея были где-то в пределах его дыхания. То и дело она поднимала лицо и, машинально отмахивая волосы, бросала на него короткие взгляды, полные восхищения и какой-то неуверенности, неужели это он, он ли. Ее глаза были куда голубее, чем влажные звездочки незабудок.

Головокружение и бессильная вялость понемногу проходили. Он уже понимал, что плачет и что она это видит. Постепенно замечал ее склоненную спину, нежную ложбинку между лопатками в вырезе ситцевого платья,— ложбинку, заполненную сейчас четками мелких позвонков, набухающих где-то под кожей. Потом она выпрямила шею. Странно, наверное, это выглядит, отметил он обрывком сознания: взрослый мужчина, в форме, с милицейской повязкой, сидит на обочине дороги и плачет возле девушки, присевшей перед ним на корточки, словно та хочет поднять и утешить его.

И ему стало стыдно того, что с ним произошло.

— Гроза что ли будет? — буркнул он без всякой связи.— Погоди минутку.

Потом поднялся, опершись на руку, и побежал вниз на лужайку, к мосту. Через секунду оттуда послышалось хлюпанье и плеск воды. Регина все еще сидела на корточках, зажав руки коленками. Взгляд ее блуждал по зелени поймы, уйдя в созерцание какого-то своего мира.

Курыло ополоснул лицо и руки, наклонившись над буро-радужной водой, затененной ветвями орешника и как будто подернутой пленкой. Водомерки касались ее поверхности легкими брызгами. Голова Костека, его шея и плечи колыхались, отраженные водой, словно вышитые на темном знамени.

Через минуту он снова был возле нее. Она тут же вскочила, гибкая, горящая.

— Я знала, что ты придешь, когда отслужишь свою службу. Знала и ждала,— все так же быстро продолжа-

ла она, словно не желая дать ему слова, словно опасаясь, что он скажет что-нибудь такое, что изменит это настроение приподнятости.— Мне всякое говорили, смеялись надо мной, издевались. А я никого не слушала. И о тебе всякое болтали, что на ум взбредет... А я знала, что ты жив и придешь однажды...— Слова у нее были экзальтированные, напыщенные, словно из какого-нибудь танго. Но это были самые прекрасные слова, какие она знала, слова самые настоящие, слова ее любви, ее заклинаний и клятв.— Если тебе говорили обо мне что-нибудь плохое, значит, брехали как собаки. Ты меня знаешь, Костек, и знаешь, что у меня только одно слово...

— Мне ничего о тебе не говорили,— сказал Костек, когда они пошли рядом к мосту через Гнилку, а Бурлак за ними.— Им не надо было ничего говорить. Ведь ты была... с ними...— И, воспользовавшись тем, что она на мгновенье умолкла, словно силы оставили ее, тихо добавил: — А я еще не «отслужил свою службу»...

— Была с ними,— повторила она с жалобой в голосе.— А как же? А с кем я должна была быть? Ведь это мой отец и моя мама. А я девушка. Но твоя девушка, Костек...

И уже мчалась дальше:

— Ведь я всегда была твоя девушка, даже тогда, при немцах, когда отец и Зенек тебя знать не хотели. А ведь они убедились, какой ты. Я гордилась тобой,— выпаливала она без передышки.— Я говорила, что ты один из всех пошел нас защищать, что ты брал Берлин... Они смеялись, болтали всякое, но это была правда, и они не могли ничего сказать против. А сейчас... если бы не все это... Господи, я хотела увидеть тебя, ходила за тобой, да смелости не хватало...— Снова у нее заблестели слезы, но она досадливо смахнула их.— Я спрашивала твоих товарищей, тех, с кем ты здесь. Один знает тебя еще с войны, сказал, что ты самый храбрый. Вот видишь, чужой человек, не знал меня, а говорил то же самое. Я знала, что ты самый храбрый, что отличишься и получишь медаль, только не знала, посмотришь ли еще на меня после всего этого, когда вернешься. Но я не думала...— и она оборвала себя на полуслове, зажав кулаком рот.

Беспомощно металась она между этими двумя дей-

ствительностями, снова со страхом чувствуя, что случилось что-то такое, чего уже не преодолеть.

— Костек,— отчаянно восклицала она,— ведь ты же знаешь... Ох, Иисусе, не будем об этом! — А через секунду, сама себе противореча, шептала: — Я так боялась, что ты с ума сойдешь, что-нибудь с собой сделаешь...— И снова с робостью и даже кокетством: — Как же ты изменился, Костек. Вырос, стал такой чужой и строгий. И я ведь подросла, правда? Скажи, я все еще нравлюсь тебе, как прежде? Носить мне такие длинные волосы? Я с ними как девчонка. Я хотела их обрезать, но тебе нравились длинные волосы. А ты такой понурый, плохой такой, будто много ночей не спал. Мне тебя так жалко! Кто-то должен тобой заняться, позаботиться о тебе. Я тоже плакала. Вчера всю ночь и сегодня всю ночь. Я все время думала, что когда-нибудь ты вернешься и как это будет хорошо. Даже и на минуточку представить себе не могла, что так получится. Скажи, что ты думал обо мне, когда сюда ехал. Боже мой, какие же глупости я говорю! Но это ничего, ничего, это от радости...

— Ты права,— сказал Костек уже спокойно.— Не представлял я, что так получится...

— И зачем, за что люди друг друга убивают? — порывисто вскрикнула она, глядя на небо, мертвое, неуловимо и незаметно темнеющее, несмотря на зной и блеск воды, несмотря на свет, от которого болели глаза.

— А теперь ты веришь, что я совсем не изменилась?

— Не знаю. Кто это может знать? Ты и сама не знаешь...

— Нет, нет! — крикнула она.— Что мне сделать, чтобы ты поверил? Как я могу убедить тебя? Скажи, Костек, как?

— Я верю тебе.

— Да. И ты убедишься.

— Да. Хотя странно это очень.

— Почему странно? Что странно? Странно, что люди любят друг друга?

— Да, странно.

— Странно, что девушка ждет своего парня? Странно, что любит, тоскует по тому первому и единственному, что у нее был? Это тебе кажется странным? Что девушка ждет своего парня, который пошел на войну, на фронт, и мог сто раз погибнуть? Да ведь у каждого из

вас был кто-то, кого вы оставили, по кому скучали, о ком думали. И когда песни пели, так ведь о девушке.

— Когда песни пели? — И он замолчал. Смотрел на нее немного отсутствующим взглядом.— Думаешь, война так выглядит? Это правда... пели мы песни.— И неожиданно произнес: — Странно, что я жив.

— Костек, ты никому не веришь,— сказала она со страхом.

— Может быть.

— А родные? Братья? Друзья?

— Знакомые... соседи...— продолжал он, но она ничего не видела на его лице.— Ведь они встретили меня. Хорошо встретили. Я всех обошел. У всех побывал. Не поленился. Хоть и не все меня приглашали. Ваш дом был последний. Сам не знаю, почему откладывал его на конец. И знаешь, кто приглашал меня сесть? Только те, кто меня испугались. Или того испугались, что сделали. И советовали, чтобы я удирал. Пока есть время. Некоторые советовали, некоторые нет. А я и так видел, что они думают.

— Боже мой,— вырвалось у нее.— Каким же одиноким ты чувствуешь себя...

Он молчал.

— А я? — спросила она, хватая его за руку и заглядывая снизу в глаза.— Почему ты меня обходил? Ты забыл тогда обо мне, о том, что я тут? Разве многие могут заменить кого-то одного? А ты не верил даже в это. Господи Иисусе, что они с тобой сделали! Да ведь любая глупая девушка это знает.

«Это любая глупая девушка знает»,— подумал Костек и почувствовал, что снова находится на грани отчаяния. А разве есть другая мудрость, кроме мудрости глупых девушек, для которых, кроме одного человека, весь остальной мир не существует?

— Ты не хотел прийти ко мне, Костек,— шептала она, охваченная уже не обидой, а ужасом.— И что было бы с тобой, если бы ты стороной обошел наш дом? — Ее голубые мокрые глаза уже светились улыбкой: — Я бы пришла к тебе, даже если бы ты приказал меня расстрелять...

Но он не слышал ее последних слов. Что бы с ним было, если бы он обошел их дом? Да, что бы с ним было? Он помнил, что чувствовал и что думал час, два

часа назад, вчера. Что-то изменилось, что-то очень важное. Но он не знал что. Как будто его перенесли в другой мир. Когда, как давно? Всего несколько минут назад, а у него уже было ощущение огромного временного пространства, пролегшего между блестящими глазами и учащенным дыханием Регины и посещением Януса или Стоберского. Словно ушла застарелая острая головная боль. И с той минуты, когда ушла, даже трудно было представить, что он мог жить с этим как с чем-то нормальным и неотъемлемым. И одновременно начинал осознавать, что то, что он чувствует, слушая Регину, то, что думает и чувствует, находясь рядом с ней, неизмеримо важнее всего на этой земле, важнее этого клубка ошеломляющих вопросов, ужасных, непонятных дел и событий. И что это все, что у него осталось.

— Значит, одна ты,— сказал он медленно, словно вникая в итог запутанного счета,— одна ты, глядя на все это, все ждала меня?

«А отец, мать? Это уже другое дело. Они тоже ждали, но, правду говоря, не дождались. У них-то не было сомнений. Отец, по сути дела, погиб вместо меня».

Все это вдруг представилось ему необыкновенно далеким по сравнению с тем, чем озадачила его Регина.

— Да, да,— повторила она с вновь ожившим беспокойством.— Это же самое обычное дело на свете.

— Не знаешь, что болтаешь,— сказал он угрюмо.— Сама видела, что с теми людьми сделали. А я им этого не смогу простить. И ты этого не выдержишь.

Она тихо, беззвучно и душераздирающе разрыдалась.

— А мы, Костек? — спросила она, шмыгая носом.— Что будет с нами?

Курыло почувствовал, что сказал что-то такое, в чем вовсе не был так уверен. Он пытался вернуться туда, к своим мыслям и чувствам, несколько часов назад, но это уже не были мысли теперешней минуты. Как раньше он слушал ее вопреки себе, так теперь вопреки себе говорил. В голове какая-то сумятица, и он ничего не понимал. Она была для него чуть ли не надеждой, а он боялся соблазна, как предательства, как капитуляции.

— Ложись! — неожиданно донеслась до него команда со стороны поймы.— И башку спрятать! Видно вас. Вы же в зоне обстрела!

По лугу, по колено в траве, шел Гралевский, размашисто распихивая тальник, который цеплялся и путал ему ноги. Выглядел он так, словно пересекал быструю и топкую реку. Рукой он подавал знаки: ниже, к земле!

— Сползите, папаша, ниже, за плотину. А то на самом видном месте лежите. И ждите, пока дружок огнем не прикроет. Не раньше! Стой! Еще раз!

Он видел, как Шимуля поднимается из травы. Лиц не различить, только фигуры под затуманенным небом, под мутным солнцем, которое уже низко вплавлялось в серую хмарь, повисшую над горизонтом лесов. Шимуля покачивался от усталости и неуклюже выставлял вперед длинную палку, изображающую винтовку. Из-за орешника показалась долговязая фигура Рахоня. И он с палкой на плече. Над линией сосен, с восточной стороны, сгущались совсем неуловимо сумерки. Лиловая взвесь приобретала волнистые очертания облаков, набухала тяжестью, легкий тюль превращался в нависшее покрывало грозовых туч. Все это происходило в тишине, без ветра, без дуновения.

— Быстрей, граждане, быстрей! Оружие перед собой. Локтем прижать приклад к бедру, палец на курке. Начинаем еще раз, внимание!

«Учатся,— подумал Костек,— как я велел». Те были метрах в пятидесяти внизу, в луговой пойме, и не могли его видеть. «Староваты они для такой муштры,— вздохнул он.— Но если получат оружие... Ох, этот Гралевский, совершенно не понимает, что надо». В одном он был уверен: человек иначе думает, когда у него винтовка. И цена ему другая. И в собственных глазах и в глазах окружающих. Такая вот игра хороша разве для сопляков. Этот Гралевский, наверное, никогда не был в партизанах...

«А значит, сейчас самое время,— подумал он так естественно, как будто всегда помнил об этом.— Возьмем-ка за бока старого барсука. Вот удивится, когда я ему напомню. Интересно, какую он мину состроит. Голову даю, что все лежит целехонькое. Старик всегда осторожный был и хитрый». Но, обернувшись к Регине, он вновь забыл обо всех других делах. Она стояла тихо и терпеливо, вытирая все еще бегущие слезы. И так это было грустно и ненужно, потому что он уже поверил в возможность всего, что еще не случилось, снова к нему вернулась минута успокоения и надежды. Только не думать,

пока что-то человеческое ожидает его, пока есть что-то простое и настоящее, дающее переживания. Все это в Регине, только в ней, которая его не обманула.

— Пойдем,— сказал он, протянув руку.

Она подбежала не колеблясь.

— И не спрашиваешь куда?

— Нет,— тряхнула она головой.— Туда же, куда и ты. Всюду...

Он улыбнулся и почувствовал спазму в горле. Протянул руку и привлек ее к себе. Она с готовностью прижалась. Была она босая, ее нагревшаяся кожа пахла одуряюще коварно. В ее налитом теле, крупном, но стройном, он чувствовал что-то перебегающее, что при всей своей материальности было неуловимым и электрическим, как бы в стадии становления, формирования. В себе он обнаружил обостренную чувствительность к прикосновению. Держа ее так вот прижатой, он чувствовал всю воздушность платья из тонкого ситца, как оно скользит на более плотном материале лифчика, чувствовал хрусткую ломкость его полотняной оболочки на упругом, плотном напоре груди. Она показалась ему сложной, исполненной множества тайн столь желанного тела. Он знал ее лицо, руки, волосы и ноги, но за всем этим угадывал какие-то скрытые области, участки кожи, стыдливость волос, места куда более сильные и куда более нежные, чем это можно было ожидать по всей гармонии ее тела, но ведь являющиеся все равно частью ее самой. Все то, что было тут, сущее, но скрытое в неповторимости девической обольстительности. В чем это скрыто; в платье, в этом теле или в этом существе? В личности, в осязаемых формах, в том, что она имела, или в том, чем она была? Кто сможет взяться за такие вопросы? В нем это существует или в ней самой, в действительности или только в его ощущении? И он был так же беспомощен, как все люди, и так же, как все, заново открывал все это для себя, как первозданное чувство, еще никем не переживаемое, неповторимое. И поскольку оно такое единственное и так обособлено от всего, если такое же оно настоящее, как твое рождение или смерть, то, пожалуй, оно и самое важное в жизни и самое первичное. Это были даже не мысли, а скорее смысл ощущения, более мимолетного, чем время.

Он пытался припомнить, как это бывало, когда обла-

дал ею раньше. Ведь она принадлежала ему в той давно минувшей эпохе, при немцах, и не раз, а много раз. И он ничего не помнит. Ну поистине ничего. Только атмосферу тайных встреч, обстоятельства. Разве что несколько подробностей. Лишь то, что связано с приключениями, дерзостью, с прелестью ухаживаний. Но все это как будто переживал кто-то другой, и как будто была это не она, Регина, которая теперь возле него. Он помнил те призрачно-светлые, лунные ночи, когда небо напоминало светлеющее у берега озеро и казалось, что сразу за лесом раскинулся большой, незатемненный город, какой только он смог с трудом припомнить из довоенных лет, где облака, как седые хризантемы, складывались в причудливые пирамиды, между которыми нырял месяц. «Лысый смотрит», «Лысый не смотрит»,— так говорили тогда, а месяц незаметно проплывал, и казалось, будто кто-то гасил и зажигал беленные мелом стены, преграждающие дорогу, по которым ползала его тень, гасил и зажигал серебряные ветви яблони, и была лишь геометрия черни и серебра, синевы и белизны, а песок на дороге искрился, как снег. И была только тишина, перекидываемая от горизонта к горизонту заунывным воем собак, потому что поблизости собаки не лаяли, а только иногда доносился легкий шорох, и это обычно была собака, хотя он и думал, что это выслеживающий его человек. Потом возникал, как будто в сахарной глазури, новый дом Пайды, то белый, то еле маячащий под звездами, всегда с черными, мертвыми окнами. Он пробирался в сад, и только одно окно было чернее других, какое-то матовое, как вылущенное, оно не было ограждено блестящим стеклом, а ставни были распахнуты, будто книга. И тут он чувствовал азарт заговорщика, колебания которого наконец рассеялись. Когда он влезал в это окно, его встречала темнота, теплый шепот губ и прикосновение руки. Вся она была одним движением, тайным шепотом, пахучим теплом сонного тела. Тогда он еще думал, как бы чего-нибудь не свалить, ничем не стукнуть, чтобы ничего не скрипнуло. Прямо с холода влажной ночи он попадал в нагретую постель, в это девичье гнездышко, и слишком силен был контраст, чтобы он мог почувствовать что-нибудь больше, кроме тепла, постепенно проникающего его тело. Она была влажным дыханием прямо в ухо, щекочущей нежностью ладони, жарким, живым средо-

точием постели, наготой девичьей кожи, он же был запутан в убегающую ткань рубашки, в сеть рук, ног, волос и податливости. И еще был страх перед неудержимостью движений и облегчение, все больше и больше, до утраты уже всякого чувства. Он помнил лишь злорадное удовлетворение от того, что участвовал в этом интимном заговоре через стенку от храпящего Пайды, внутри крепости, прямо за спиной у всех, ничего не подозревающих. А когда выбирался оттуда, отуманенный полусном, то чувствовал в себе только легкость, как от веселой шалости, и некоторую разнеженность мечтательного влюбленного. С нею было, похоже, совсем иначе — она только шептала, что ей хорошо, но, когда он прощался с этим темным окном, в нем всегда виднелось лицо и белые руки, и лицо это было залито слезами. Бывало это и зимой, он брел по сугробам, не чувствуя снега, а звездочки застывшей глазури таяли у него на щеках, незаметно, как поцелуи. Тогда подобные вылазки включали в себя все — не только девичью кровать, но и дом, и какую-то безопасность, и крышу над головой. Проскользнув к ней, он дрожал, как бы у него из кармана не выпал пистолет, вечно была морока с узкими офицерскими сапогами с неудобными завязками на бриджах. А то опять пахнущий сеном луг и взвихренное, полное звезд небо в ее широко открытых глазах. Тогда он закрывал ей звезды Млечного Пути и видел свою тень в ее зрачках. Что же он запомнил из того, что было тогда? Крохотную ее рубашку и округлость обнаженной груди, волосы, рассыпанные по подушке, и ромашковый запах мягкой постели, медальончик, сбившийся к подбородку, и гладкость холодных бедер, но прежде всего возбуждающая настороженность, скрытое внимание к обстановке, в которой все это происходило. По сути дела, ничего. Обрывки случайных ассоциаций. И хорошо, что человек ничего не помнит, что всегда тайна начинается с самого начала, что непереносимо ожидание.

— Сама не знаешь, что говоришь,— сказал он неуверенно.

— Знаю. Хорошо знаю,— повторила Регина, энергично кивнув.— Что я должна ждать оглашения, приданого, вышивать невестино покрывало? Господи, да так можно мучиться без конца. Не знаю, как делают другие девушки, но те, которые могут ждать, не любят по-настоящему.

Это те, которые хотят, чтобы, как их бабка, со сватами, с фатой, ах-ах! Да и я хотела, чтобы все радовались. Только сейчас это невозможно.

Они миновали мост через Гнилку и медленно пошли вдоль потемневших прудов. Хотя день и кончался, духота и хмарь покоились в недвижном воздухе, как будто впадину между лесами наполнили жидким свинцом, который постепенно застывал и мутнел, суша слизистую оболочку и выжимая из тела струйки пота. Все чернее сгущающаяся тень грозовой тучи висела неопределенная и зловещая, все больше вплавляясь в синеву сумерек. Лишь разветвленное корневище зарницы, тихое, беззвучное, без всякого эха, дало представление о насыщенности бурого фона. Зеркала прудов металлическим блеском отразили эту вспышку за их спиной, умножили ее, сделали более загадочной. И от этого притаившегося напряжения, от этого наэлектризованного воздуха им неуловимо передавалось нарастающее возбуждение.

— Вот видишь,— проворчал он.— Все здесь так думают. Вот и ты это поняла.

— Все? Какое мне дело до всех? Почему ты постоянно об этом говоришь? А ты поступаешь, как все? Ты такой же, как все? Я же вижу, ты делаешь по-своему и ни на кого не оглядываешься. Да и что бы это тебе дало?

— Может быть,— сказал он.— А может, и нет...

— Я ведь правда уже не ребенок.— Она как будто вновь ухватилась за прерванную мысль.— Того, что повидала и пережила, хватает. Хватает, чтобы уже не колебаться. Ведь это же все очень просто. И об этом тоже каждая девушка знает. Знает, сможет ли пойти на это. Если она не обманывает себя. Простое дело, а в нем все. Все от этого зависит.

— О чем ты говоришь?

— Гвоздь. Обыкновенный гвоздь. На который, как придешь, вешаешь платье. Я это все передумала. Уже не один раз представляла, как вхожу и просто вот так вешаю его навсегда. Все равно, в вагоне этот гвоздь, на двери или в стене... Вот ты и улыбнулся. Первый раз мне улыбнулся. И как раз тогда, когда я говорю о самой важной вещи на свете.

— Мне все еще не верится, что это ты. Очень уж ты поумнела.

Он почувствовал ее бедро. Это она приподнялась на цыпочки.

— А завтра? — спросил он, хватая воздух.

— Как ты захочешь. Самое главное, что ты есть. Что мы вместе. Что мы живы. Я просто поверить не могу, что война кончилась. Ты-то знаешь, потому что видел там, своими глазами. А мне откуда знать? Я и не помню, что вообще когда-нибудь могло быть иначе.

«А я? А они? — подумал он об убитых.— Разве они не ждали?»

— Теперь-то я и впрямь верю, что все самое страшное, чем господь бог нас испытывал, позади. Раз уж я знаю, что ты меня любишь, то во мне не обманешься. Я правда за это время поумнела. Я не хвалюсь, Костек, но мне так кажется. И ты сам сказал, что я не подурнела, правда? Ох, тут ко мне всякие подваливались. Этакие, знаешь, печальные лесные герои, у которых сердце в дребезги разбито. Ой, господи, какие иногда парни бывают глупые. Родина, честь, а сам лапы сует, куда не надо. Ты и не знаешь, какая я сильная. Тут один такой, дружок Зенека, все за мной ухаживал. Как-то пришел ночью, чтоб перевязала, силой полез. Видел бы ты, как я ему присадила. Вот уж тут-то перевязка ему и понадобилась. И никто меня не тронул, как угодно побожусь.

— Тяжело было тебе. Большевика ждала.

— Э, подумаешь. Не будь у меня тебя, может, и посговорчивее была бы. Я же и понятия не имела бы, какая разница. Но я знала, что ты жив и придешь, если не ко мне, то к своей матери. Ты знаешь, даже этот твой товарищ, веселый такой, норовил ко мне подлезть. Хотя зачем я тебе это говорю? Разозлишься на него, а он был такой вежливый...

— Наверное, хотел контакт с населением наладить. Такие он получил инструкции. Да ты говори, если тебе это в удовольствие.

— Я же хочу, чтобы тебе было в удовольствие. Ты такой несчастливый, Костек. Я часто думала, как оно будет, когда ты вернешься, как встретимся, я же не знала, очень ли изменилась собой, как в твоих глазах буду выглядеть. Узнаешь ли ты меня вообще. Ерунда все это, понятно, потому что в таком возрасте девушки не очень меняются. Шестнадцать, семнадцать лет, ну, там еще понятно. Но уж не после двадцати. Может, в бюсте и при-

бавила, но уж, наверное, нет тех телячьих глаз. Наплакалась. И причесываюсь все так же. Но ведь меняется же лицо и сам по себе человек, когда взрослеет. Это же видно.

— Для меня ты совсем не изменилась,— солгал он.— Во сто раз красивее, как только что распустившийся цветок. Волосы у тебя ко-лос--саль-ные! Боюсь только, не слишком ли ты умная...

— Нет. Я глупая, как гусыня. Что я знаю? Почти нигде, дальше деревни и леса, не была. Несколько раз в Стараховицах. Как-то раз в Люблине. И не знаю, каков он, мир. Все только выдумываю долгими ночами, пока не засну.

— Разве здесь мало всякого произошло?

— Очень даже много. Для такой поляны посреди лесов.

Тихий электрический блеск осветил пруды и просветы между ветвями, после чего на мгновение все сделалось как-то мертвее и матовее. Она вздрогнула.

— Не будем об этом. Не надо. И ведь столько времени. Ксендз Снитко говорил, что это Голгофа. Он все называет по-своему, но понимает-то все хорошо.

— Тем лучше. Если этим на людей влияет. Расскажи мне, как это случилось...

— Нет, нет. Не хочу. Не надо сейчас об этом говорить. Я хочу, чтобы ты думал только обо мне.

— Я все время думаю о тебе. И о себе. О нас.

— Это и есть самое главное. То, что мы нашли друг друга. Я хотела одеться покрасивее для этой встречи. Ты не знаешь, как я хорошо шью. Полные курсы кройки в Жолыне кончила. У меня есть смекалка. И терпение. Всегда, как шила себе какое-нибудь новое платье или купить что-нибудь удавалось, так я и представляла, а что, если ты меня в нем увидишь. Когда сюда войско приходило, я, как дура, выряжалась. А потом надела самое старье. Уже не верила, что ты придешь к нам. Поняла, что всегда все по-другому.

— Эй, привяжи собак,— крикнул Костек и свистнул в два пальца. Ощетинившегося Бурлака он придерживал за ошейник.

Они стояли перед усадьбой Маштеляжа, скрытой в

бесцветном сумраке, за коричневыми штабелями кругляка. Дом казался вымершим в густой пепельной тени, которая здесь раньше заполняла пространство, чем там, в открытом поле. Костек уловил позвякивание цепи о проволоку.

— Привяжи собак,— повторил он.— И не прячься от народной власти.

Небо в вырезах сосен над поляной было еще бледно-зеленым, теплым, и в нем мерцала одинокая, заблудившаяся звездочка.

— Зря мы сюда пришли,— сказала Регина.— Это не простой человек. Ему нельзя верить.

— Ты права,— ответил Костек.— У него совесть нечистая. Но таких можно заставить помочь нам.

— Входите,— услышала она, прежде чем успела ответить.— Но держи собаку при себе.

Темный силуэт пошевелился у крыльца, словно один из коричневых кряжей поднялся им навстречу. До них донесся запах вишневой трубки, смолы и самогона.

— Бурлак, ко мне, сидеть! — похлопал Костек собаку, показывая открытую дверь в сени.

Тихое скуление исходило откуда-то из глубины собачьей глотки. Бурлак беззвучно шмыгнул внутрь. Маштеляж стоял неподвижно с трубкой в руке и висящим на локте ружьем. Стоял и смотрел на эту пару, притемненную фиолетовым сумраком на фоне вечернего неба, озаряемого то и дело неоновой вспышкой, на высокого сгорбленного мужчину в военной форме и девушку с тяжелыми волосами, припавшую к его плечу. Глядел даже дольше, чем нужно, чтобы узнать, кто пришел. Потом легонько пыхнул трубкой все с тем же непроницаемым выражением лица.

— Ну, дай вам бог! Как ее находишь?

— Как видишь. Гроза будет. Хотим спрятаться от дождя.

Лесник направился к двери и у самого крыльца пропустил их вперед. Он смотрел на босые ноги Регины, на ее упругое тело, поднимающееся так легко, как будто по ступеням алтаря, тесно прижатое к Курыле. Костек заслонил ее от оленьих рогов, нацеленных в них из темноты сеней. В комнате стояло странное дымчатое сияние, текущее из окон, переливами своими напоминая крылья майского жука.

— Грязно здесь,— пробормотал Маштеляж.— Не ждал.

— Душно,— подхватил Костек.— Наконец-то гроза идет. Уж и не помню, когда капля дождя упала.

— Весь июль был такой сухой. А последние две недели изжариться можно было.

— Раньше молились, чтобы такая погода была в жниво. Хлеба совсем перезрели.

Весь этот церемониал они совершали с небрежной серьезностью, как будто только этим были заняты их мысли.

— Польет, но еще не сейчас.

— И это, глядишь, хорошо. Никто не будет болтаться по лесу,— спокойно продолжал Костек.— Маловероятно, чтобы тебя кто-нибудь увидел.

Лесник попыхтел трубкой, потом поднял голову и вперил взгляд в Курылу.

— У тебя что ко мне... как бы это сказать... горячая просьба?

— Да лучше, пожалуй, назвать это предложением.

— Чтобы я...

Он покосился на Регину, которая переплетала распустившиеся косы.

— Чтобы я,— сказал он с легкой усмешкой,— пошел прямо через лес в Жолыню?

Костек только сейчас посмотрел ему в глаза.

— Прямо через лес,— поддакнул он.— Но поближе.

Лесник ждал.

— Если хочешь знать,— сказал Курыло,— в гробу я видал эту Жолыню.

— Понимаю. На свои силы рассчитываешь.

— Я на тебя рассчитываю. Помнишь уцелевших из отряда Утеса? И Новый сорок пятый год?

— Я много чего помню. Помню и то, что тебя тогда не было.

— У тебя они расформировались. А ты о них позаботился. Не они первые.

— Вроде как угадал,— сказал Маштеляж.— Не они первые. И не последние.

— Лес — это твое хозяйство. Много всякого можно укрыть. И вернуться всегда можно. Есть тут одно хорошее место, не так чтоб уж близко от твоей усадьбы...— осторожненько блефовал он, сверля взглядом Маште-

ляжа.— Место, которое легко запомнить... Дерево там такое приметное...— Он плоховато помнил кладбище, оставшееся после сентябрьских боев. Но хорошо знал ход мыслей ребят, их воображение. Был соблазн рискнуть.

— Откуда ты это знаешь? — насторожился лесник.

Костек облизал губы, чтобы скрыть усмешку.

— Вытянул из одного... на допросе.

Ага, в точку попал. Этот лис уже никогда ни для кого не будет опасен.

— Выкопаешь это оружие и принесешь сюда. Мне надо милиционеров вооружить.

— Какое оружие? Что ты городишь? — Лесник не спеша, с безразличием, словно без всякой связи, взглянул краем глаза на Регину. Она?.. Слишком уж сложно. Не хотел себя выдавать. Именно этим и выдал.

— Слушай, старик,— сказал Костек, уже уверенный в своей игре.— Ты знаешь, что если речь идет об оружии, то я не шучу. Тебе что, план нужно нарисовать, где, сколько?..— А ведь как раз этого он и не смог бы сделать. Он только догадывался; что-то есть, где-то краем уха слышал. Но лесник все принесет к утру. Он у него в руках с того первого разговора.— В такую грозу, как сегодня, никто не увидит. Не до тебя. Мы здесь будем ждать.

Во взгляде лесника он уловил что-то вроде легкого проблеска изумления. Это ободрило его. Маштеляж, свернув брезентовый плащ, был уже в дверях.

— Так я жду. Думаю, с пустыми руками не вернешься.

— Поди знай,— буркнул тот и исчез в сенях.

Бесшумная вспышка прыгнула синими прямоугольниками окон на самую середину сумрачной кухни. Костек как будто и не заметил исчезновения хозяина.

— Вот наше гнездышко,— сказал он, обводя рукой грязное помещение. Регина громко чихнула от свербящего в носу букета табака, самогона, кожи и пропотелой постели. Лицо у нее было забавно растерянное. Вновь они прижались друг к другу, и вновь он почувствовал под тонким ситцем эту подвижную округлость ее гладкого тела, эту хрусткую, точно накрахмаленную, плотность лифчика.

— Не хочешь вернуться домой, пока есть время?

— Нет. Я хочу остаться с тобой.

Затем, отведя пронзительно голубые майоликовые глаза на потемневшем вдруг лице, повторила:

— Я хочу остаться с тобой, хочу тебя целовать, касаться тебя, хочу делать с тобой все, что ты со мной. Хочу любить тебя и заботиться о тебе. И чувствовать, что ты спишь спокойно. Все, все...

— Господи боже ты мой,— сказал он, и голос у него сорвался.

Она стояла возле него, выгнутая, словно лук, лицо вскинуто к его губам. Жест этот был сплошной мольбой. В глазах ее, детских и грустных одновременно, немного необычных, мерцали отражения зарниц, которые стали уже протяженными, словно танцующий отблеск газовых светильников в углу комнаты. Все лицо ее стало напряженным, почти мужским, зубы легко постукивали в щели побледневших губ. Длилось это всего одну секунду, после чего вернулась эта сладостная, округлая мягкость, как будто это Мадонна с младенцем Иисусом с картинки в молитвеннике.

Они были одни, истосковавшиеся, наконец-то отдаленные от всего мира, и, кроме тока, который их увлекал, ничто, пожалуй, не доходило до их сознания. Курыло, одеревеневший, так что челюсти свело, осматривал холостяцкое логово лесника.

— Надо бы хоть немного прибрать...— начал было он, но Регина перебила его:

— А может, искупаемся? День был такой жаркий. Может быть, успеем до грозы?

— О, она еще нескоро будет,— ответил он с такой уверенностью, словно в своей деревне он управлял не только людьми, но мог отдавать приказы и тучам и громам. И тут же он понял, что именно этого ему и нужно, что многодневное напряжение и отврат, гнетущий зной и предгрозовое давление наслоились на нем, как грязь на коже, и он с удовольствием сбросил бы их. Курыло схватил Бурлака за ошейник, и они побежали по дороге, усыпанной хвоей, под навес мрачных сосен, к прудам, спрятанным среди лугов. Полнеба было затянуто фиолетовой пенкой, и бело-оранжевые молнии подсвечивали эту тяжесть снизу, словно языки пламени под огромной плитой. Откуда-то взялись стаи галок, суматошно каркающих под деревьями. И все еще ни ветерка, лишь

хмарь с лугов и прудов, кадильная и пенящаяся, она, словно гарью, затянула пространство равнины. Трудно было дышать, и лишь от молний распространялся металлический запах озона. Свет в этих искусственных сумерках приобрел денатуратный отлив, и деревья на этом фоне взъерошились замершими страшилищами. По тропинке вбежали они в заросли камыша и аира.

— Отвернись, Костек, я стесняюсь,— покраснев, сказала Регина возле самой запруды.

Он послушно встал боком к водной глади, сверкающей, как облезлое и потемневшее зеркало.

Долго снимала она через голову платье, а потом мучилась с волосами. Костек смотрел на коричневую гладь воды. Он видел там дрожащее, перевернутое изображение головой вниз, ногами вверх, похожее на фигуру нимфы в парке при имении, цвета меда, с белой грудью и животом. Она стояла рядом, похожая формой на лиру или точно белое дерево, руками-ветками поддерживающее груду кос. Как будто несет на голове золотистый кувшин. Мелькнула было мысль, а что бы сказал случайный прохожий, увидев, как комендант милиции подглядывает за купающейся девушкой. Но в этот миг не было ни Гетмана, ни сожженных дворов, ни свежих могил. Была только Регина и блаженный восторг, проникающий его сознание. Регина с плеском прыгнула в воду, и он торопливо начал снимать форму.

Вода, даже нагретая, освежала. Погружаясь по шею и промывая глаза, он видел над собой бархатный покров туч, остатки света, придавленного тревогой, остатки всполошенного дня, сбившиеся над западным горизонтом, как отблеск тревожных пожаров во время эвакуации и бегства. И тут же первый удар грома и громыханье окрестного эха раскатились вслед за ртутной молнией. А потом громыхало уже вперемежку с фосфорическими огоньками, которые брызгали из глубины прудов. Регина плескалась с пылом молодого жеребенка, нагоняя на себя черную торфяную волну. Она то пропадала в вихре брызг, то снова появлялась, взлетая над поверхностью, а по ее белым грудям, отмеченным двумя рубинами, по плечам и темной шее, вниз, к округлым, срезанным зеркалом воды бедрам стекали, как рыбья чешуя, ослепительные молнии. Меловые блики перепрыгивали с глади пруда на ее кожу, на глаза, на небо.

— Бежим назад, сейчас польет! — захлебываясь, кричал Костек.

Он загребал мясистые сабли аира огромными охапками и срезал их у самого корня. Потом складывал их одну на другую, посреди поляны, утыканной беловатыми срезами стеблей, которые набухали камышинной ватой и темнели на глазах от воды. А он все резал и резал эти пахучие влажные метелки, подхваченный каким-то праздничным возбуждением. Регина выплыла из-за ржавого рогоза, словно пчела из-за тычинок чашечки. Он был нагружен зелеными снопами, и она еле видела из-под этой стрехи его сверкающие глаза.

— Надо как-то украсить то логово. Пусть это будет наш праздник, наша Троица.

Возвращались торопясь под вспышками молний и с первым смятенным шумом сосен. Шум этот нарастал, как морская волна за спиной. Они заглянули в дровяной сарай, находившийся за домом лесника. Крыша без щелей, груды стружек и коры хрустят под ногами.

— Здесь нам будет лучше,— решил Костек.— По крайней мере лесом пахнет.

Регина стояла в полумраке, вдруг оробевшая и как будто вновь застеснявшись.

— Не смотри так на меня,— прошептала она, заливаясь румянцем, который становился все ярче, хотя ничего нельзя было разглядеть в этом убежище. Небольшие квадратные оконца полыхали холодным пламенем, то резко выступая из темноты, то впитываясь в нее бесследно.

Костек с тем же самым возбуждением бросился украшать сарай. Широко и щедро расстилал он пахнущие ленты аира, ворошил их, устанавливая пуками, снопами, зеленой стеной. Потом выскочил во двор и, не обращая внимания на первые порывы ветра, метался от сосны к сосне, срезая скобелем охапки смолистых веток, пышную хвою, нежные вершинки сосенок. Притаскивал все это, опьяненный и нетерпеливый, обильно разбрасывая вперемежку со свежим тростником в несколько пушистых слоев, устраивая любовное ложе. И все ему было мало, все еще недостаточно красиво. От хвои этой и прибрежных трав в сарае лесника запахло, словно в липинском костеле, когда выставляют дароносицу.

Регина утопала в водопаде своих льняных волос.

— Не смотри так на меня,— повторила она слегка сдавленным голосом.

— Как? — спросил он, полулежа на зеленой постели.

— Так, что мне краснеть приходится.— И вдруг присела, взяв его голову в свои руки. Снова он чувствовал ее напряженные бедра и колени, как они, слегка подрагивая, распирают платье.— На других девушек ты тоже так смотрел?

— Глупости ты говоришь,— сказал он, деланно надувшись.— Что тебе об этом думать? Никого я не любил, кроме тебя.

— Я хочу тебе верить. И буду верить. Но ты тоже мне верь.

— Конечно. Иди ко мне.

— Сейчас. Я хотела бы, чтобы эта минута продолжалась вечно.

— Не эта. Только следующая.

— Потому что у тебя другое на уме. Не то, о чем я думаю. Солдаты одни только гадости болтают.

— Регина, ведь ты со мной...

— Будь для меня хороший. Будь всегда добрый и нежный. Ты знаешь, я никогда ни с кем, кроме тебя, этого не делала. Сюда никто не придет?

— Успокойся. Сейчас наверняка не придет. В такую грозу? Да и Бурлак залает.

— Это хорошо. Ах, наконец-то мы одни. Будто одни на всем свете.

— Сейчас это неважно. Иди ко мне. А может, не хочешь? Ведь хотела же.

— Хочу. Очень хочу. Только... Я как увидела твои глаза, когда ты нес все это для нас... и, знаешь, подумала, что такая минута второй раз уже не может повториться. И испугалась, будто мы какое кощунство учинили.

— Регина, что ты болтаешь...

— И все это будто помолвка.

— Это гроза,— шепнул он.— Боишься молний?

— Нет-нет, Костек. Я ничего не боюсь.

— Это не твой страх говорит в тебе,— пошутил он.— Это страх глупых обманутых дурнушек.

— Это не то,— прошептала она.— Только так щемит от счастья, что даже больно.

Она стояла перед ним и снимала платье. На этот раз она спускала его с плеч вдоль ног, выступив из него. Потом тряхнула волосами.

— Как здесь пахнет. Какая чудесная постель.

— Тебе хорошо? Прижмись ко мне. Не колет? Я сниму рубашку...

— ...Ты не целуешь, а лижешь, как кот.

— Еще раз. Еще так, как ты меня. Я хочу так же. Все так же! Ох!

Гром ударил, как пушечный выстрел, и при вспышке он видел только ее огромные глаза. Они не слышали ни шума ливня, ни мотаемых вокруг деревьев, ни этого гула сосновых крон, который накатывал волной усиливающегося половодья, ни треска ломающихся ветвей, ни плескания, ни хлестания, ни свиста. Они ловили только шепот своих губ и то, что не могли бы высказать эти губы.

При непрерывных вспышках он видел голубые белки ее глаз и зрачки, огромные, почти черные, горящие, будто из металла, ее матово-белые зубы, закусившие нижнюю губу, лицо, то сведенное в трагическую маску, то полное нежности и наслаждения. Она была прекрасна в этом серебряном трепетании, в этой восторженности. Он знал, что никто ее такой не видел, что это была вершина и увенчание ее красоты, всего ее бытия, и все это для него, благодаря ему и из-за него, это он сделал так, что эта девушка вот именно так невероятно засияла, что он даровал ей этот свет великого вознесения, а впрочем, он и сам был этим светом, значит, тем же самым, чем она, он ничего не давал, если испытывал все сам, давал и брал, а значит, они делились одним и тем же, нет, не делились, просто они были одним и тем же, одним единым восторгом, он и она в величайшем слиянии, совокупностью, нерасторжимым мгновением, самой сутью жизни и ее обоснованием. Она сказала: «Как будто мы одни на всем свете». И он понял, что так оно и есть. Еще несколько часов тому назад он был один на свете и почти в это поверил. «Был» и «были», «он» и «они» — какая существенная, какая огромная разница. Все ушли, а она одна осталась. В этой пустоте он встретил одно-единственное существо, и оно преобразило для него все. Снова на мгновение возвратилось «я». Потому что как раз тогда она закрыла глаза в темноте.

Она чувствовала на себе тяжесть его сильного тела. Чувствовала, как он наполняет ее, проникает, возвышает. Она теряла собственную обособленность в боли наслаждения и слияния. Это была темнота под веками, прорезаемая полыханием молний. Это были красные и белые видения, окрашенные кровью ее сосудов. Это было что-то серебряное, темно-синее и лиловое. Это были все громы и все грозы на свете, сбитые в едином ритме, перерастающем все пределы сознания.

И он уже не знал, доплывал ли он в этом стремлении к концу один или был вместе с ней и где она, так полно и без остатка поглощенный своими чувствами, что она исчезла в нем самом, под сомкнутыми веками. Это была любовь, животворная любовь, движущая землей и звездами.

Регина, горячая, потная и трепещущая, обвила его шею своими потемневшими от сполохов волосами. Глаза ее блестели теперь от слез. И были эти слезы точно свет, слезы счастья.

— Неужели это возможно, Костек,— спросила она с благоговейным страхом и очень, очень тихо,— чтобы это с нами в таком аду случилось?

— Сама видишь, любимая...

Он даже не чувствовал, что в блаженном изнеможении уходит куда-то далеко, вновь отсутствующий и рассеянный.

...Я приехал и застал эти трупы. Самых лучших людей в деревне и тех невинных юнцов. Искромсанных, забитых, как скотину забивают. Испепеленные хаты, разгромленную гмину. И вокруг — забившихся по углам, всех тех, кто в этом участвовал. А если и не участвовали, то, во всяком случае, стояли и смотрели. Я переживал худшие минуты в моей жизни. Не потому, что они погибли. Там, на фронте, гибло в сотни раз больше. И не одни только идейные. Господи, кого только в этой армии не было! И каких только исповедей я не наслушался в ночные часы, перед самой атакой, когда ракеты врезались в предполье, словно искорки холодных огней, и у людей развязывались языки. Сколько было таких, как Зенек или Бич, которые с замутненными смертью глазами, вывороченными на мине потрохами сознавались, кем были, и что стреляли не только в немцев, и смерть для них, смерть в бою, со своими и за то же самое дело, которое

они начинали в одиночку, а заканчивали в многомиллионной армии, была примирением. И фронт, и этот последний порыв, который связывал их всех в одно целое, был тем долгожданным объединяющим моментом. Может быть, некоторые искали там смерти, но уж наверняка все искали какого-то разрешения. Я не знал их, большинство было не отсюда. Но ведь каждый, кто умирал, знал, из-за кого, за кого, был одинаково оплакиваем и перепоручал свое дело, это был его взнос в общее дело. Всякий, если даже чувствовал себя одиноким, в какой-то нераздельный миг последнего страха и отчаяния все равно не был один; он мог чувствовать себя винтиком механизма, но он был частью чего-то, он не знал, что такое пустота. И даже то, что нас разделяло, становилось понятным. Мы творили свою историю совместно. А здесь эти люди гибли в пустоте. На глазах родных, соседей, в толпе, неподвижно стоящей, где все словно ослепли, как будто кто-то лишил их языка, запечатал сердца. Они жили в изолированном мире своих дум, своих набрякших обид и ненавистей, не видя по-настоящему друг друга, блуждали по тропинкам, как будто брошенным в космос, в разных плоскостях или в разных измерениях, и могли на них не встречаться, а могли и, как духи, проходить друг сквозь друга. Только вот на самом-то деле это были кровавые столкновения, которые — это-то самое скверное! — не оставляли следа в их психике. Все это имело место, реально жестокое и без эха. А я ходил среди них, как среди чучел или гипсовых фигур, и нам нечего было сказать. Каждый мыслил на своем языке и говорил в это время только с собой. Сколько слов было нами сказано, а сколько было мыслей, которыми никак не поделишься. Вот так на самом-то деле выглядит революция в небольшой деревеньке среди лесов, в кругу соседей и знакомых, где каждый знаком с каждым и все о нем знает. Лишь она, Регина, кем бы она ни была, лишь ее любовь, простая и непосредственная, наверное, такая, какая всегда и бывает у молодых, лишь она своим постоянством заполнила это пустое место, разрушила стену, развязала языки. Я схватил эту руку во тьме и уже никогда ее не выпущу...

Это была перемена куда большая, чем все, что произошло до сих пор. И так же, как до этого, он молчал, только глядя и глухо твердя свое, так теперь разговорил-

ся, и говорил, говорил ей одной все, что осталось невысказанным. Вновь возбужденный, полный оживления, он выражал в словах, полушутливых и все же трепетных от энтузиазма, все, что подавлял в себе столько мертвых дней и часов, как спасшийся человек рассказывает о кошмаре своих переживаний и о том, что его теперь ждет. Он говорил и говорил, и в том, что может высказать это губами, прижатыми к самому уху, и держа руку на сердце, бьющемся рядом, он открывал самую большую радость, невероятную и неожиданную. Регина уже развеселилась, и он не был уверен, слушает ли она всю его исповедь. Веселилась она, как ребенок, как девочка, осыпанная в праздничный вечер подарками: дурачилась на постели из смятого камыша, передразнивала Стоберского и Стеца, лесника и новоиспеченных милиционеров, их мимику и жесты, как будто все это уже было смешным прошлым.

Ливень хоть и медленно, но стихал, и они не знали, сколько прошло времени, потому что, хотя все еще было темно, окошки постепенно приобретали мышиный оттенок и давно уже подкрадывался рассвет, опаздывающий из-за неразошедшихся туч. Пора было возвращаться к действительности, но для Костека эту действительность заполняли только они вдвоем.

— Долго лесника не видно,— сказала Регина, приводя себя в порядок с заколками в стиснутых зубах.

— Ждет, пока дождь пройдет,— равнодушно пробормотал Костек, сутулясь в проеме двери, как будто отводя рукой бисерную завесу последних капель, которые стекали с навеса под громкое бульканье желоба.— О, уже кончается...

Дождь успокаивался медленно стихающими заходами, точно плач, постепенно замирающий в судорожных и беззвучных рыданиях.

— А как же ты домой вернешься? — продолжал он, распрямляя плечи.— Ведь старик убьет тебя.

Она же, заплетая волосы, смотрела на него из-под поднятых рук. Глаза ее светились беззаботно и чуть насмешливо.

— Не знаю,— вздохнула она безразлично.— Наверное, не вернусь.

— Послушай,— сказал Костек, решительно поворачиваясь к ней.— Я пойду к ксендзу, пусть он оглашение

сделает. Самое время. А ты им скажешь об этом. Все и решится. Тут уж они тебе ничего не сделают.

— Ты серьезно говоришь, Костек? — И руки ее застыли.

— Смешная ты, малышка. Будет даже неплохо. Надо, чтобы все узнали.

— И ты не шутишь? Не пожалеешь?

— Нет. Потому я и остался здесь,— сказал он медленно, подчеркивая слова.

— Но ведь... у тебя же в семье покойник...

— Лишь бы оглашение было. А о свадьбе мы потом договоримся. Ведь с этого нужно начинать.— Теперь он был занят только этим вопросом.

— Все это так трудно, необычно,— задумчиво твердила Регина, неожиданно посерьезневшая, одновременно и торжественная и задумчивая.— А если ксендз откажется венчать? Ведь ты неверующий...

Маштеляж громко топал возле порога по другой стороне строений, Бурлак лаял на него, его лаю вторили собаки лесника. Когда Костек выбежал из-за угла, он увидёл спину, черную от дождя, и тяжелый мешок, брошенный на пол.

— Принес-таки! — крикнул он голосом таким звонким, что тот вздрогнул, изумленно обернувшись.— И много там, конспиратор?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда они вышли из тенистого помещения, жара свалилась им на голову, как притаившийся на крыше кот. Песчаная обочина дороги еще сохранила щербины после дождя, но пыль вновь покрывала все, перемолотая сапогами в сухой знойный день, опять застывший с самого утра. Прач похлестал себя веточкой по штанине, стянутой обмоткой.

— Как думаешь, соратник ты мой боевой, можно ли такому верить? — обратился он к Гралевскому, который тоже приостановился, насупившись.

— Откуда я знаю? Может, надо было его забрать?

— Нет. Это бы нам ничего не дало. Сажать и выпускать. Смешно. Пусть сам сержант решает.

— И вся деревня видела бы, как мы его ведем. Но опять же... если он начнет звонить направо и налево...

— А ты надеешься, что еще не знают? Ведь он затем и притащился, друг ты мой Гралевский, чтобы их подбодрить. «Не боись, мужички, избавители идут». Да ты только глянь на этих — все знают.

Белые, словно выжженные солнцем фигуры при виде их исчезают внутри темных сеней. Гралевский огляделся из-под насупленных бровей.

— И ты думаешь, это сказочки насчет случайно встреченного знакомого?

— Младенец невинный... прятался со страху... Бандюга! — яростно рявкнул Прач, ломая ветку надвое.

— Так когда они могут быть здесь, если, мать их за ногу, действительно идут? А ты все же велел к вечеру подать подводу...

— Не помешает,— пробормотал Прач спокойнее, вновь со своей усмешкой.— Подумают, что мы уматываем.

— Так или иначе, но телефон нам нужен.

— Чтобы доложить, что мы погибли, как положено. Ведь ты понимаешь, бедолага, если это правда, то они в первую очередь снова перережут провод.

Они обманывали себя, даже не пытаясь хорохориться. Юмор был явно подмоченный, шутка звучала фальшиво. Допрос у Иеронима Стеца почти не оставил сомнений: обросшее лицо и красные глаза изнуренного парня явно говорили о большой дороге, которую он отмахал этой ночью. Над печкой сушилась развешанная и уже залубеневшая одежда. Стало быть, и ночной ливень его не остановил. Если и впрямь его послали, то, значит, они еще не очень близко. А ему, выходит, позарез было нужно, чтобы принесенная им весть вселила тревогу!..

Виду они не подали. Запретили (и это хорошо!) распространять по деревне слухи и твердо потребовали подводу. По глазам и отца и сына было видно, что последнее требование их очень заинтересовало. Иероним сначала увиливал, но автомат Прача подавил всякую дискуссию в зародыше. «А если меня схватят по дороге с кем-нибудь из ваших?..» Это уже была наглость и что-то совсем свеженькое. Может, им только нужно создать видимость непосредственной угрозы? Кто во всем этом разберется? Хитрые лисы, брехали как собаки. И только когда дело дошло до подводы, Прач заметил, что оба

их проводника, Рахонь и Шимуля, улизнули еще у входа...

Правда, и до этого они были насторожены и полны тревоги — что и говорить, нервы у них были натянуты и все им сейчас казалось другим, подозрительным, изменившимся. Та же пустота и безлюдье, которые вновь установились в деревне, после краткого перерыва, когда казалось, что жизнь уже возвращается — особенно Курыло способствовал этому всем, что здесь делал, и даже тем, чем пренебрегал, ведь они же собирались вместе, выслушивали распоряжения,— та же самая тишина, обволакивающая хаты, приобрела новый смысл, означала уже что-то не то, что вчера или позавчера. Сейчас — так им казалось — это уже не была пустота страха.

Курыло идет от костела по заросшей узкой аллее между деревьями. Перед ним дом ксендза, молчаливый, расплющенный зноем. Крыша из пористой черепицы плывет над пучками огненного шалфея и смолиносов, как утлый челн апостола Петра на образе. Укороченная тень Костека скачет по зубчатому бордюру из кирпича. Тишина вокруг такая, что слышно отдаленное жужжание кружащих над ульями пчелиных роев.

Регина сейчас говорит родителям, теперь его очередь.

Он чувствует себя почти как школьник — давно сюда не заходил, наверное со времен школьных говений, отсюда и эта отдаленная ассоциация. Роль жениха всегда смущает, навязывает определенную позу, даже если, как в его случае, это и запланировано. «Это же просто жест,— оправдывает он сам себя,— лишь символ нового порядка. Чему-то здесь надо противопоставить не только дуло автомата, но что-то такое, что подействует. Свадьба вместо похорон...»

Он проходит мимо окон, закрытых решетчатыми ставнями, раздвигает кусты сирени, отцветшие грозди которой безжизненно свисают комками ссохшейся гречневой каши. Во дворе никого, лишь щебечут ласточки под стрехой.

Ксендз Снитко заканчивал молитву с требником в руках. Начиная с похорон, а точнее говоря, с той ночи, которая, казалось, была невероятно давно, время как будто остановилось в его сознании, все смешалось и стало одним целым. Воспринималось оно в разных аспек-

тах, но оставалось одним и тем же, как затаенное присутствие беды. Вселение сюда дьявола было так ощутимо, что ему уже не нужно было ни с кем встречаться, человеческий голос был для него невыносим, он мучил, мешал, дразнил и пугал — потому что ксендз ни на минуту не был один. От поста и бессонницы разбитость все усиливалась и обострялась; ксендз держался исключительно вином, молитвами и безмолвием. Все, что осталось в его страдающем мозгу, неудержимо стремилось в одном направлении, превращалось в одно чувство, равное по силе и безудержности отчаянному инстинкту,— это был страх, нарастающий ужас. В этот физический страх преображалось все, о чем он думал и что чувствовал. Он знал: ему не выдержать постоянного присутствия беды, и только одна навязчивая мысль и владела им — бежать. Борение с этой мыслью, изгнание ее молитвами было сутью всей его жизни сегодня, вчера, позавчера. Он молился, чтобы не сбежать, и, когда поднимался с колен, этот порыв, подсказанный ему тишиной и сумраком, с неодолимой силой толкал его к двери. «Авве, отче! Пронеси чашу сию мимо меня; но не чего я хочу, а чего ты...» И когда он в тысячный раз возносил эту мольбу, то медленно начинал отрываться от земли и видеть все в ином измерении. Это приносило облегчение и болезненный, сострадательный покой, но, поскольку он был человеком из плоти и костей, страх возвращался. И не постоянное присутствие беды вызвало этот страх — а тот другой, он, постоянно сопутствующий, хотел посредством страха овладеть им.

Стука в дверь ксендз в первое мгновение не услышал, лишь появление Курылы отвлекло его от молитвенной скамеечки. Человек в форме и с повязкой не ассоциировался у него ни с кем.

— Слава господу нашему,— сказал вошедший.

В тени комнаты, столь разительно отличной от яркого света снаружи, он долгое время видел только очертания фигуры у стены. И только потом постепенно разглядел стянутый морщинами рот и покрасневшие глаза.

— Во веки веков. Аминь.

— Узнаете меня, преподобный отец? — спросил Костек через некоторое время.

— Простите... Я плохо вижу. Я вас где-нибудь встречал?

— Курыло я. Сын Щепана.

— Ты? Боже мой. Отца похоронил...

Ксендз как бы пробуждался от долгого сна. Он стоял и смотрел на эту заблудшую овцу, вспоминая его, уходя вспять, вплоть до отроческих лет. Он и сам не предполагал, как давно знает этих людей, как все о них ведает и как все они, со всем тем, что тяготит память... близки ему. С трудом и усилием воссоздал он в памяти Курылу, и это как-то вернуло его к действительности.

— Значит, остался здесь? Ну да, здесь твой родной дом... Знаю, знаю. И исполняешь власть. Правишь душами...

Постепенно проходило напряжение и подъем. Осталась лишь печаль.

— Не я воспитал тебя. Другие были у тебя. А бог всех одинаково испытывает. Что тебя привело сюда?

Костек задумался. Он почувствовал усиливающееся равнодушие в голосе ксендза.

— Женюсь я, преподобный отец. Хочу, чтоб вы оглашение сделали.

Ксендз замер в тишине, такой напряженной, что Костек слышал тиканье часов у окна, потрескивание паркетных плиток и быстрое дыхание, отдающее кизилом. Ксендз провел рукой по лицу.

— Оглашение,— повторил он, точно не понимая.

— Вот-вот,— подхватил Костек.— Если вы можете обвенчать неверующего.

Ксендза Снитко била дрожь. Что-то в нем надломилось, и он, нащупав рукой стул, тяжело опустился на него по другую сторону стола. Свободной рукой указал Курыле на стул.

— Садись.

Некоторое время он перебирал пальцами плюшевую скатерть, затем поднялся, подошел к буфету в темном конце комнаты и возвратился с графином и стопками.

— Сядь, сын мой. Выпьешь?

И пока Курыло поправлял ремень с кобурой, разлил в стаканчики наливку. Костек пригубил, а ксендз выпил до дна и на мгновение замер, закрыв глаза, над которыми рыжие пучки бровей сошлись в один козырек.

— Так женишься, говоришь?

— Если вы завтра огласите. Завтра воскресенье. А если нет... поищу другого ксендза.

Ксендз снова налил.

— С самой свадьбой придется подождать. Только что похоронил. Но мне хотелось бы, чтобы вы сразу оглашение сделали.

— Значит, желаешь вступить в брак. А позволь узнать... с кем?

— С Региной, дочерью Пайды Владислава. Из вашего прихода.

Ксендз сидел неподвижно, словно глотнул сильнодействующее лекарство: взлохмаченная мокрая голова висела перед глазами Курылы, потом поднялась, и судорога пробежала по лицу ксендза.

— Я взывал к милосердию Иисусову, чтобы не сбежать отсюда. И именно ты пришел просить меня обвенчать с Региной.— В его хриплом шепоте слышалась какая-то пристыженность.

— Так огласите? И обвенчаете?

— Ваши семьи ненавидели друг друга...

— Теперь у меня семьи нет. Я хочу завести ее.

— И ты желаешь, чтобы я сейчас же огласил это перед господом в храме?

— Если вы откажете, я сделаю в другом месте. Но если для вас эта деревня что-то значит...

— Я был несправедлив к тебе, сынок. Недооценивал тебя.

— Хорошо, что понимаете это. Вы были здесь. Вы исповедовали бандитов. А потом кропили гроб Ренкаса. Но ведь если те заслуживали...

Ксендз Снитко уже утратил всю свою холодность. Скорбно смотрел он в пространство и старчески кивал головой. В глазах его блестели слезы.

— С той минуты,— сказал он,— я не сомкнул глаз. Я трусливый человек, боюсь смерти и боли. Боюсь крови, угрызений совести, бога. Молюсь неустанно, чтобы не бежать отсюда в ночи, гонимому страхом и ужасом. Чтобы миновала меня чаша сия. Чтобы не бежать овец своих, а если нужно, то и креста своего. Видя тебя, я лучше понимаю это. Я не могу никому в этом отказать. Ты желаешь соединить то, что было разделено. Дабы силы ангельские в небе ликовали...— Он судорожно и резко сплел пальцы, так что затрещали суставы. Две сплетенные ладони закрывали лицо, голова склонилась за этим колючим венцом в точности по-иконописному. Потом он

заговорил уже более спокойным, полным раздумья тоном:

— Заслуживали ли те?.. Мне кажется, что нет людей недостойных, люди все одинаковы, а особливо все равны перед лицом несчастья. Там, где самая глубокая бездна отчаяния, там все ее жертвы, все заслуживают сострадания, как отверженные, объединенные болезнью. Как прокаженные. Я думаю, что люди на дне отчаяния — где-то уже по другую сторону, словно больные или обреченные, которых нельзя судить, не находясь там. Есть прежде всего несчастные, и прежде всего они пробуждают сострадание. Где-то там уже перестают существовать преследователи и их жертвы, все это перестает что-то значить, теряет свой смысл перед единым огромным несчастьем, которое с ними происходит. Которое их уже низвергло ниже последнего круга ада. Могут ли они поступать иначе, чем поступают? Если они потеряли веру в собственную человечность, так или иначе они убивают уже только себя. В чем же тогда смысл вины и что значит наказание? Можно ли тогда бросить камень или хотя бы отвернуться? — Он замолчал и снова опустил голову. Лицо его постепенно наливалось огнем. Когда он опять заговорил, то уже с трудом проглатывал слова.— Я не знаю, совпадает ли то, что я думаю, с учением матери нашей, церкви. Но я лишь крестьянский сын, человек неученый, одному наученный — прощать.

Курыло встал.

— Вы перед своим судом одни лишь смягчающие обстоятельства найдете. У каждого, мол, свой бзик. А мой долг посущественнее. Я их защитить хочу.

— Ну, расскажите что-нибудь, товарищ рядовой...

Прач, насвистывая сквозь зубы, всматривался в движения паука, висящего в паутине между мешками с песком и опаленным косяком. Ствол ручного пулемета, снова собранного, разорвал эту паутину, вызывая у черного существа лихорадочные конвульсии суеты и спешки. Прач нервно подергивал ногой, а глаза у него были узкие, как щели.

— Что мне рассказать? — пробормотал Гралевский, пожимая плечами.

— Да что-нибудь. Мне все равно. Только болтай что-нибудь, делай что-нибудь, двигайся...

— Может быть, о собачке? — спросил Гралевский, подумав.

— Помилуй! О собачке уже было.

— Ну, тогда что? Ты же сказал, что тебе все равно. Тогда, может, о слонихе и колибри?

— Ах, Гралевский, пошевелите мозгами...

— А о попугае?

— Каком попугае?

— Тот, что все время твердил...

— О боже! Побереги нервы боевого соратника!..

— Тогда, может быть, о том, как поспорили Сталин с Черчиллем? Ну ладно, ладно. А как ксендзы исповедовались?.. Этого я тебе еще не рассказывал.

— Давай об исповеди. Только не путай.

— Едут два священника в одном купе из Ясла в Краков. Почему именно из Ясла? Ну, потому, что оттуда долго ехать. Время тянется медленно, вот один из них и говорит другому, давай, мол, исповедовать друг друга. Глядишь, и время пролетит и дома одной заботой будет меньше, потому что там, у себя, каждый один-одинешенек...

В эту минуту Прач увидел за пауком мужчину с ношей на плечах. Он был еще далеко, постепенно его фигура росла, заполняя оконную щель, мешки теперь закрывали ее выше пояса. Он узнал лесника, который шел к гмине. Гралевский, сидящий боком, еще не мог его видеть и продолжал рассказывать, но Прач не слушал его. «Что же это он несет?» — думал он и тут же связал его появление с отсутствием Курылы. Да, сомнений нет, лесник идет к ним.

— «...А уж такой я есть,— отвечает тот с достоинством,— коли исповедую, то исповедую, а коли...»

— Эй, есть тут кто? — в сенях захрустела под ногами раскрошившаяся штукатурка и кирпичи. Прач вскочил с места. Лесник сопел, стоя в дверях.

— Есть тут ваш сержант... Курыло?

— Где-то тут,— процедил осторожно Прач.

— Ну так доложите ему, что я принес... инструмент. По его велению.

Он свалил тяжелый груз на стол. Под рогожей что-то звякнуло, загрохотало. Лесник выпрямился и отряхнул ладони. Самогонный перегар шибал от каждого его выдоха. Он уже повернулся, намереваясь идти.

— Минутку,— рявкнул Прач и, подойдя к мешку, быстро развязал его. На дневной свет выглянули стальные станины «стенов», ножки и ствол пулемета «шпандау». Прач выпрямился.

— Откуда это оружие?

— Из земли. Курыло вам объяснит.

Прач внимательно поглядел на него.

— Вы сдаете это в милицию... И не хотите расписки?..

Лесник, глядя в окно, медленно произнес:

— За такие расписки здесь можно схлопотать — ого!..

Он коснулся пальцами козырька фуражки и вышел не оборачиваясь.

Некоторое время они молчали, рассматривая разложенное оружие. Прач снова тихо посвистел.

— Ну, что ты на это скажешь, мой доблестный Гралевский? Наш сержант не теряет времени зря. Оружия хватает, людей только нет.

— Он хочет вооружить этих милиционеров. Мы же обучали их. Теперь придется выдать им оружие.

Они сели, и вновь у них пропало желание говорить. С развороченного потолка с тихим шелестом сыпалась штукатурка. В щелях окон неподвижно застыл зной, висящий над оврагом сожженных усадеб. С другой стороны, над кладбищенской оградой, обессиленно никали и увядали от жары кусты. Площадь была пуста, и дорога безлюдна. Только зудение мушиных крылышек клубилось невидимо, точно оркестр из тысячи гребешков.

— Не нравится мне эта тишина. Похоже вроде, что все уже ждут...

— Они и ждут. И бьются об заклад, кто верх возьмет.

— Думаешь, они знают о Гетмане?

— Не задавай глупых вопросов.

— Где, черт возьми, Курыло шатается?..

— Не болтай. Видишь, работает.

— Интересно, на кого он может здесь рассчитывать.

— А все-таки этот сукин сын решился принести оружие.

— Да-а. Погорел, видать, вот и ощерился на тех.

— Без водки не разберешь...

— О боже, да перестань ты. Нет ее, водки этой, так чего ты слюнные железы дразнишь...

Тишина звенела в ушах, таилась в мертвом костеле, вдоль опаленных хат и дорог, безлюдных от самого перекрестка; тишина отливала эмалью прудов и желтой наготой песка, как будто даже хмурила зеленые глаза лесов, выстроившихся подковой, как полк на смотру.

— Я бы чего-нибудь съел,— сказал Гралевский.

— Так, всухомятку? У меня в горло не полезет.

Прач встал и порылся в углу, где были свалены остатки мебели. Вытащил запыленный патефон и, поставив на стол, дунул на иглу. Была только одна заигранная пластинка. Прач покрутил ручку и некоторое время вслушивался в шипение.

— Не заботились эти бедняги о культурной жизни. И девушки здесь шуток не понимают...

Пластинка была старая, двадцатилетней давности, совершенно стертая. В тишине зазвенели колокольчики и неотчетливое щебетанье птичек.

Ах, сень лесна-ая,
Ах, сень лесна-ая,
А жизнь моя горька...
Отца не знала, ох, не знала,
А мама бросила меня...

— Жизненная вещь,— многозначительно сказал он, кивая головой.— И актуальная.

— Знаешь что, Прач,— сказал Гралевский.— Я бы выпил. Сдается мне, что сегодня ничего интересного не произойдет.

— А где ты возьмешь?

— А где Курыло брал? У этого лесника. Он гонит. Чувствовал, как от него шибает?

— Пойдешь за ним?

— Точно. С наблюдением и без меня справишься.

Прач лениво смотрел на бегущую вдоль деревни пустую солнечную дорогу.

— Хорошо бы,— вздохнул он.— Но помни, друг ты мой закадычный, что сказал этот... перебежчик. Они могут быть куда ближе, чем нам кажется. Поглядывай. Кругом лес.

— Без оружия не хожу. Курыло везде таскается, и ничего с ним не случилось.

— А сумеешь?

— Будь спокоен.

Стихли шаги Гралевского, снова установилась тишина, нарушаемая приглушенной симфонией насекомых и шелестом осыпающейся штукатурки. Самое ненавистное — вот это постоянное ожидание. Была суббота, приближалось обеденное время, вполне естественными были мысли об увольнении, о прогулке, о летнем вечере. Хоть чем-нибудь заняться бы! Сначала еще казалось, что все налаживается, нарушенный порядок входит в норму, сержант что-то там организовал, люди, хоть и запуганные, начали вылезать из нор, рты раскрывать. Девушки... неплохие девки в деревне, но что-то не клеится с ними. Ну жуть как не везет. И это уже окончательно добивает. Теперь он жалел, что остался в этой паршивой дыре. Нечего было героя из себя строить, соваться в эти запутанные мужицкие дела, надо было переть дальше с отрядом, тогда хоть видно было бы, что что-то делается. Эти номера, которые выкидывал Курыло, слишком уж надуманными кажутся. Связи нет, повят не поможет, стало быть, самим напрашиваться, на, возьми нас — чушь собачья. Лучше отступить, оторваться и снова вернуться.

Он посмотрел на часы: уже третий час. К вечеру придет подвода. Надо будет трезво поставить вопрос. Ласточка заглянула в щель бойницы, наклоняя головку и прокалывая полумрак булавочками юрких глаз. Пронзительно щебетнула, потом исчезла, будто резвый ребенок на бегу заскочил. Взгляд Прача задержался на стволах автоматов, торчащих из рогожи. Развернув тряпку, он начал разбирать содержимое. Нащупал коробки с патронами. За этим занятием и застал его Курыло.

«Старик не пишет, что там с переводом,— думал Гралевский.— Обещали в конце июля отвести нас в Жешов. А здесь, ну и паскудство, все хуже. Должны были ждать роту майора, поддерживать порядок до возвращения части, а теперь все наперекосяк: наших и духу нет, а банда рядом. Надо же понимать, что тут в прятки играть не приходится. Этот мясник дьявольски юркий. Ловко кружит, удачливый. Теперь-то уж мы точно влипли. Сами ему в рот лезем. Может, и удалось бы сутки продержаться, если бы знать, что помощь на подходе. А так... кишки выпустит из нас, чего там говорить...» Он немного запы-

хался и вспотел, прежде чем повисли над ним крылья леса. От ночной грозы здесь еще осталась влага, испаряясь с утра буйным запахом хвои, смолы и чернозема. После дурманной испарины лугов, душного истечения мальв и вербены здесь запах был другой, камфарный и терпко-смолистый, а на просеке щекотали нюх душка, лесной дудник и шалфей. Посверкивала налитая соком голубика, капельками сладкой крови дозревала земляника. Он обмахивался фуражкой и вдыхал эти медовые запахи, промывая ими легкие, почерневшие от махорки. Усадьба лесника выступила из чащи, из-за штабеля бревен, под охраной нескольких елей. Гралевский здесь еще не бывал, но приблизительно ориентировался, что где находится. Тропинка заборонована ветками, видно, как хлысты волочили, куски коры валяются на полысевшей полянке, за ульями, этернитовая крыша венчает коричневые стены, окна как будто забиты наглухо, да и мало что можно было через них разглядеть из-под разросшегося винограда. Но окна эти метнулись на него, резко притянутые магнитом его взгляда: кто-то, возможно, смотрит через них, видит, как он выходит на открытое место. Он отбросил эту мысль, возникшую без всякой на то реальной причины. Все здесь спокойно, как никогда. Ни собаки, ни кошки, ни единого живого существа. Он постучал прикладом в дверь, которая от удара со скрипом подалась. Никто не ответил на его оклик, поэтому, держа автомат наизготове, он пошел дальше, под торчащими вилами рогов, будто это колючее заграждение прикрывало одну из стен. Раскрытая дверь в комнату поглотила его прямоугольником желтоватого полумрака. И тут словно за ним что-то захлопнулось, отрезая отступление. И так же, как раньше метнулись ему в глаза глухие проемы окон, так теперь другая картина обрушилась на него, представ в непосредственной близости огромной: это была фигура лесника в порыжевших армейских штанах и в сером изодранном балахоне, привязанная веревкой, будто сверток, к спинке сучковатой скамьи. Маштеляж сидел, подавшись вперед, с подтянутыми коленями. Прежде чем Гралевский уловил эти детали, он услышал сбоку, из угла комнаты: «Ну, смелей, товарищ! Смелей...» Крюк гнутой палки сдернул его с ног. Тяжелый хрип, шершавая тяжесть грузных тел в мундирах, которые навалились на него сзади, стук падаю-

щего оружия, случайная автоматная очередь при падении, разлетающиеся осколки бутылок, звон стекла на иконах следом за четками оспин на штукатурке, на расщепленном белом дереве, и желтые струйки самогона, бьющие из разбитой посуды, а потом тишина, в которой остервенелая возня постепенно угасала в сопении, шарканье сапог, шуршании брыкающихся тел. Спустя какое-то время его вздернули на ноги. Двое вцепившихся в него верзил заломили руки. Он уже начинал различать пространство в полосатом полумраке ставней, дуло вальтера заставило его закинуть голову. Прямо над ним возвышался длинный парень, худобу лица которого скрывала светлая борода. Под голубыми глазами темнели синяки, они придавали радужной оболочке глаз свинцовый тон. «Это он? — кинул парень отрывисто через голову пленника.— Гралевский его фамилия...» Пойманный видел краем глаза, что лесник, пытаясь что-то сказать, пошевелил губами, с них тянулась нитка слюны, почти черная, темнее крови. «Опять пришел не за своим. Только на сей раз меня здесь застал,— сказал бородатый, поддевая дулом подбородок пленника.— Так это ты поднял грязную лапу на моего отца? Думал, если сын в лесу, так его и защитить некому? Да, это мой отец, его ты покалечил. Ничего, теперь уж я постараюсь, чтобы твои коряги больше не пакостили...» И тут его схватили еще крепче, придавили к столу, а Зенек стал выламывать ему пальцы, по очереди, один за другим.

Хриплый вой долго бился о стены. Потом его толкнули к двери. Он держал свои, уже бесполезные, руки приткнутыми к себе, расставив локти. Молодой Пайда перекинул ему через голову ремень автомата. «Иди, покажись своим и скажи им, что с тобой стряслось. Передай своему Курыле, пусть убирается отсюда, пока есть время. Даю ему последнюю возможность. Когда Гетман придет, он цацкаться не будет».

Гралевский, скорчившись, медленно брел по поляне. Сильнее, чем искалеченные руки, он ощущал сейчас свою спину. Каждым спотыкающимся шагом он, с холодным потом на лице, отсчитывал метры и ждал, когда его настигнут пули.

— Этому-то они научились. Беречь оружие,— спокойно заметил Курыло. Они снова собрали пулемет, обтер-

ли с него масло и, вымыв керосином руки, принялись за клецки, которые принесла Франка Лосюкова, а то заправка в глиняном горшке уже начала подергиваться пленкой, будто сморщенный пергамент.— И ведь ни один ствол не заржавел.

— Хорошо бы пристрелять,— заметил Прач с полным ртом.

— Сейчас это невозможно. Пристреляете, когда нужда припрет.

Костек еще раз велел рассказать все, что удалось вытянуть из Войтека Стеца. Сержант казался Прачу каким-то рассеянным, несколько раз ему пришлось повторить одно и то же. «Вот черт, да неужели еще не пришел в себя?» Особенно его насторожила нерешительность Курылы. А Костек чувствовал себя так, словно вдруг свалился на землю. «Так, значит, накатывает. Уже приближается. Ни минуты мне не подарят. Ни одного дня...» Он так жил Региной и иным измерением мира, который ему неожиданно был дарован, что почувствовал какое-то внутреннее смятение, словно внезапно разбуженный человек. Он нервно моргал глазами, стряхивая с них сон. Что же изменилось? Разве он вчера не ждал их появления, и позавчера, и с самого первого дня, как здесь остался, разве не готовил других и себя, разве не был готов? Он поймал себя на том, что, осматривая оружие, переданное в его руки, думал о скандале, который разразился в доме Пайды, и о том, сделает ли оглашение завтра ксендз. Достаточно нескольких баб, и вся деревня ни о чем другом говорить не будет. И стало быть, все было нормально, если это слово здесь что-нибудь значит, он нигде не допустил промашки при исполнении своих обязанностей. Какой-то минимальный сдвиг во времени, эти несколько часов, когда он жил совсем другим,— и теперь ему кажется, что он как будто перенимает чужие обязанности, возвратился откуда-то через много месяцев, с мучительным сознанием внутренней измены и в то же время бунтуя против этого чувства. Два мира, в которых он одновременно пребывал, не накладывались один на другой: любовь и ненависть, безнадежность и надежда не могли существовать в одной и той же действительности, это были очередные переходы из одного мира в другой, и не быть в одном из них значилось и впрямь не быть.

— Где Гралевский? — вторично спросил Курыло, словно пробуждаясь от задумчивости. Он уже что-то соображал, потирая небритые щеки.

— Я же говорил вам, товарищ сержант. Он пошел с лесником,— соврал Прач,— проверить, все ли сдано. Как-то странно получилось с этим оружием.

— «Стены» нужно раздать милиционерам. И на ночь вызвать их в гмину.

— Думаете, уже этой ночью подойдут? А... эти мужичонки сумеют стрелять? Обучить-то их не успели.

— Не бойтесь, Прач. Здесь каждый мужик имел дело с оружием.— Он подошел к окну.— Теперь определим систему обороны. Они могут прийти уже ночью, а могут завтра или через два дня. Этот подосланный молокосос наверняка врет. Чтобы вас запугать, им раньше тревогу надо вызвать... Тогда быстрее нервы сдадут.

— А вы действительно думаете, что мы сумеем удержаться?

Курыло промолчал.

— Подводу заказали на вечер? — ответил он вопросом на вопрос.— Это хорошо, повят стоит известить. Другой связи у нас нет. Не надо самим себе ограничивать свободу действий.

Прач слушал с возрастающим раздражением.

— Вот вы ходили по людям,— начал он с иронией.— Знаете их лучше, чем я. На кого мы можем рассчитывать?

Костек словно бы и не слышал.

— «Дегтярь» останется здесь, в гмине. Достаточно держать под обстрелом площадь и развилку. Самое главное — чтоб не взяли врасплох. Прийти они могут сегодня, а могут и через три дня, в любой момент. У меня есть люди, которые нас предупредят, если будут подходить. Дорога на Жолыню под наблюдением. То же самое со стороны леса и от Жечицы...

— Товарищ сержант, зачем себе голову морочить? Я вас спрашиваю, на кого в деревне мы можем рассчитывать?

— Ни на кого! — крикнул Курыло.— Понимаешь? Ни на кого!.. На самих себя.

— А сколько нас?

— С оружием пятеро.

— Пятеро. А их?

— Сто, двести, триста... не знаю!

— Так не лучше ли отступить, как только вам донесут, что идут? Отойти. А потом вернуться.

— И зачем вы здесь остались, Прач? Вы же сами вызвались. Мы не уйдем отсюда. Это приказ.

— Слушаюсь, товарищ сержант. Приказ.

Курыло прошелся по комнате. Он уже был спокоен.

— Этот «шпандау» нам с неба свалился. Надо его поставить в пункте, господствующем над местностью. У тебя хорошее зрение, Прач. Установим пулемет на колокольне. Заблокируешь все три дороги, не дашь им подойти к гмине. Мы с Гралевским и с милиционерами будем держаться здесь. В крайнем случае под твоим прикрытием сможем рвануть за ограду кладбища. Так мы прикроем друг друга. Но только в крайнем случае, понимаешь?

Они вышли на солнце и двинулись вдоль ограды в аллею, ведущую к костелу, стуча в тишине сапогами по замшелым плитам. Распятие встретило их раскинутыми руками. Кирпичная крошка с разбомбленной колокольни вперемешку с гравием хрустела перед входом в низенькие ворота. Лестница на пробитую башню вилась улиткой в каменном колодце; чтобы ее разрушить, достаточно сверху бросить гранату. На вершине свет хлестнул на них со всех сторон, как будто они были подвешены к гондоле аэростата. Через пролом в стене, через это игольное ушко, зелень Ленга и кусок поляны расплывались под косым солнцем. Голубая шпалера леса подступила ближе, но как бы опустилась и присела. Легкое дуновенье ветерка задымило известковой пылью, лизнуло вспотевшие ушные раковины. Прач перегнулся через край раскрошенного кирпича, доходившего ему до колен. Перед ним, внизу, лежал перекресток дорог, скелеты сожженных хат, он видел открытые подходы, лишь кое-где ужатые деревьями: прямо, за мост на Гнилке и дальше, в окрестные луга; направо дорога из Жечицы, заросшее деревьями начало просеки; налево пространство до самой крыши Исидора Стеца, переваливающее за косогор. Сзади, с этого открытого амвона, совсем рядом, на высоте колокольни песчаный обрыв, закрывающий горизонт; заросли плоскогорья из-за края его поднимались на уровне глаз. Он сидел верхом над всей деревней.

— Под обстрелом у тебя все, что открыто. Мост, оба выхода из леса, луга. В первую очередь здание гмины. Само собой, только днем. Если они атакуют ночью, жди, мы задержим их до рассвета. Раньше времени себя не выдавай. В крайнем случае удирать будем здесь, низом, через площадь, на кладбище, потом по пескам к откосу. Ты все время прикрываешь нас огнем. Как только взберемся наверх, уже мы их будем держать на мушке. Под нашим прикрытием ты отходишь и присоединяешься к нам, там, на плоскогорье. Крутой откос даст нам время оторваться.

Они стояли в центре пролома, словно в небесных вратах, глядя на деревню под ними, вымершую и затаившуюся, затягиваемую неуловимой тучей ожидания и страха. Все их усилия разбудить эту деревню пошли насмарку, бесследно испарились от первого дуновения вернувшегося страха, от нажима живых воспоминаний. Они лишь чувствовали этот отлив, потому что заметить какие-то проявления было довольно трудно, они осознавали, как опять заколеблются все осторожные и нерешительные люди при очередной перемене обстановки. Что они могли этому противопоставить, кроме личного примера, который здесь ни на кого не действовал? Это было почти понятно, и с этим следовало считаться. Слишком мало времени для сложных действий. Оба, стоя в проломе, бок о бок, воспринимали это каждый по-своему, потому что разное у них было отношение к фактам и иллюзиям — Курыло с досадливым раздражением, чувствуя, что у него ускользает из рук что-то такое, что он уже почти схватил, что он уже ощутил на вкус, Прач же — лишь с иронией и трезвым сознанием бессилия. Отведя глаза, он отступил за спину сержанта. Прямо перед ним свисал остаток чугунного колокола, обломок чаши и одинокий язык — сердце колокола — окруженное пустотой окрестного неба. Было в этом что-то от сюрреалистической виселицы. И Прач увидел себя, болтающегося на веревке. Спускаясь, они громко разговаривали, чтобы заглушить столь различные чувства, которые испытали наверху.

Было четыре часа пополудни, и солнце, опускаясь над песками, меняло цвет пламени. Левая половина неба, насыщенная золотистой пылью, светилась точно огненная раковина, точно какое-то особое полушарие. Разговор

не клеился. Они перебрасывались краткими замечаниями, как лучше использовать оружие.

— Если мы их задержим хоть на сутки, они уйдут дальше. Им надо торопиться.

— Ты так думаешь? — отозвался Прач, переходя на тот доверительный тон, которого придерживался Курыло.— Если бы они знали, что у нас есть связь с повятом, побоялись бы надолго выдавать свое присутствие. Их спасение — не сидеть на одном месте. Через заросли над откосом есть дорога в Жолыню?

— Ты о чем, Прач?

— Если нам придется... в конце-то концов... туда удирать, так, может, укрыть там подводу? Тогда нас не догонят. Ты что, рассчитываешь на помощь?

— Посмотрим ближе к вечеру. На помощь не рассчитываю. Только на то, что продержимся.— Он внимательно посмотрел на Прача и сунул руку в карман.— Впрочем, скажу тебе, чтобы все было ясно. Позавчера я связался с повятом. Прочитай, что мне ответили.

Прач взял письмо майора Козуба, поднес его к щели бойницы. Сложил и отдал.

— Ну что ж... с революционным приветом,— пробормотал он, принимаясь вновь за «шпандау».

Снаружи залаял Бурлак, и они увидели мундир Гралевского, показавшегося из-за угла. Шел он сгорбившись, скорее даже плелся, вспахивая сапогами песок. Они провожали его взглядом, Прач даже открыл рот. Тот вошел, спиной толкнув дверь, и тут же свалился на табурет, не переставая стонать. Лицо его было серым от боли.

— Господи! Ты ранен? Кто в тебя стрелял? — Вопросы сыпались быстро, беспорядочно, оставаясь без ответа. Гралевский переждал скорчившись, а когда поднял голову, во взгляде его Курыло увидел одну лишь ненависть. Белые зубы ощерились из-под сведенных губ, как у разъяренной ласки.

— Это твои... родичи так меня отделали... Вот-вот... скажешь, у тебя нет здесь невесты?.. Может, отречешься от своих... от Пайды?.. Пришли сюда из леса... подстерегли меня у лесника... Там, где ты ночи проводишь... Это ее братец лишил меня рук... зятек твой будущий... За отца, говорит, которому я присадил...

Прач беспомощно вертелся возле Гралевского, который не давал до себя дотронуться. Курыло так и застыл с автоматом в руке.

— Зенек...— сказал он недоверчиво. «Значит, уже здесь,— промелькнуло у него в уме, но возбуждения он не почувствовал, а лишь усиливающийся озноб и омертвение.— Они здесь. Она об этом знала? А Маштеляж, который сам принес оружие? А старый Пайда? Как он вчера вел себя. Все ясно, должно быть, знали...»

— Сколько их было? Когда появились? И что?.. Он тебе сказал, что он сын Пайды?

Он хлестал вопросами, как кнутом, почти не слушая глухих ответов Гралевского, все было до ужаса ясно. Нет, не ждал он, что так случится. То, что они сделали с Гралевским, прямо говорило, что они такое есть. Вот и нет у него одного человека среди этих немногих бесценных. «Говорит, что стрелял, а мы ничего не слышали. Может, как раз были на колокольне... А я и предвидеть ничего такого не мог...»

— Привет тебе велел передать,— прошипел вслед ему Гралевский.— И дает тебе еще... возможность...

— Никогда! Поняла? И никуда ты не пойдешь! На цепь я тебя посажу, как суку в течку. Задницу тебе исполосую, паршивка блудливая...— Голос его срывался от ярости и переходил на жалкий дискант, словно то, что он услышал, было выше его сил, словно готов был он расплакаться.— Несчастное военное дитятко... кем ты быть думаешь? Шлюхой? Курвой солдатской?..— Забыв о боли, он стукнул покалеченной рукой о стол, зашипел и присел, а тряпка снова стала набухать темно-багровыми пятнами.— Пользуешься тем, что отец искалечен, ну ничего, Зенек тебя вразумит. Не слыхала еще, что это такое — гордость... и стыд... и честь женщины из честной семьи... Молчи у меня, ни слова больше, паскуда нес-част-ная!..

Мать бросилась к его руке, а Регина, не помня себя, одержимая одной мыслью, исчезла в сенях, сжимая ладонями виски. Впервые ей стало жалко отца, она даже могла понять, что́ он испытывает. Понять могла, но разделить — никогда. Пропасть, которую она чувствовала уже давно, теперь окончательно разверзлась под ее ногами. Так вот значит как, такой вот ценой?.. И чем невы-

носимее это было, тем больше она была исполнена решимости.

Она тяжело дышала, но вдруг замедлила шаги. Косые лучи солнца били ей в глаза, по телу пробегала нервная дрожь. Уже пятый час, она должна встретиться с Костеком. Он обещал сказать, чего добился. Пусть он ничего по ней не узнает, пусть вовсе ничего не знает, это касается только ее одной. Пусть ничто больше не омрачает их любви... Деревья мелькали перед ее глазами, затем оцепенели и затанцевали в глубине зрачков. Он стоял перед ней, большой, темный, с солнечной короной за спиной. Это было ее затмение.

С минуту она боязливо смотрела, пытаясь собраться с мыслями, не зная с чего начать.

— О господи, как хорошо-то, что ты пришел, Костек... Послушай, Зенек здесь, со своими...

Только теперь она увидела его лицо.

— И ты мне сейчас об этом говоришь! Дураком меня считаешь? Вся в папашу своего! Только теперь информируешь. Я знаю,— продолжал он чужим, сдавленным от бешенства голосом.— Давно тут сидит, на моих людей охотится. И ты хорошо это знала...

— Нет,— крикнула она со страхом, это подозрение было для нее как пощечина.— Нет, нет!.. Я ничего не знала. Отец мне только сейчас об этом сказал, когда разгневался... из-за нас. Ах, Костек, как ты можешь так думать? Ведь я была с тобой.

— Пошла со мной, хотя знала, что они могут быть там.

— Не знала, Костек. Клянусь, не знала.

Он посмотрел на нее неожиданно усталым взглядом. Была в ней какая-то сила, которой он не мог противиться, когда они вот так стояли, снова одни на целом свете, посреди деревни, наглухо закупоренной молчанием и возвращающимся страхом. Костек чувствовал, как крупные горошины пота выступают на его коже, щекочущие и холодные.

— А если бы ты знала, что он может там быть, сказала бы об этом?

Сердце ее билось, словно у загнанной лани. Так она и стояла — лицо, играющее от притока крови, а в нем переборы чувств, трепетных, как блики листвы, как пред-

вечерние тени. Она хорошо понимала, что значит такой вопрос.

— Что ты хочешь от меня, Костек? Чтобы я стала доносчицей? Чтобы выдала тебе Зенека? Я так понимаю твои слова. Тебя предать или брата?.. Как ты можешь требовать этого? Ведь это бесчеловечно, гнусно, сжалься надо мной. Ты хотел бы видеть меня такой? И только так я могу доказать тебе свою любовь? Чем я виновата, что люблю тебя?.. Сжалься, ведь я твоя жена...

— Идиотка! — крикнул он, стискивая кулаки.— Тут речь идет о жизни невинных людей.

Неудержимые рыдания преследовали его, когда он уходил размашистым шагом, чувствуя сумбур и пустоту в голове. И лишь одна тень сопровождала его, растягиваясь от заходящего солнца, на перекрестке дорог от леса, в пустоте безлюдной деревни, которая теперь становилась кричащей, однозначной и невыносимой. И тут в туннеле деревьев мелькнула человеческая фигура. Охваченный гневом, он крикнул: «Эй ты, чего здесь высматриваешь?..» Человек отскочил за ствол тополя, затем, увидев Курылу, высунулся оттуда. Тщедушная и сгорбленная фигура приблизилась на несколько шагов.

— А, это ты, Юзек. Что случилось?

У него было мучительное чувство, что есть какие-то дела, связанные с этим человеком. Словно его кто-то укорил вдруг в непреднамеренной провинности. Выцветшие глаза Дзиды смотрели на него с упреком, но были они какие-то потухшие, слезящиеся, словно уже нездешние.

— Пришли,— сказал он озираясь.— Здесь они. Видел четверых на опушке. Стоят с оружием у дороги на Жечицу. Глядят. И сейчас еще там стоят.— Потом добавил шепотом: — Это те самые.

— Спасибо,— сказал Курыло. И спросил: — А как маленький?

Дзида помолчал, потом закрыл глаза. Мокрые бусинки выкатились из уголков.

— Умер,— выдавил он из перехваченного горла: — А женщины не пришли.

И только тут Костек вспомнил: он же обещал прислать женщин, Лосюковых. Начисто забыл. Начисто... малыша. «Обещал спасти ребенка,— подумал он так, словно кто-то другой предъявлял сейчас счет его совести.—

И просидел все это время с Региной. Должен был привести женщин. Может, они и не помогли бы ничем... зато Дзида знал бы, что я о ребенке думал. Он же верил мне и ждал всю ночь. Не спал, следил за лесом, как обещал. А теперь вот пришел предостеречь, пришел от трупа малыша... Только одна эта ночь и была у нас. И только одна Регина ждала меня здесь. О боже, боже, смилуйся надо мной...»

— Не пришли...— шепотом повторил Дзида.

Молча стояли они и смотрели в сторону леса. Бордюр теней голубел к востоку, расходясь из-под сосен, захватывая солнечные поля.

— Теперь у нас уже ничего не осталось,— глухо произнес Костек.— Только эти из леса.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

И с этой минуты он чувствует, как что-то сгущается в нем, застывает, твердеет, как подкатывает к горлу комком, который невозможно проглотить, постепенно замораживает грудь, пищевод, трахеи, диафрагму. Он коснеет, словно сдавленный металлическим корсетом. Теперь ему осталось только эти несколько дел, обстоятельно подготавливаемых, по хорошо вызубренному уставу, несколько этих пунктов, на которые он по-прежнему рассчитывает, да хоть бы они и подвели, это уже не огорчит его и никак не заставит страдать.

Он медленно возвращается к гмине. Охватывает взглядом колокольню, пустую дорогу мимо дома Пайды с мостиком и серпантином кустарников, уже на опушке сливающимся с можжевеловой завесой, шпалеры сожженных плетней и округлый выход большака на Жечицу. Там они и стоят, возле усадьбы лесника. Открыто лишь пространство с другой стороны, на Жолыню, откуда три дня назад пришел отряд и откуда теперь уже ждать нечего. Излучина дороги отодвинула в сторону крыши Януса и Прокопюка, обнажая торцовую стену дома Исидора, колодезный журавль, слуховое окно. И вон, на самой границе видимости, складка лугов обрезает тот край леса. Журавль, как удочка, торчит неподвижно над лугом, отчетливо видный на бледно-розовом небе,— значит, со стороны Жолыни ничего нового. Обрыв с песчаными

откосами тянется к помутневшему солнцу, которое вскоре должно скрыться за косогором. Так, во всяком случае, представляется человеку, смотрящему снизу, для которого время тянется очень медленно. При ярком свете в той стороне любая фигурка на краю проплешин была бы видна, как памятник. Но там, в фиолетовых тонах епископской мантии,— спокойствие.

В оконной щели, за баррикадой из мешков, на него глядит ствол «дегтяря». В полумраке скорченная тень Гралевского. Автоматы на столе, а Прач у окна втыкает в диски медные зерна патронов. Никто и не двинулся при его появлении.

— Ну как он? — спрашивает Курыло Прача, кивнув головой на угол, где сидит инвалид.

Прач пожимает плечами, не прерывая занятия.

— Неважно. Что с ним делать?

— Пить...— слышат они хриплый голос из-под стены.— Подай воды человеку.

Костек зачерпывает ковшом из бочки в сенях, неловко поит раненого, глядя на его заросший кадык; вода течет у него по подбородку. Лицо Гралевского, опухшее и красное, пылает жаром. «С ним все кончено, ни на что не годен, и что с ним делать? Еще одна обуза...»

— Обе лапы ни к черту,— бормочет у окна Костек Прачу.— А ночью сознание потеряет.

— Ну что, узнал? — спрашивает Прач угрюмо.

— Несколько человек в лесу, со стороны Жечицы. У меня там есть один, наблюдает за ними. Только что сообщил.

— Значит, с той стороны пришли.

— Наверху, на песках, никого. И от Жолыни — тоже спокойно.

— С чего ты так уверен?

— Видишь дом Исидора? Последний. Если бы он что-нибудь заметил, дал бы знать журавлем или лампой.

— Ты уверен, что предупредит?

— Обещал.

Прач не поднимает головы:

— Ну, если обеща-а-ал...— тянет он насмешливо.

— На который час заказали подводу?

— Подводу? Ну так... с сумерками. Если приедет. Он ведь знает, чем это пахнет.

— Если та дорога свободна, нужно предупредить

повят. Вызовут по радио, кого удастся. А мы тем временем задержим его. Три недели его ищут.

— Если он даст себя задержать.— Пальцы Прача все быстрее вдавливают гильзы в диск.— Понимаю... царь Спарты Леонид в Фермопилах.

Костек смотрит на него рассеянным взглядом. Он напряженно думает, что еще нужно сделать. Потом кладет руку на патроны.

— Ступай вызови милиционеров. Раздай им оружие. Шимуля пусть идет сюда, а Рахонь за подводой. Нечего ждать до вечера. Пока дорога свободна...

— Есть,— спокойно говорит Прач. Он смотрит Курыле в глаза.— А кто поедет на этой подводе?

И встречает слегка удивленный взгляд.

— Его надо отсюда увезти.

Гралевский, скорчившись, сидит в темноте. Не стонет, не шевелится, не отзывается.

Прач берет два «стена», набивает карманы обоймами. Курыло занимает его место у окна, вдавливает зерна патронов в диск. Сквозь щель бойницы он видит пустую площадь перед костелом и недвижную перспективу дороги. Прач идет кошачьим, упругим шагом, бесшумно, не поднимая пыли, словно двигается по минному полю; держится он подле стен, вплотную к оградам. Низкое солнце радужно переливается сквозь газовую ткань мертвого воздуха, а тени вязов заволакивают наискось решетчатый барьер, вытягиваясь на глазах.

Вот и пять часов, потом шесть. Оба конца дороги пустые, окаменелые, словно на фотографии. Бурлак, греясь на солнце, выглядит вырезкой из черной материи тени. И он, и деревья в глубине, и закопченные углы хат производят впечатление картонных моделей, какой-то утвари, беспорядочно брошенной среди опустевших декораций. Костек кончил заряжать диски и смотрит на крышу Исидора. Гралевский затих в углу, вот уже целый час сидит там, словно неживой. Над спаленной усадьбой Лосюков вздымается ленивая струйка дыма. Невозможно сейчас думать ни о матери, ни о ком-нибудь еще. Все вдруг оказалось связанным друг с другом, сцепленным и зависимым от одного, да, от одного того, что он теперь будет делать. «Нас немного,— повторяет он машинально,— а все на нас глядят». В этой обостренной тишине тиканье часов на руке наполняет стены гмины.

Наконец он улавливает неторопливый скрип телеги и пофыркивание лошади. В ту же минуту у кладбища вырастает по-кошачьи гибкая фигура Прача. Он предупредительно свистит и одним прыжком подскакивает к двери. Бурлак лишь поворачивает голову, шевеля острым ухом, потом вновь замирает, как изваяние, обратив морду к жечицкому лесу. «Пока видят подготовку к отъезду,— уже который раз повторяет про себя Костек,— будут спокойно ждать. Если бы знать, что это сам Гетман... А может, он только нескольких человек послал вынюхивать?..»

Прач кулаком стер пот с ресниц.

— Едут наконец,— проворчал он, кивнув в ту сторону, откуда доносилось тарахтенье.— Закурить у тебя еще есть?

Костек вытащил пачку.

— А где милиционеры? — спросил он.

Прач долго мял сигарету, сосредоточенно раскуривал ее, избегая взгляда Курылы, но спокойствие это было притворным, так как пальцы его явно дрожали.

— Не везет нам с твоими односельчанами. Коротыш этот отговаривался, как мог. Жена, дескать, беременная, вот-вот родит. Как же я, дескать, могу бабу на ночь оставить?.. А та это слышит через дверь и орет как полоумная. «Ой, Иисусе, уже схватило, ой, начинается, ой, богородице, дево, радуйся...» И что мне было делать с этим... отцом? И я начал орать. Поорали втроем минут десять. Только кто бабу перекричит! Я не рожал, не знаю, как это бывает.

— Придет? — тихо спросил Курыло.

— Обещал прийти, как стемнеет. Кто его там знает? Автомат взял, и уж так его держал, будто змею за хвост.

— А Рахонь?

— Этот получше. Честно боится, по крайней мере театра не устраивает. Пошли мы к тому за подводой. То же самое: не поеду. У меня парень сегодня вернулся, с меня хватит, делайте, говорит, с нами, что хотите, арестуйте, судите, не хочу больше рисковать. А я ему — да плевал я на твои несчастья. Не ты мне нужен, а конь и подвода. Берите, говорит, но под угрозой оружия, силой. Стало быть, запряг усач и уже едет. Велел я ему побольше соломы подстелить...

Они выходят из гмины. Рахонь, скрытый стенкой ко-

роба, подъезжает к порогу. Конь в упряжке — откормленный, красавец, наверное военный. На бархатном крупе тавро «Х». Долговязый усач вылезает и неуверенно озирается. В одной руке кнут, в другой автомат, повязку не надел. Бурлак подозрительно обнюхивает подводу.

— Иероним заявил, что мы силой взяли. Отвечаем за лошадь...

— Кто поедет? — во второй раз спрашивает Прач. Костек кивает головой в сторону гмины.— Один же он не поедет,— настаивает Прач.— Даже вожжи не удержит.

Курыло обводит их измученным, нерешительным взглядом. Рахонь стоит, худой жук с усами, острый кадык двигается под кожей, длинные жилистые руки неподвижно висят, в одной кнут, на котором висит шляпа. В другой автомат. А тень такая, будто он с посохом и крестом. И вроде поспокойнее Прача.

— Вы поедете, Винцентий. Укроете раненого соломой, и, если даже будут стрелять, не останавливаться. Вы хорошо знаете дорогу в Жолыню. Только бы выбраться из леса. Там прямо в управление, к майору Козубу. Скажете, что и как. Телефон перерезан. Сегодня здесь может быть Гетман. Пусть из кожи лезут вон, есть возможность взять его. Сами понимаете, что долго он сидеть в деревне не будет...

С минуту он смотрит ему в глаза и быстро входит в гмину. Там уже совсем темно.

— Пойдемте, Гралевский, вас отвезут в больницу. Здесь вам делать уже нечего. Скорее...

Прач подходит к приятелю, который, скорчившись, сидит неподвижно. Пытается поддержать его, но раненый отталкивает его плечом, встает и, спотыкаясь, выходит на свет, даже не взглянув на Курылу. Рахонь подходит к столу.

— Стало быть, если я поеду, то автомат мне без надобности. Риску много. У меня этот гражданин на совести. В случае чего скажу: велели раненого в больницу отвезти...

Он осторожно кладет автомат на стол. Спорить нет смысла. Он знает, что делает. Надевает на голову шляпу, в ней он точно гриб, и идет к подводе, Гралевский лежит в телеге, укрытый соломой. Винцентий украдкой крестится и хватает вожжи: «Эй, гнедко, но-о-о!..»

— С богом...— вполголоса бросает вслед Костек.

Подвода описывает круг, так что обода скрежещут о доски, и удаляется, сначала шагом, потом все быстрее и быстрее. Облако пыли поднимается в телесно-розовом свете, плотно заволакивая пространство в обрамлении деревьев.

Итак, их только двое, за ними наблюдают, они как бы выставлены на обозрение, словно саперы-добровольцы, которые на глазах застывших обывателей медленно сходят в подвалы домов, чтобы обезвредить оставленные мины, осторожно ступая в тишине замершего дыхания, в такой густой тишине, что слышен лишь стук их каблуков, хруст песка, вся неуверенность шагов, ведущих все ниже, когда уже нет возможности повернуть назад со ступенек, скрытых в глубине земли; он хорошо помнил такую сцену, виденную им в столичном городе, и она всегда связывалась у него с обрывком из фильма, где львы, разбежавшиеся по арене цирка, угрожали перепуганной публике, значит, кто-то же должен был их усмирить или хотя бы оградить людей, которые следили за безумным броском дрессировщика, сами склонные к компромиссу с хищником, всегда готовые сосуществовать с любой угрозой, хотя и восхищающиеся смельчаками с почти спортивным азартом, продиктованным отнюдь не моральным долгом, а скорее разновидностью эстетического переживания, с которым наблюдают за чужим захватывающим единоборством; редко кто-то активно присоединяется к такому поединку, здесь скорее обсуждают шансы, здесь преобладает рассудок, здесь вовсе не думают о том, что мины-то заложены в твоем собственном доме и что в этом цирке в опасности твоя жизнь, хотя в данную минуту смерть и грозит тем, другим. Нет, об этом говорят уже потом и в зависимости от результата. Толпа всегда любит безумцев, которые озаряют нерешительность других. Мысли эти были претенциозными и не имели смысла. Он остался здесь, чтобы решить, как говорится, исход дела: взять бразды правления в свои руки. Он хотел, не гнушаясь никакими аргументами, завоевать и подчинить себе всех. Только управляя людьми, он что-то значил. А если это не удалось, то что еще остается, кроме собственного примера? Доказать это он бы не сумел, но чувствовал, что бегство в такую минуту будет поражением, гораздо большим, чем все, что могло

с ним случиться. А впрочем, выбора-то уже и нет. Теперь только собственный пример — а это не фанфаронство? — но это уже невозможно предугадать. Нельзя, чтобы последнее слово осталось за теми. Пусть пульсирует в нем хоть крупица сомнения, мешающего быть довольным своим поведением. Это-то главное он сделает — лишит их возможности самооправдания. Ведь только тогда дело действительно проиграно. Спокойная совесть свидетелей — это тот нужный финал.

Свечение вечерней зари уже припорашивают пепельные сумерки. Как будто огромная промокашка впитала в себя яркие цвета.

— Устраивайся на костеле,— принимает решение Костек.— Уже стемнело. Они нас не увидят.

Вдвоем они берут «шпандау» и, крадучись, перебегают через площадь, а ее уже закрыла синим веком тень. Откос слева почернел, тем резче пылало за ним солнце. Пробоина в колокольне рассекала отсвет на радужные полосы. Через несколько минут они уже были наверху. И там их, словно поднятых над мрачным покровом, заливает солнце. Они устанавливают пулемет в проломе стены за грудой щебня и кирпича. Под ними с трех сторон дороги, совсем рядом закопченная крыша гмины и школа.

— Бей короткими очередями,— объясняет Костек,— чтобы прижать их к земле.— Он пробует, как ходит затвор, переставляет гашетку на первое деление, ствол перемещается от Ренкасовой усадьбы к мосту через реку и дальше, вплоть до соломенной крыши Прокопюка. Прикрывая глаза от заходящего солнца, Костек наводит бинокль. Круг леса сразу сжимается, потому что полоса вечерней тени выбежала далеко вперед, вбирая луг, сокращая поле зрения. В сдвоенном круге бинокля мелькают синие кусты, прямо перед носом скачут раздувшиеся глыбы хат, замирают ветви сосен. Костек показывает рукой на жечицкий большак.

— Вон они стоят, в конце деревни.

Прач долго наблюдает за фигурами, скрытыми под деревьями, а Курыло видит лишь желваки на его скуле между фуражкой, биноклем и грязным подворотничком.

— Запоминай детали местности. Через минуту стемнеет.— И он направился к ступенькам.— Ну, держись и наблюдай за нами.— И он хлопнул его вдруг по плечу каким-то размашистым движением, которое должно

было скрыть неуверенность.— Я думаю, что ночь мы продержимся. В случае чего подожгу школу, чтобы осветить поле обстрела. Утром или увидимся... или уже не увидимся вообще...

Он исчез под сводом лестницы, словно провалился сквозь землю.

Небо за проплешинами песков было уже холодно-салатное, последние теплые тона, самая малость желчи и корицы, испарялись на глазах. На том месте, где было солнце, ярко мигала Венера, с остальных сторон густая и синяя ночь натянула черное одеяло на головы. Курыло ждал Шимулю и не отрывал взгляда от темной складки, темнее ночи, где в неизмеримом отдалении притаился дом Исидора-Гранита, торцовым окном обращенный в его сторону. Но кроме слабого света керосиновых ламп в окне Януса или Прокопюка, ни один фонарь не подавал сигнала.

Он приготовил зажигательные патроны, чтобы поджечь развалины школы (туда они заблаговременно наносили разного горючего материала) и теперь в мерно вспыхивающем огоньке сигареты то и дело поглядывал на часы. «Он не придет, что ты себя обманываешь? Может, эта чертова баба и впрямь рожает? Человек что таракан, везде размножается и умирает везде. Нет для него ни места, ни времени, которые были бы неподходящими. Во время восстания спаривались в последнем завалившемся подвале, прежде чем пойти под дуло; в бараках Освенцима, на санях и в землянках. Дети рождались в Павяке [1], в самолете, в море, в лесу. А ты что, другой? Ты что, иначе живешь?» Он знает и констатирует это с горечью, что еще один, на кого он рассчитывал, осмысленно и трезво струсил. И какая разница, один ли он здесь или вдвоем? Нет, разница была бы. Он еще пытается поддержать себя усмешкой: «Ух, соседушки вы мои, мужички хитрозадые!»

Сомнений у него нет, вот уже несколько минут он так и сидел, подавшись в ту сторону. Цокот скачущего коня нарастал в туннеле деревьев, а вслед за ним — грохот подводы. В этих звуках было что-то беспорядочное,

[1] Тюрьма в Варшаве на Павей улице.

не чувствовалось рук возницы. Костек с автоматом на шее выбегает во двор. Подлетающая телега как будто замедлила бег, что-то колотится по земле, оторванный валек тарахтит по корням. Из темноты появляется лошадиная голова, животное норовит обогнуть фигуру, заступившую ему дорогу, затем, храпя, останавливается. Курыло, повиснув на поводьях, осаживает загнанного жеребца так, что даже трещат ручи́цы; животное на дыбы, трещит подлисок телеги.

На телеге никого. Что-то же должно так всполошить коня, если он проскакал полдеревни и миновал свою конюшню. Весь в пене, все еще дрожит, издавая тихое ржание сквозь раздутые ноздри. Нарочно, что ли, его взгрели? При свете зажигалки он увидел на мокрой шерсти глубокие полосы от кнута. Коптящий язычок освещает короб, передвигается вдоль телеги. Возницы нет, и только чьи-то ноги торчат из-под соломы. Костек протягивает руку, но тут же отдергивает ее, как обожженный. Рука его черная, липкая от крови. Труп Гралевского, раскинутый навзничь, темнеет в глубине короба.

«Господи,— твердит Костек, стоя неподвижно под мерцающим звездным сводом,— они прислали его мне, дали знать, что никто живой отсюда не выберется. Значит, и с той стороны деревня окружена».

Приглушенный голос, как будто с неба, в первое мгновение испугал его. В этой тишине он прозвучал удивительно близко.

— Что там случилось?

Он приложил руки ко рту, но так, чтобы не запачкать лица.

— Подвода вернулась.

Голос Прача прозвучал сурово, словно глас архангела:

— Скажи правду...

Прошло несколько минут, прежде чем зашуршали осторожные шаги. Тень товарища выросла по другую сторону телеги.

— Конь привез труп Гралевского. Не знаю, что с Винцентием...

При мелькнувшем огоньке спички Прач увидел труп Гралевского. Потом их разделила темнота, точно они утонули в черном пруду. Голос Курылы дошел издалека:

— Возвращайся на место. Все выяснится до рассве-та...

И вот наступают долгие часы долгой ночи. Ночи, предвещавшей им, что она будет последней. В действительности летняя ночь вовсе не долгая, около трех-четырех часов уже светает. Но ведь хорошо известно, как по-разному меряются часы. В течение одной ночи можно пережить всю историю человеческой жизни, проследить все самые отдаленные последствия ее, самые вершинные достижения и самые низинные точки падения. Исчерпать ее безграничные возможности так, чтобы уже не имело смысла дальше существовать. Изведать всю низость и все торжество, какие только человеческая судьба вмещает. В течение одной ночи можно поседеть и сгореть, как огарок свечи, ожидая в камере смертников казни. В течение ночи можно трижды отречься от своего бога, упасть на дно, сломиться, предать ближних, перечеркнуть себя навсегда. В течение ночи можно пережить мученичество, возвыситься до вершин героизма, достигнуть венца своего человеческого предназначения. В течение одной короткой ночи можно обрести веру и веру утратить, обессмертить свое имя и затоптать память, создать творение всей жизни и убедиться в своем ничтожестве. В течение нескольких часов, между сумерками и рассветом, можно успеть выйти и совершить преступление, возвратиться и пережить все его последствия. В течение ночи можно потерять свободу и можно ее вновь обрести, из адского кошмара оккупации перенестись в рокот авиационных моторов и очнуться среди безопасных будней Лондона, в освещенной Швейцарии или Швеции, в тропическом Каире или, наоборот: из спокойного отеля на Темзе перенестись к стене на улице Лешно, в казематы гестапо, к оскаленным пастям овчарок и дулам эсэсовцев. Так много можно пережить в течение одной ночи. В течение одной этой ночи можно достичь всего, что было предопределено в жизни: упоение любви, уподобление себя другому существу, преодоление одиночества, мгновение озарившей тебя правды, которая не подвластна времени. Именно то, что случилось с ним и с Региной прошлой ночью, которая сейчас, в темной бездне, казалась ему всем, что он запомнил из прежнего своего бытия.

Все это, конечно, может случиться и в течение дня. Однако так уж как-то получается, что самые большие злодейства, падения и клятвопреступления, а также вели-

чайшие взлеты творятся в ночной тиши: насилие и подлость становятся очень уж резкими в белый день, самые высокие слова в полдень звучали бы преувеличением. Ночью арестовывают, допрашивают, убивают, крадут, приводят в исполнение приговоры, прелюбодействуют и прощают; ночью грешат и отпускают грехи; трусость и отвага, любовь и ненависть, верность и измена облюбовали ночную пору.

Однако, если даже все это может случиться в течение одной ночи, то еще не значит, что так бывало всегда. Большинство ночей мы просто спим, в бессознательности ища единственного убежища от чрезмерности вариантов, которые предлагает нам жизнь. Но что бы мы ни говорили, а в течение этой ночи здесь, в Липинах, тоже произошло немало.

Курыло, забаррикадировавшись, сидит в гмине, среди опаленных стен и скелетов окрестных усадеб, прямо за укрытием из мешков с песком, где через узкую амбразуру видна полоска неба над костелом и бледно выступающие в ночном мраке звезды. Напрасно он ждал сигнала от Гранита. Во всей этой деревне, такой насквозь знакомой, постоянно присутствующей в снах, в мыслях и в разговоре, ему не удалось найти даже пятерых человек, способных сопротивляться, заглянуть в будущее, пример которых повлиял бы на других. Он понял безнадежность своих обходов и разговоров, когда каждый говорил на своем языке и каждый видел только то, что изведал на своей только шкуре. Может, рано еще прощать или пересматривать что-то, но у истории своя мера времени, и она никогда не объявляет перерыва, чтобы привести в порядок совесть отдельных людей. И в этом-то, наверное, трагедия людей честных. Все они, один за другим, ускользали у него из рук, все точки опоры оказывались иллюзорными. После мученической смерти своих предшественников остался только он, а стало быть, он и должен остаться. И стало быть, в душной тишине ночи Курыло ждет тех с разбитой лишь колокольней напротив, откуда Прач, такой же одинокий, должен его прикрывать, когда подойдут те, из леса. Самый близкий его друг мертв, его труп лежит на выпряженной телеге во дворе. По лицу Курылы катятся крупные капли пота.

В эту ночь Регина, поджав под себя ноги, сидит запертая в дровяном сарае, усталая и разбитая, как пова-

лилась, так и сидит на хрупком слое стружек, сосновой коры и холодной хвои. Притащенная сюда силой, втолкнутая в темное нутро сарая, она тут же бросилась всей тяжестью тела на узкие полоски света, пробивающиеся сквозь дверь. Отец единственной здоровой рукой вовремя успел навесить замок, и доски еще долго отражали удары ее кулаков и коленок. Так она неистовствовала добрую четверть часа, бомбардируя бесчувственные доски, наполняя грохотом весь двор. Но дверь дровяного сарая была сколочена добротно, да еще подстрахована крестовиной, так что лишь прогибалась, покряхтывая. Когда первая ярость прошла, Регина почувствовала боль в отбитых локтях и коленях, а прежде всего мучительную боль в груди, изодранной рыданиями. Так вот и опустилась за этой дверью своей тюрьмы, беспомощная, прижавшись лбом к щели. Взбешенная и униженная. В идущей кругом, пульсирующей от рыданий голове билась одна только мысль — не о том, что с нею обошлись как с девчонкой, заперев на ночь в сарае, хотя она больше чем невеста, а о том, что она отрезана от жизненно важных дел, от возможности действовать. А там Костек в опасности, опасность эта грозит его жизни. Так что абсурд этого идиотского положения, балаганная мстительность отца по сравнению с серьезностью и ужасом подлинных событий становился невыносимым. Какой глупой, старой, лицемерной, жалкой казалась ей эта действительность, в которой она прозябала по инерции. За несколько минувших часов она созрела и возвысилась над всем этим, словно неожиданно пробудилась от монотонного сна. Еще полная дыханием Костека, она познала всю значительность неожиданно открытых предназначений, упоительный вкус жизни среди правды, величие любви, материнство, мужественную ответственность за завтрашний день. И вот так, на коленях, стиснув зубы и припав лбом к щели, она видела какие-то тени, которые прошмыгивали к ее дому из глубины пустого двора.

В течение этой ночи Прач, притаившийся на колокольне, переживал круговерть чувств. Тишина и неподвижная темнота накрыли землю черным колпаком, и вначале он ничего не видел, теряя представление, что близко, а что далеко, что высоко, а что низко. Хотя бы легкое дуновение — и было бы ощущение своей возвышенности. И только потом бледно замерцали звезды, позволяя раз-

личить, где небо, а где земля, на которой не было ни искорки. Он все еще видел тело Гралевского, мертвенно трепетное от пламени спички. «Говорил же идиоту, чтобы не пер наобум. Самогона ему захотелось. А мне вот девок захотелось... Какие-то остатки сознания... и то хоть ладно. Слава богу, что башка еще варит. Мозг здесь сразу горкнет, как масло на солнце». Лицо Гралевского в темноте скалило подведенные тенью черты. «Это же псих,— думал Прач о Курыле,— пойми ты это наконец. Несчастный, пьяный безумец. Сумасшедший, убийца помешанный. Он не понимает, что губит людей. Царь Леонид в Фермопилах...»

Постепенно взгляд его начал различать очертания деревьев и крыш, более матовые, более густые, чем сам фон, кроме этого, он ничего в дальнем радиусе не видел и даже боялся смотреть, потому что возникало такое чувство, будто он падает без парашюта. «Еще есть возможность улизнуть в такой темноте. До откоса метров пятьдесят. А потом, пока они заметят, мы бы уже были далеко. Сам ведь говорил, что туда отходить. Так чего же он ждет?..» Летучая мышь бесшумно закружилась вокруг ствола. Прач то зажмуривал, то открывал глаза. «Сумасшедший, идиот. Кого он здесь защитит? И чем я ему помогу? Из этой почетной ложи я могу лишь аплодировать его подвигу... Задержать их, говорит. Связать, лишить свободы действия. Превосходно. А кто об этом уведомит Жолыню?» Неизвестно, сколько прошло времени. Глаза как будто привыкали, но начинает слепить сонливость. Сонливость и игра воображения. Луны нет, небо густое. Слышится скрытый шепот, шорохи, как будто тихий женский плач. И неожиданно он видит в этой сплошной темноте огоньки сигарет, гораздо ближе, чем лес. Вспыхнули, передвинулись на шаг, пламя спички осветило лицо и козырек. Куда ближе, чем опушка леса, чертовски близко, в конце деревни, возле развалин Ренкасовой хаты. Отсюда, с колокольни, кажется, что вот-вот. И не думал он, что сверху так меняется перспектива. Протяни руку — и можно схватить за козырек фуражки. Огромное черное дуло загораживает их, ему кажется, что они показывают на него пальцем, что хохочут в метре ниже от пролома, у стены костела.

По лицу Курылы текут капли пота. Он их не видит, но чувствует. Нервно вытирает пот рукой, всматриваясь в

щель бойницы, подавшись вперед, лицо напряженное, зубы до боли стиснуты. «Если бы Гралевский мог занять школу... Рахонь и Шимуля были бы здесь под рукой, в случае чего их можно было бы перебросить на ту сторону развилки. Один пулемет здесь, а другой прикрывает его с костела. Главным образом Прач преградит им подход. Если бы была возможность не дать им выйти из леса. По крайней мере в течение двенадцати часов. И чтобы еще сегодня кто-нибудь сообщил в повят. Вчерашний день, сегодняшняя ночь, завтра... Кто знает, имело бы это для них смысл? Но Гралевский мертв, Шимуля и Рахонь сбежали, подводу вернули...» Детали плана срывались одна за другой. Каждый очередной вариант становился невыполнимым. «Слишком много хотел взять на себя, просчитался, переоценил свои возможности. А ведь тебе все об этом говорили. Ни о чем другом, только без конца одно и то же твердили... Господи,— повторял он шепотом так, что слышал свой собственный голос,— господи, не хочу я сейчас умирать. Сейчас бы и пожить, когда кончилась война, и этот фронт, и этот ад, когда матери моя помощь нужна, когда отец здесь за меня голову сложил... И если я сейчас погибну, то какой смысл будет в отцовской жертве?.. Сейчас хочу жить, когда я нашел Регину и когда все это стало самым важным... Мне же повезло, дьявольски повезло... Боже мой, сделай что-нибудь... Святая богородица...» Он вытирал пот, который струился все сильнее. Руки тоже были мокрые и соскальзывали с гашетки. Молитва у него не выходила. Потом он успокоился, заставил себя сосредоточиться, но нехорошее это было спокойствие. «Теперь осталось только ждать их. Только это и осталось сделать. И не для того, чтобы выполнить приказ. Ведь никакого приказа я не получал».

Неизвестно точно, который час. Летняя ночь такая короткая. Звезды как будто повернуло. В овальной оправе провала, вырванного снарядом, их искривленная карта еле поблескивала в темноте. Может, уже последняя минута перед рассветом, потому что легкое касание холодка скользнуло с лугов и прудов. Где-то далеко запел петух, боязливо, заговорщически. «Это сумасшедший,— твердит Прач в тысячный раз.— Сумасшедший, сумасшедший, безумец...» Он уже на лестнице, нащупывает очередную ступеньку. Штукатурка хрустит у него под са-

погами, и это стоит ему нервов. Такое чувство, будто под ногами рвутся гранаты. Пулемет давит ему на шею. Возле костела деревья стоят неподвижные, плотно сомкнувшиеся над головой, такие недосягаемые, выросли будто в одно мгновение, когда он провалился в гущу их корней. Здесь темнее, но ближе к твердой земле, и росистая трава заглушает шаги. Теперь только через кладбище, не огороженное сзади, а там сразу же скат песчаных проплешин. Сейчас он прижимает приклад к бедру, он готов пробивать себе дорогу огнем. Там наверху тропинка наверняка свободна. Если они и расставили посты, то только у большака. Через три часа он может быть в Жолыне...

Свет и озаренность наплывают неуловимо, ими набухает воздух, процесс этот незаметен для глаза, и всегда такое впечатление, что время остановилось, что мы проспали неуловимый момент перемены, что невозможно уловить этот процесс, констатируешь лишь его результат. Раньше всех о нем возвещают петухи, а затем наступает тишина, абсолютная, неестественная. Предметы меняют свое естество и меняют свое расположение, рождается третье измерение, исшедшее из тесной темноты. Что-то ближе, а что-то дальше. Предметы на первом плане темнеют, приобретают контур, сгущенную материальность очертаний. На фоне серых и лиловых тонов обозначаются рамы, грани, плоскости, горбатая линия мешков, вырез косяка, черная мушка на стволе. А потом уже светло. Все еще пока мертво, холодно, без блеска. И вот постепенно — более теплые розовые, голубые и оранжевые тона, прежде чем сверкающая солнечная глазурь покроет цвета свежим лаком. Тогда кончается тишина и отзываются птицы. Остро, пронзительно, промытыми росой горлышками. Все блестит, как стекло, все освежает краски, и неожиданно у ног вырастают длинные утренние тени. Солнце вновь запускает свой разноцветный калейдоскоп. Пылают и золотятся окна, блестит вода, как серебряные чешуйки, над лугами голубеет бриллиантовый туман.

И вот в эту утреннюю минуту, когда солнце еще совсем низко и когда самая длинная тень, Регина бьется телом о твердые доски сарая. Этот внезапный солнечный свет снаружи ужаснул ее, придал сил. Как будто она увидела зарево пожара. И тут она понимает, что уже,

что сейчас, что, может быть, уже поздно. Костек! Боже, он, наверное, не знает всего, не догадывается. Это смятение усиливает ее удары. Неожиданно дверь с треском распахивается. На этот шум на пороге дома появляется Пайда, одетый, с небритым лицом. Регина выбегает на солнце, лицо у нее ожесточенное, опухшее от плача, она пересекает двор, вытирая локтем нос, размазывая блестящие полосы слез, выбегает на дорогу, потом через поле на задах у школы и гмины наискось к усадьбе Курылы. Отец что-то кричит ей вслед, но она исчезает из виду.

В это самое время Костек замечает гостей из леса. В косых лучах низкого солнца они возникают на границе видимости, между опушкой леса и сгоревшими строениями Ренкаса и Лосюка. Дозор передвигается медленно, а длинные тени придорожных деревьев размеренно проплывают по их фигурам... Почему тот не стреляет?.. Они уже пересекли линию, где Прач должен был задержать их огнем с костела. Они продолжают идти, все сокращая расстояние. Костек с напряжением вглядывается в колокольню напротив, но наверху царит глухая тишина. В овальном просвете над гущей зелени синеет утренний воздух. Все та же мертвая тишина. Наконец он понимает: там ни души.

Теперь он должен решать молниеносно. Он один в этой плотно обложенной деревне. Только от него зависит, чтобы не повторилось то, что они здесь застали после последнего налета Гетмана. Только он может это предотвратить. Он снимает «дегтярь» с окна и, набив карманы гранатами, выбегает на солнце. Там, у моста, он будет ждать их на краю деревни. И он бежит большими прыжками через малинник. Свет и тени, свет и тени мелькают, бьют по глазам. Он уже за строениями, яркий шар солнца над деревьями слепит, ограничивает видимость.

Запыхавшаяся Регина вбегает во двор Курылы. И как раз тут цепочка людей Гетмана окружает пепелище. Безлюдно в этом месте, пусто, страшно. Регина соображает, что Костека она здесь не застанет. Рефлекс? Помрачение? О боже... Те еще не видят ее, они смотрят через огород, в сторону моста. Регина поворачивается и бежит в том направлении. Костек!.. Кто-то из них поднимает винтовку. Выстрел, налетевший отголоском вслед за уда-

ром в спину, укладывает ее на месте. Кто-то хватает снайпера за руку: «Болван, это же баба, не видишь?..» — «А чего она за ним бежала?» — отвечает тот и вытирает губы.

Курыло приседает в канаве у моста, устанавливает пулемет. Чудесное, залитое ярким светом утро. На востоке за речкой искрится небо, словно только что начищенная до блеска медная оковка. Тени, вытянутые и резкие, подчеркивают каждую выпуклость серебряными и зелеными полосками. Избы Липин на той стороне выделяются чистым рисунком на фоне синего, продырявленного пятнами света бездонного неба. Деревня эта кажется спокойной, идиллической, словно оазис вдалеке от землетрясений. Курыло на самом пороге ее, напряженно прижав приклад пулемета, одиноко ждет. Серые кузнечики скачут у самого среза ствола. Костек считает минуты, сердце сжалось, стало непроницаемым. Он остро чувствует свое одиночество, словно все происходило уже после смерти Витка. Он не знает, что нужно пройти сквозь эту полосу пустоты, где распались старые связи, прежде чем возникнут связи другие и новые. Он видит только тех, приближающихся. Каждое сокращение сердечной мышцы отмеряет секунды и расстояние. Двести шагов, сто пятьдесят, сто...

Варшава, 1964—1966 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Анджей Браун

СЕРДЦЕ КОЛОКОЛА

Редактор *М. Н. Конева*
Художник *А. А. Зайцев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технические редакторы *Т. К. Купцова* и *В. П. Перминова*
Корректор *В. В. Пестова*

Сдано в производство 27.06.75. Подписано к печати 22.04.76. Бумага 84×108 1/32. Тип. № 2. Бум. л. 5 1/4. Печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,10. Изд. № 17939. Цена в обложке 90 коп., в переплете 1 р. 11 к. Заказ № 119. Тираж 100 000 экз.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28.